

# РУССКОЕ БОГЯТСТВО

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

ОСТАНОВИТЕ НАСТАСЬЮ ФИЛИППОВНУ —

диалоги

СТИХИ, СТАВШИЕ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ —

лирика Зинаиды Миркиной

АКАФИСТ ПОШЛОСТИ —

полемика

РАВНОВЕСИЕ НАСИЛИЯ И НЕНАСИЛИЯ

Записные книжки



Журнал

## РУССКОЕ БОГАТСТВО

*Литература, искусство, культура*

За истекший период вышли в свет:

1. АНТОЛОГИЯ «Русского богатства» — 1991
2. ЛЕОНИД ЛИХОДЕЕВ — 1992
3. АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН — 1993
4. ЮРИЙ БОРЕВ — 1993
5. ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ — 1994
6. ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — 1994

В 1994 г. выйдут в свет:

**ЮРИЙ ТРИФОНОВ и ОЛЬГА  
ВЛАДИМИР НАБОКОВ**

Наши планы на будущее:

**МАКСИМ ГОРЬКИЙ** (новые публикации); **МИХАИЛ РОЩИН**; **БУЛАТ ОКУДЖАВА**; **СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ** (в двух томах): слова и образы; **ЮРИЙ МОГИЛЕВСКИЙ** (книга-альбом).



# РУССКОЕ БОГАТСТВО

---

Независимый частный журнал: литература, искусство, культура

*Издается с 1876 года*

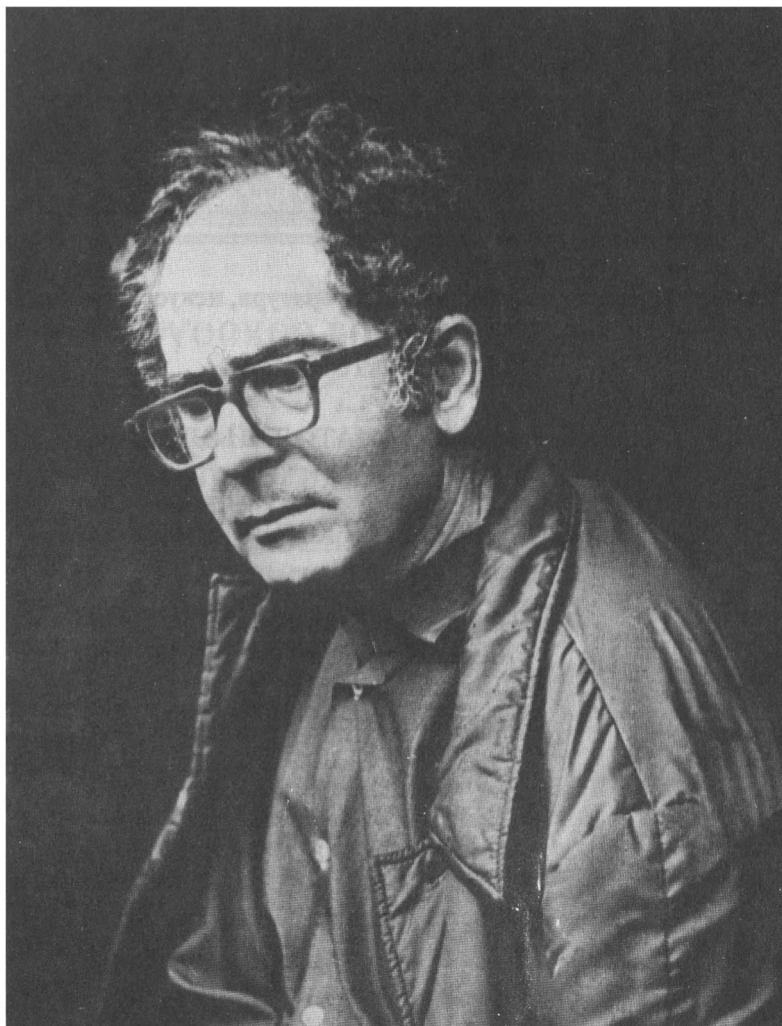
Редактор-издатель — АНАТОЛИЙ ЗЛОБИН

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Даниил Гранин  
Владимир Дудинцев  
Сергей Зурабов  
Татьяна Иванова  
Леонид Лиходеев  
Лев Копелев  
Булат Окуджава  
Николай Панченко  
Михаил Рощин  
Николай Шмелев  
Сергей Юрский

**№ 2**

Москва, 1994



Nowgraves



# РУССКОЕ БОГАТСТВО

---

Журнал одного автора

Григорий Померанц

*ВОЗДЫМИ СВОЙ ДУХ  
И НИ НА ЧЕМ  
НЕ УТВЕРЖДАЙ ЕГО.*

Алмазная сутра

№ 2 | 6 |

1994

**К сведению издательств и редакций!**  
Просим зарубежные и российские издательства, а также периодические издания ставить нас в известность о желании перепечатать те или иные произведения, помещенные на страницах нашего журнала.

**Правление «Русского богатства»**

В редакции имеется ограниченное число вышедших в свет номеров. Цена одного номера — 1000 рублей.

Вы можете заказать и наши будущие номера, цена каждого номера (на середину 1994 г.) — 1500 рублей.

Направляйте заявки по адресу:  
129010, Москва, Астраханский пер., д. 5,  
кв. 86. РБ.  
127254, Москва, ул. Руставели 8, фирма  
«Адрес».

**Редакция рукописи не возвращает и не рецензирует**

- © Григорий Померанц, 1994
- © Автор проекта Анатолий Злобин, 1994
- © Журнал «Русское богатство», 1994

## СОДЕРЖАНИЕ

### Григорий Померанц

#### Проза

НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ . . . . .	6
В СТОРОНУ ИРЫ . . . . .	52

#### Диалоги

ОСТАНОВИТЕ НАСТАСЬЮ ФИЛИППОВНУ . . . . .	106
Часть I. Разговоры с отвернувшимся поколением . . . . .	106
Часть II. Воображаемые сцены и истории . . . . .	120
Часть III. Голоса . . . . .	164

#### Поэзия

СТИХИ, СТАВШИЕ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ. Зинаида Миркина . . . . .	178
---	-----

#### Полемика

АКАФИСТ ПОШЛОСТИ . . . . .	208
ЖАЖДА ДОБРА . . . . .	254

#### Поэмы

З. Миркина. Чужие сны. Семисвечник . . . . .	290
--	-----

#### Философские опыты

НЕУДАЧИ . . . . .	308
РАВНОВЕСИЕ НАСИЛИЯ И НЕНАСИЛИЯ . . . . .	313
ДОВЛЕЕТ ДНЕВИ . . . . .	317
МАЛЕНЬКИЕ ЭССЕ . . . . .	312
	316

<u>Записные книжки</u> . . . . .	177
----------------------------------	-----

<u>Короткие сообщения</u> . . . . .	319
-------------------------------------	-----

## НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

Я внештатный профессор, эссеист, писатель — а в социальной структуре никто. Сказал «писатель» и вспомнил Коктебель. Туда попадал, в Дом творчества, как муж члена группы литераторов, короче — литератора (самая низкая категория; этот статус занимала когда-то Марина Цветаева; выше стоят члены литфонда, например — Пастернак; а еще выше писатели, члены ССП). Путевку давали только на сентябрь-октябрь и после долгих просьб. Один раз я забыл принести бумажку о состоянии здоровья — какой выговор мне сделали! «У нас писатели (с ударением) приносят справки от лечащего врача. Писатели (опять с ударением)» — и т. д.

Я по диплому преподаватель высшей школы. Но только один сезон, в 40/41-м учебном году, читал лекции в Тульском педагогическом институте — вне штата, по договорам, на птичьих правах. Так вся жизнь прошла на птичьих правах. Несколько раз пытался тверже стать на земле, написал две диссертации: первую (неоконченную) изъяли и сожгли. Другая была допущена к защите; текст пошел в самиздат и ходил по рукам; но защитить не пришлось. Какая-нибудь причина всегда находится. И постепенно я понял, что это судьба, что так вытаскивается наружу что-то, заложенное во мне самом. Что-то, требующее от меня понимания. Птичьи права — это права птицы. Они располагают летать. Или по крайней мере пробовать взлететь, вспорхнуть, и упасть, и снова пытаться вспорхнуть... Я ведь гадкий утенок, или (что то же самое) человек воздуха.

Даже воевать мне пришлось, в течение двух лет, на птичьих правах — вне штата. Явился в строевой отдел (т. е. отдел кадров) 258-й стрелковой дивизии старшим команды из трех человек, доложил начальнику.

— Образование? — пронизательно спросил меня капитан интендантской службы Беремисский.



Я сказал.

— Сейчас же направлю вас в военную школу!

— Уже направляли из госпиталя. Не берут, я прихрамываю...

Из госпиталя меня выписали годным к строевой. Поражение нервного ствола трудно установить, и врачи не решились дать ограничение. В военной школе я бы разошелся, но эстетическое чувство строевиков оскорбляло мое ковылянье. Поэтому меня отправили на фронт.

Беребисский задумался: видимо, перед его умственным взором развернулось штатное расписание. Потом в глазах мелькнуло: «эврика!» «Я вас прикомандирую к редакции с зачислением в трофейную команду».

Так из хромого солдата вышел литсотрудник дивизионной газеты. Но внештатный. Штатная должность была занята старшим политруком Сапожниковым. Редактор майор Кронрод, с которым я столкнулся в конце войны, говорил, что сотрудников дивизионных газет надо отбирать в три тура. Во-первых, построить в одну шеренгу и на глаз отобрать явных идиотов. Оставшимся учинить диктант для седьмого класса; а с теми, кто напишет на твердую тройку,—индивидуально побеседовать. Сапожников, скорее всего, не дошел бы до второго тура.

Редактор, старший политрук Черемисин (впоследствии капитан и майор), взглянул на меня подозрительно. Честно говоря, мы сразу друг другу не понравились. Но дареному коню в зубы не смотрят. Мне дали тест: написать очерк «Потерянный штык».

Штыковой бой в истории 258-й дивизии, куда я попал, случился один раз — еще когда она была 43-й бригадой и сражалась под Москвой. Эсесовцы, презиравшие низшую расу, вылезли, как положено по уставу, на бруствер с ружьями наперевес и были уничтожены в честной схватке. Во всех остальных случаях, когда я расспрашивал солдат и офицеров, что было на самом деле в рукопашной, оказывалась одна и та же история: немцы вели огонь, пока наступающая цель не подходила совсем близко (на несколько десятков метров), а потом что-то в них ломалось. Они бросали оружие, подымали руки вверх, и их убивали прикладом, выстрелом в упор. Во всяком случае, в первые пятнадцать—двадцать минут в плен не брали. Потом, когда горячка проходила и какой-то фриц, прикинувшийся мертвым, осторожно поды-

мал голову, его похлопывали по плечу, угощали сигаретами и вели в штаб. Но в первые пятнадцать—двадцать минут убивали. Штыки для этой расправы были не нужны, и их выбрасывали. Так же, как противогазы. Которые в конце концов стали возить в обозе.

В 44-м введен был новый карабин, со штыком, привинченным наглухо; его можно было отогнуть, но совсем отомкнуть — только в оружейной мастерской. В 42-м таких карабинов не было; с выбрасыванием штыков велено было бороться идеологически. Я вспомнил, как в феврале вышвырнул в кусты противогаз, набивший мне бок, и стал высасывать из пальца сюжет. Суть дела (которую надб было обойти) заключалась в том, что пятьдесят процентов стрелковой роты сплошь и рядом выходило из строя в первый же день боя. Стрелки — смертники, и думать о том, что через три месяца или через полгода штык понадобится, а того гляди и противогаз понадобится, никто не хотел. Сегодня противогаз не нужен, сегодня штык — лишняя тяжесть, и их бросали... Но мой 'воображаемый солдат служил без износа и убедился, что штык терять нехорошо. О том, что штыки сознательно выбрасывались, вообще не могло быть речи.

У Черемисина был удивительный вкус на ненатуральное. Оно ему нравилось. Года полтора спустя, во время очередной руготни, он вспомнил: «Вы только одну настоящую вещь для меня написали!» И тут же упомянул вторую: гимн 96-й Гвардейской стрелковой дивизии, который я сочинил в 44-м «под рыбу», т. е. на заданный мотив, по просьбе дивизионного капельмейстера (а не редактора; редактору я непременно сказал бы, что я не поэт и мыслить рифмами не умею, а подбирать общие места не хочу).

Я не люблю вранья. Но с потерянным штыком меня взяли на службу. Потихоньку ковыляя (больше трех километров я не мог пройти), стал ходить в полки и собирать материал для статей. Охотнее всего — «из боевого опыта» (такие статейки заменяли солдатам устав). Но приходилось и скучное делать — про политрабоду.

Так прошло недели три. Потом нас выстроили, и командир дивизии, подполковник Хаустович, прочел приказ № 227: «Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором...»

Войска Красной Армии оставили Ростов, потому что их обходили. А обходили потому, что Сталин пытался весной и

летом продолжать зимнее наступление и дал возможность немцам прорвать наши наступательные боевые порядки. Вообразите себе фехтовальщика, застывшего в выпаде. Нанося удар, он не может думать о защите, он открывает грудь, голову. И если выпад неудачен, противник наверняка поразит его. А весной-летом 1942-го наше наступление не могло быть удачным. Как только снег растаял, надо было зарываться в землю. Потерян был союзник — мороз. Преимущество немцев в авиации снова все решало. Немцы дали нам возможность забраться в ловушку, обескровить себя в атаках, а потом ударили по флангам, и фронт развалился. Но государственная система была устроена так, что позор на Сталина не ложился, в штрафной батальон (заведенный по приказу 227) отправили не его, и в истории остался только образец мужественного красноречия: «Сегодня, 28 июля...» (попробовал бы другой это сказать. Сразу — срок за клевету на Красную Армию).

Через несколько дней дивизия была переброшена из Московской зоны обороны под Воронеж. Здесь собирались перейти в контрнаступление, отвлечь часть немецких сил от южного участка фронта. Но события развивались слишком быстро. Нас снова погрузили в теплушки и снова повезли, мимо дыбом стоявших взорванных паровозов, — в степь, северо-западнее Сталинграда, возле совхоза Котлубань.

Доехав, редакция окопалась километрах в трех позади совхоза, в неприметной балочке. Наборщик и печатник вырыли ямы и установили в них свое оборудование. Но материала не было. Старший политрук Сапожников молчал или присылал корявые переделки политдонесений (тоже довольно корявых). Фантазировать он не умел, а выходить из блиндажа политотдела боялся. Через день или два мне выписали продовольственный аттестат и отправили на КП (командный пункт).

Блиндаж политотдела был вкопан в склон балки Широкой, чуть повыше большой лужи (может быть, остатка пруда). На краю лужи, наполовину в воде, лежала дохлая лошадь. Воду эту все пили, а лошадь никто не оттаскивал: не до того было. Так эта лошадь и гнила. Воронки вокруг КП были залиты испражнениями. Когда подводил живот, приходилось искать, где почище. Впрочем, воронок было много, и рядом всегда была бумажка: «штыки в землю» и т. п. Бумажки попадались довольно забавные, целые книжки с

картинками — как три брата Кагановичи совещаются со Сталиным в кремлевском подземелье, и т. п. (немцы, конечно, знали, что М. М. Каганович в 1938 году застрелился, и Ю. М. тоже след простыл — но не все ли равно?). В общем, потереться было чем.

Ровно в шесть часов утра на небе повисала «рама» (двухфузеляжный разведчик фокке-вульф). Через полчаса налетали юнкерсы и копали новые воронки. Потом хейнкели бросали что-то потяжелее, до тонны весом. Командир дивизии был тяжело ранен, когда выглянул за чем-то из блиндажа. Даже выйти до конца не успел.

Приказ, который он получил от Жукова (а тот от Сталина), был прост: к вечеру достичь окраин Сталинграда, т. е. срезать клин, вбитый немецким танковым корпусом. Дивизия оттеснила немцев на три километра. Сосед слева почти не продвинулся (три километра были рекордом в этой операции). По открытому флангу противник контратаковал, автоматчики подошли к КП на двести метров. Хаустович бросил в бой свой последний резерв — учебный батальон. Будущие сержанты так и не стали сержантами. Они пошли, как на учении, ни разу не ложась, отодвинули линию фронта от КП — и полегли. Чудом уцелевший комсорг батальона Сидоренко (тогда — замполитрука, четыре треугольника, как у старшины) несколько раз пытался мне рассказать об этой атаке, но красноречием он не отличался. Я больше по лицу угадывал, как все было.

Дальнейший ход операции напоминал наказание шпицрутенами умирающего, которого везут сквозь строй на дровнях (такой случай описан у Герцена). Единственное боевое интервью я взял у комиссара батальона, выведенного на отдых. Маленького роста (примерно с меня), с горящими глазами, он говорил, захлебываясь, что пуля на него еще не отлита (через 3 дня и его убили). Меня поразило, что батальон — это всего 20 или 30 солдат и ни одного офицера. Потом я к этому привык.

Победа — как рождение ребенка. Муки позабыты, все смысла радость. Но в августе-сентябре 1942 года родился мертвый ребенок. Я увидел поле битвы глазом Кришны. Покровы майи были сброшены, и то, мимо чего я шел каждый вечер, были груды гниющего человеческого мяса. Потрясало то, что гниющего. Убитые на поле боя — это непременная часть войны. Но мертвые должны быть похоронены. А я шел и наты-

кался на руки и ноги, торчащие из едва присыпанных ровиков. В Афинах судили военачальников, не позаботившихся о похоронах воинов. А власть Сталина могла пренебречь последним правом солдата.

Если бы немцы наступали! Тогда, может, некогда и некому хоронить. Но ведь наступали мы. Т. е. считалось, что наступаем. Делали вид, что мы еще дивизия, что у нас есть полки, — а на деле добивали последние взводы. Демонстрировали давление на фланг Паулюса, который прекрасно знал, что давить нам нечем. Не знал и не хотел знать этого Сталин. И демонстрировали мы только одно: свою преданность вождю.

Никогда я не чувствовал с такой силой правду солдатской поговорки: не война, а одно убийство. Рядом с полем смрада, через которое я шел по вечерам, стоит в моей памяти только одно: Майданек, груды детской обуви, сваленной в бараке. Но ведь Майданек — это преступление. За него судили и вешали.

Как надо было воевать, я тогда не понимал, кое-какие идеи мне подсказала — сорок лет спустя — книга Григоренко, но ясно было и мне, лопуху, ничему не обученному, что августовское наступление — кошмар. И подбирая отдельные истории о мужестве и умении солдат и сержантов, я смутно чувствовал, что делаюсь соучастником и укрывателем преступления. В медсанбате (когда водичка с дохлой лошадейю расстроила вдрызг живот) я тосковал, глядя на санитаров: вот бы и мне сюда... Нет героев, нет подвигов, есть только мертвые и изувеченные. И по сердцу только два хороших дела: помогать раненым и хоронить мертвых.

Однако я уже был запряжен в другую телегу и должен был ее волочить. Какой-то смысл в моей работе появлялся иногда на огневых артиллерии. Артиллеристам было что рассказать. Особенно о том дне, когда немцы бросили в контрнаступление танки. Это был маленький намек на будущие победы. На участке в два километра было подбито двадцать три машины. Стреляли — кроме наших — еще несколько полков из резерва Главного командования. Но мне было все равно, сколько раз будет подбит на страницах газеты «За родину» один и тот же танк. Главное, что люди хорошо окопались, не давали оглушить себя юнкерсам и хорошо стреляли — и рассказывали об этом с увлечением.

А пехота... С ней было так же плохо, как с колхозами.

И с ней самой, и с моей ролью поставщика славы. Никому эта слава не была нужна. Собственно, до стрелков я тогда ни разу не добрался. Из балки Широкой в балку Тонкую (где стояли штабы полков) ровно три километра — максимум, который выдерживала моя нога. Ходить приходилось ночью. Бегать я еще не мог, а дорога сильно простреливалась. Прыгнуть в воронку не успел бы...

Эти ночные походы в балку Тонкую были полны отчаяния и тоски. Исходный рубеж, с которого началось наступление, выделялся по запаху. И я шел из Широкой в Тонкую и из Тонкой в Широкую по полузарытой братской могиле.

В балке Тонкой — та же тоска. Днем реденькая цепь, составленная из упраздненных обозников, подымалась и снова ложилась, ничего не добившись. К вечеру возвращались в балку политрабтники, посланные в батальоны. Усталые, охрипшие, они по долгу службы пытались мне что-то рассказать, но я чувствовал за их словами то же, что по дороге: тоску и отчаянье.

Я вспоминал свой солдатский опыт — как нас выложили на снег. Даже не цепью, а кучей, и снег постепенно розовел пятнами крови. То, что я тогда испытывал, наверно, испытывала бы мишень, если бы могла чувствовать и думать. Или кусок мяса, который проворачивают в мясорубке. Додумать тогда мне было некогда. Я был захвачен другим: выстоять, вынести. Я давил в себе тоску, сознание бессмыслицы всего, что делается. А теперь я мог подумать. Убивали не меня, убивали других — и грызла тоска.

Почему-то особенно помню разговор с парторгом 405-го полка. Я вообще предпочитал иметь дело с комсоргами. Их только что назначили из солдат, и отношения складывались на равных. Но этот парторг все время держал комсорга при себе, как сына или младшего брата, и я привык к обоим. Ограниченность старшего была написана на его конопатом лице. Просто дубина. Месяца три спустя он не принял в партию минометчика, отец которого был раскулачен. Это в декабре 42-го, на фронте, когда на такие вещи обыкновенно плевали. У парня даже слезы выступили на глазах. И комсомольская организация осталась в дураках — она этого младшего сержанта (кажется, Гранатчикова) рекомендовала. Словом, дубина дубиной. Но какая-то в нем была простота и искренность.

Парторг никогда не отказывался давать мне материал, но

в этот вечер он с трудом выдавливал из себя слова. Видно, чувствовал,— не сознаваясь себе,— что все это фальшь. Ну, провел сержант Иванов на рассвете партийное собрание, и коммунисты пошли вперед... А потом? Потом продвинулись на сто или двести метров и опять залегли. Т. е. вылезли из своих кое-как выкопанных ровиков и теперь должны их копать заново, под минометным огнем и бомбежкой, долбать твердую землю маленькими солдатскими лопатками...

Артиллеристы возят с собой большие лопаты, кирки и окапываются за ночь намертво. Год спустя, на подступах к линии Вотана, я прыгнул в ровик третьим. Подо мной лежали еще два солдата. Бомбили пикировщики, точно, как на учении, наверное, доложили, что батарея уничтожена. А когда улетели и мы оглянулись — всего только подбит один миномет и контужен один солдат. Другое дело — пехота. Пехотинец в наступлении голый. И эти продвижения на сто — двести метров — нечто вроде коллективного хакакири.

Но надо было говорить о подвигах, и парторг выдавливал из себя подвиги. Потом человеческим голосом заговорил о другом: «Где теперь моя жена? Спит, наверное, с немцем...» Помолчал немного и прибавил: «Ну ничего, дойдем до Берлина — мы немцам покажем!»

Я был поражен (потому и запомнил). Какая тут логика? Почему мы, гуманисты, должны повторять фашистов? И почему это говорит парторг? Куда девался реальный гуманизм — логическая основа коммунизма? Все эти вопросы остались во мне невысказанными. Но я вспомнил их в 1945 году.

Сам парторг, впрочем, до Берлина не дошел. И комсорг не дошел. Обоих убили 9-го или 10 января 43-го.

Вскоре после нашего разговора в балке Тонкой издан был приказ № 306. Оказывается, в степи нельзя воевать так, как в лесу. Нужны более редкие боевые порядки. Я думаю, нужно было еще очень многое (например, не отдавать невыполнимых приказов и давить на фланг Паулюса ночными атаками, используя время, когда юнкерсы не летают). Но если все дело в редких боевых порядках, то почему два военных гения, Сталин и Жуков (руководивший операцией), не завели таких порядков? Ребенку известно, что на Нижней Волге лесов нет. Впрочем, ребенку известно и то, что на севере зимой холодно. Но теплое обмундирование было завезено только после финской войны. Не потеряв нескольких сот тысяч или нескольких миллионов, гений Сталина дремал.

А потом печаталось очередное «Головокружение от успехов», и мы, как идиоты, радовались, что там, в Кремле, бодрствует великий ум.

В балке Тонкой я кое-как записывал фамилии, возвращался на КП и утром, лежа на солнышке, кропал статейки. Работа легкая, я выполнял ее за час. Сапожников мне завидовал — он творил мучительно долго. Но его душа была, кажется, спокойна (у него не было ни ума, ни воображения). А в моей — как в животе, который никак не мог переварить воду сдохлой лошадьё. Никогда я не выглядел так отвратно. Исхудал, в очках уцелело одно стеклышко (и то — на левом глазу). А на лице этого огородного пугала было написано то, что в современной философии называется абсурдной ситуацией. Подныривать под абсурд я тогда не умел и медленно захлебывался.

В это самое тягостное для меня время помначполитотдела по комсомолу, высокий красивый юноша, весь в блестящих ремнях, вдоль, поперек и крест-накрест, предложил мне стать комсоргом управления дивизии. Должность внештатная, и в полевых условиях занимать ее мог только человек, который бывает и в первом, и во втором эшелоне. Кроме меня, просто некого было на нее поставить. Иначе, конечно, выбрали бы кого попримечнее, чем доходягу в обмотках, шинели не по росту и с одним стеклышком на левом глазу.

— Мы вас и в партию примем, — сказал помнач, уговаривая меня.

Я просто не посмел отказаться. Сам бы не торопился, но отказаться! Это совсем другое дело. Тогда надо было сказать что-нибудь в объяснение — например, отец у меня репрессирован, подождать бы, пока больше себя проявлю... А мне это без прямого вопроса говорить не хотелось. И без того кадры чувствовали во мне чужого. Сапожников прямо шипел на конкурента, подрывавшего его профессиональный престиж. И, видимо, с его подсказки замнач, батальонный комиссар Штейн, спрашивал меня, на самом ли деле я хромаю (видимо, судачили, что я притворяюсь). И вдруг я кому-то в политотделе оказался нужен. Словом, я согласился. Потом уже стал вживаться в новое положение и подумал: раз я попал в систему политорганов, то как оставаться беспартийным? Если мы победим, то террор окажется ни к чему, и перегибы 37-го года будут исправлены. А не победим, так жинов и комиссаров в один ров... И постепенно я привык к



своей партийности. Приняли меня по-фронтовому, без вопроса об отце. Хотя принимали два раза: документы парткомиссии сгорели, и в марте процедуру пришлось повторить.

Новые обязанности мои были несложны: один раз в месяц собрать членские взносы и иногда написать рекомендацию в партию от имени общего собрания (которое я ни разу не собирал). За взносами я заходил в штаб дивизии (комсомолец-переводчик), в прокуратуру (комсомолец-следователь). Сперва чувствовал себя неловко, потом привык. Одна внештатная должность подперла другую, и установилось (на полтора года) равновесие, хрупкое, как все в моей жизни. Трофейную команду расформировали. Я нигде не состоял в списке, нигде не получал денежного и вещевого довольствия. Но вся дивизия знала меня в лицо и по фамилии; я был ничто в военной иерархии, но ничто, всем известное, ничто, ставшее лицом. Не было такого батальона, такой батареи, где я бы несколько раз не побывал.

Примерно с конца сентября прекратились судороги нашего мнимого давления на фланг Паулюса. Покойников захоронили как следует, смрад прекратился. Плотность огня упала, расширилась зона, по которой я мог ходить днем. Над степью, огромными перекатами уходящей на запад, развернулось огромное синее небо, и на нем засветило холодное октябрьское солнце. Оно светило и в августе, и в сентябре, но тогда как-то не мог я видеть его сквозь дым разрывов и смрад. Только сейчас я увидел и степь, и небо, и солнце. А временами чувствовал, что мои корреспонденции доставляли артиллеристам радость. Примерно как артистам — хорошая рецензия. И артисты с удовольствием встречали меня и с удовольствием рассказывали, как они играли свою роль.

Дивизионной газетке положено писать о рядовых и сержантах, и я этого в общем придерживался. Но косвенно слава распространялась и на командиров взводов, рот, батарей, батальонов. Как только начались победы — всем захотелось славы. И я доставлял гладиаторам это утешение. И по мере того, как работа начинала мне нравиться, снова спускалось покрывало майи, и мое «я» растворялось в армейском «мы», для которого статейки, вырезывавшиеся из газеты, и железки, прикреплявшиеся к правой или левой стороне гимнастерки, были кусками вечности. Железки тоже иногда давались по следам моих заметок...

То, что увлекает людей действовать, участвовать в исто-

рии, сражаться, можно сравнить с брачными играми животных. Играет Бог, окутывая бытие завлекательными образами. Играет человек, создавая самому себе приманки. Во время войны эта человеческая игра шла живее, чем в дни мира. Миллионам людей дали оружие, дали видимый, осязаемый образ зла и возможность победить его. Месяц за месяцем ничего не выходило. А потом что-то начало клепаться. И солдат, обманувший смерть, взлетал на крыльях славы.

Майя — милость Божья, высокая милость. Надо быть только достойным ее, способным понять ее игру, увидеть в знаке — знак, в образе — образ. Весь видимый мир — майя, след лилы (Божественной игры). Человек, вглядываясь в игры Бога, создает свои игры, свой слой майи: героики, славы, исторического величия...

За подобием подобие, за покровом — покров. Поле смерти под Котлубанью реальнее орденов и медалей. Но и трупы, и смрад, и отчаянье — все это тоже майя, ничто — сравнительно с последней глубиной:

Мир лишь луч от лика друга.

Все иное — тень его...

Пока я ковылял по степным перекатам к северо-западу от Сталинграда, будущий генералиссимус отозвал Жукова в Ставку. Приехал Рокоссовский и сказал: «Дивизий много, а воевать некому». Часть дивизий расформировали. Нашу пополнили за счет 207-й. Готовилось знаменитое окружение Сталинграда.

Передвижение войск к месту будущего прорыва застало меня в редакции, оставленной на старом месте из-за нехватки транспорта. Из-за той же нехватки меня не взяли в политотдельский грузовик. Впрочем, местечко для меня нашлось бы, но Сапожников, пытая от собственной важности, сказал, что мест нет, и мне надо двигаться с редакцией. Я подчинился.

Ночью подмораживало. Спали, прижимаясь друг к другу, в крошечном блиндажике, вырытом в склоне балки. Потом какая-то попутка довезла меня до КП. Но это оказался второй эшелон КП — на исходном рубеже перед прорывом. Дивизия ушла вперед, в прорыв. Старший политрук Сапожников (перекрещенный в капитаны) и инструктор, старший лейтенант Королев, собирались догонять первый эшелон пешком. Меня Сапожников опять не хотел брать с собой: буду задерживать своим ковылянием. Я ответил, что задерживать

не буду, если отстану — пусть бросают, доплетусь сам. Ни карты, ни маршрута у меня не было. Хоть начать дорогу хотелось с офицерами, знавшими, куда идти.

По дороге Сапожников несколько раз снова говорил, что ждать меня он не будет. Я молчал и шел. Нога сперва не болела (расходилась за три месяца), потом стала болеть, потом болела сильно, но автостоп перестал действовать. Через девятнадцать километров оба политрука устали и решили заночевать. Я мог бы, стиснув зубы, пройти еще несколько километров.

Признаюсь (хотя это смешно): я шел и не верил, что Сталинград действительно окружен. Какая-нибудь дырка у немцев есть, а нет, так сделают. Знаем мы эти окружения. Сам воевал в феврале против окруженной немецкой 16-й армии, южнее Старой Руссы. Гитлер поддержал окруженных авиацией, перебросил по воздуху финских лыжников, те блокировали леса (по которым мы запросто обошли бы деревни, занятые немцами: у них ведь не было зимнего обмундирования) — и наше наступление захлебнулось. 16-я армия до сих пор цела, а у меня осколок в коленке... Если мы окружены — нам капут, а если окружены немцы, они вывернутся!

То, что я так думал, — не ахти какое событие. Я был мелкой сошкой, к тому же сошкой покалеченной, которую война тащила за собой, как кошка тянет за хвост попугая. Но, по видимому, так же думал Гитлер. И именно поэтому я ошибся: сталинградское окружение состоялось. Если бы Паулюс получил разрешение на прорыв, он непременно прорвался бы, и не получили бы мы в плен генерал-фельдмаршала. Но Гитлер не хуже меня помнил твердость 16-й армии и решил повторить тот же стратегический ход на Волге. В конце концов, что изменилось с февраля по ноябрь? Там хоть снег был, под Старой Руссой, а здесь ни снега, ни морозов. Когда немцы не засыпаны снегом и не ооченели от холода, наступать русские не умеют. Только что это подтвердило жуковское наступление в августе-сентябре. Господство в воздухе казалось полным и бесспорным. Опираясь на него, Гитлер имел все основания удержать в своих руках крепость Сталинград и не дать в руки Сталину козырную карту в войне мифов.

Сегодняшний читатель с детства знает о сталинградской победе. А я промерил ногами сталинградское кольцо и все еще не верил. Вот рассеются облака, и юнкеры дадут нам жизни. И правда, когда мы дошли до хутора (кажется, Рач-

ковского) возле передовой, засияло солнце и юнкеры прилетели. Но одновременно со мной в хутор вступил полк зенитной артиллерии. Впервые на моих глазах земля защищалась. Майор, командовавший полком, был ранен (он корректировал огонь, стоя во весь рост; окопаться не успели). Неподалеку от ровика, из которого я глядел на сражение, двое славян (так во время войны называли солдат-пехотинцев) никак не могли оторваться от бочки с искусственным медом. Их покалечило, и патока смешалась с кровью. Однако потери были, по старому счету, небольшими. Немцам понаделали дырок, один самолет задымился. Они кое-как отбомбились и больше в этот день не прилетали. Кордебалет не состоялся.

В ноябре 1942 года перелом еще не произошел: он происходил на глазах. Я его не сразу заметил. И Гитлер не сразу заметил. Но допустим, он вовремя спохватился бы и дал Паулюсу приказ отступить. Вышло бы из окружения сто пятьдесят, ну двести пятьдесят тысяч немцев. А вслед Паулюсу двинулся бы весь Сталинградский фронт, со всей своей артиллерией. Быстро был бы восстановлен сталинградский транспортный узел (паралич которого очень затруднил наше наступление). И все равно, нельзя было предотвратить разгром итальянцев на Среднем Дону и венгров под Воронежем. И все равно туз сталинградской победы остался бы в руках Сталина. Приказ отступить от Сталинграда — это признание, что войну против России нельзя выиграть. Гитлер был по своему прав, отказавшись от такого признания. И именно в результате этого неудача стала катастрофой.

Фюрера вела судьба — до 19 ноября к победам, после — к поражениям. До 19 ноября гением был Гитлер, после — Сталин. Пятнадцать лет спустя поэт Николай Глазков был исключен из Литературного института за двестише, которое я воспроизведу по памяти:

Слава — шкура барабанная. Сможешь — колоти в нее.

А история решит (или посмотрит? — Г. П.), кто дегенеративнее.

Солдаты, упершиеся в Сталинграде, как бы удержали в своей груди, между ребер, острие гитлеровской шпаги. И теперь Гитлер, а не Сталин, оказался в положении фехтовальщика, застывшего в выпаде, с открытыми боками...

Первая реакция Сталина на выход немцев к Волге была истерической. Наша полумиллионная армия, наскоро брошенная в бой, истекла кровью, ничего не добившись. Но Ста-

Линград держался. И Сталин вовремя понял, что город становится ловушкой. И дальше он играл, как по нотам, скупно посылая через Волгу пополнения, поддерживая в Гитлере надежду, что город вот-вот будет взят. Захватывая квартал за кварталом, немцы месяц за месяцем сохраняли наступательные боевые порядки, со всей ударной силой в центре и почти открытыми флангами. А в это время создавался кулак для контрнаступления... Сталин обладал огромной волей, хотя тупой и темной. Идеи он брал у других. Но выполнял с яростью. На войне темная воля хорошо работает — может быть, лучше светлой. Все резервы были введены в бой внезапно. И внезапно оказалось, что не только русские морозы, но и русские генералы могут бить немцев.

Войну решили те (большею частью убитые) солдаты, сержанты, офицеры, которые не бежали, хотя справа и слева бегут (или кажется, что бегут: бегут раненые, связные, связисты — и кажется, что бегут все). Решила вера в ближайшего командира (вроде лейтенанта Сидорова) и умение этого командира управлять ближним боем. Стратегический план? Но он получил смысл только от того, что Сталинград держался. А в Сталинграде командующие сплошь и рядом не имели связи с частями, батальоны держались сами по себе (это хорошо описал Гроссман). Решил дух, охвативший ополченцев и солдат. Откуда он взялся, этот дух, — никто никогда до конца не объяснит. Но одно обстоятельство бросилось мне в глаза: началось с обороны городов. Город не только тактически удобнее защищать (особенно город приморский, когда море — в наших руках). Он и социально крепче. Там собрано население, готовое взяться за оружие. Там есть исторические воспоминания, захватывающие сердце. Там не прошла коллективизация — и меньше людей, ждавших немцев. Нашествие прошло, как ураган, по русской деревне и споткнулось о города: Одессу, Севастополь, Ленинград, Тулу, Сталинград... В Туле даже не было опоры на море или на большую реку. Город можно было окружить. Его почти окружили — и все-таки туляки держались, пока Гудериан, выведенный из себя их упорством, не позабыл о собственных флангах — и начался разгром немцев под Москвой...

То, что мы лежали на снегу в Павловке и в тысяче других мест и позволяли себя убивать, стоило, на весах бога войны, не меньше, чем расчеты Генштаба. В течение полутора лет жертвы приносились напрасно. Но потом бог войны ска-

зал: достаточно. Я напился вашей крови. Вы перестали быть лопухами-ополченцами. Вы стали солдатами. И я даю вам победу.

В октябре 41-го года меня научили надевать поясной ремень, держа пряжку в левой руке, как положено в армии; но незаметный брючный ремень я надевал по-штатски, наоборот, — держа пряжку в правой руке, — как символ своей внутренней независимости. Не помню, когда — у меня это не совпало со Сталинградом — я взял пряжку брючного ремня в левую руку. И до сих пор так делаю. Война вошла в меня. Я внутри стал солдатом и в иные минуты до сих пор чувствую себя солдатом. Солдатом-одиночкой, давным-давно отколовшимся от всех армий и ведущим свой собственный бой. Безо всякого расчета на победу. Просто потому, что без этого я не буду самим собой.

Таких бесконечно малых сдвигов было 20 000 000. Фюрер ошибся не в ноябре 1942 года, а в июне 1941-го или еще раньше. Ошибся во многом. Все величины, из которых он исходил, оказались неоднозначными. О русском солдате я уже писал в «Жажде добра», «У бездны на краю»; во время чумы он показал себя не таким, как в дни мира. Но дело не только в этом. Хорошо заработала советская экономика, поставленная на военную ногу. И вся советская система неожиданно хорошо работала. Война дала то, чего ей не хватало: конкурента и подобие рынка, на котором ее товар (полки и дивизии) сталкивался с иностранным. Разбивая Ворошилова, Буденного, Тимошенко, немцы проложили дорогу Рокоссовскому, Коневу, Баграмяну, Черняховскому...

Сталин не был военным гением, но идиотом он тоже не был. За полтора года он выучился выбирать генералов и разбираться в штабной работе. Очень многие короли, цари и диктаторы этому выучиваются. И очень многих королев и царей за это причисляют к лику святых. Сталин — не первый и не последний.

В эти дни Семен Кирсанов сочинил «Вольное слово Фомы Смылова, русского бывалого солдата»: «Немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Не понимая, впрочем, всего страшного смысла поговорки: немцев мы отучили от Гитлера, а себя приучили к Сталину. Любопытно, понял ли это Кирсанов в 49-м году, во время борьбы с безродными космополитами?

Пока Манштейн рвался на выручку Паулюсу и Еременко его отбивал, на нашем участке сдвигов не было. Интенсив-

ность огня после Котлубани казалась небольшой. Да и я стал другим — размял ногу, легко бегал. Можно было ходить на передовую днем. Если снаряды рвутся то здесь, то там — плевать. Беспокоящий огонь. Не намного опаснее, чем перебегать улицу на красный свет. Но вот я иду на передовую, а оттуда связной или связист (выяснить не пришлось). Когда мы почти встретились, один снаряд — перелет, другой — недолет... В декабре 42-го я уже понимал язык войны: вилка!

— Ложись! — крикнул я встречному солдату. Мы нырнули в воронки, и сейчас же грохнул залп батареи (четыре разрыва: бах-бах-бах-бах!), потом еще залп. Третьего не было. Нас условно уничтожили. Теперь можно было вскочить и разбежаться. Палить батареей по одиночному солдату не положено. Впрочем, пока берут в вилку (перелет, недолет), я опять спрячусь. Каждый день стал для меня увлекательной игрой, не очень опасной, — не то, что ходить в атаку, — но постоянно возбуждавшей чувство. Человек (по крайней мере мужчина) создан для того, чтобы встречать опасность и бороться с ней. Я полюбил привкус риска, и тепло от печурки в блиндаже после целого дня в поле, и мгновенную близость с людьми, над головами которых свистят те же пули... Чем ближе к переднему краю, тем эта близость больше. Обходя штабы полков, я прямо шел в батальоны. Если нельзя днем, то ночью — но в батальоны и роты...

И постепенно складывалось пространство свободы. Роль солдата трофейной команды, прикомандированного к редакции и попавшего в систему политотдела, была довольно нелепой и под Сталинградом просто жалкой. Но к декабрю я уже твердо знал, как жить.

Практически никто мной не руководил. Раз в две недели я приезжал в редакцию (помыться в тыловой баньке). Черемисин пользовался случаем дать мне ЦУ (ценные указания) — а дальше делай, что хочешь. В политотделе старался не засиживаться. Летом — даже не ночевал там. Если сыро — садился на полевую сумку, заворачивался в плащпалатку, опирался на куст и спал. Или, в открытом поле, — залезал в первый попавшийся ровик.

В каждом полку у меня завелись приятели, интеллигенты, которым плевать было на чины и звания; были и гонители, чопорные офицеры, полные сознания своего капитанского или майорского достоинства. Особенно я запомнил белобрысого капитана Мацкевича, обливавшего меня презрением,

когда мы встречались и я по уставу прикладывал руку к пилотке. Мы никогда не разговаривали. Но встречать в глазах презрение к своей внештатной фигуре, к личности, нарушавшей стройность иерархии, было неприятно. Каждый раз приходилось сделать усилие, чтобы устоять против взгляда, который так и ставит тебя на место. Я страдал, как подпольный человек Достоевского, от встреч с офицером, гремевшим саблей, и был рад, когда Мацкевича не то убили, не то ранили. А между тем — кто знает — если бы мы вместе оказались под огнем...

Риск, который мы оба весело переносили, как-то на миг сдружил меня с одним командиром полка, майором Свиридовым. Это было в Степановке, во время первого прорыва Миус-фронта. Немцы нащупали КП и непрерывно бомбили. Сводчатый каменный погреб, сделанный хорошим хозяином, держался. В самый центр бомбы не попадали, а боковые удары кладка выдерживала. Я мог воспользоваться одной из коротких передышек и уйти, но меня захватила обстановка. Замполит, майор Олейник, нацепил на голову немецкий шлем (сохранить голову, если полетят камни), губы у него дрожат. Хозяйка (жавшаяся с детьми в углу) при каждом ударе зовет на помощь Богородицу и святых. Мне было весело, и я спросил ее, чего она боится, если верует, что невинные души попадут в рай?

Свиридов сидел спокойно и каждый раз, когда бомбежка стихала, вылезал наружу — посмотреть, нельзя ли восстановить проволочную связь. Убедившись, что делать нечего, он попросту грелся на солнышке. Я тоже. Мы были одни наверху, если не считать полуоглушенного связиста. И тут разговорились, как на пляже, когда оба в плавках и общественное положение снято вместе с брюками. Я узнал, что лучший наш командир полка окончил всего два класса сельской школы и школу младших лейтенантов. Впрочем, майор Волошин, — бывший комиссар, заменивший убитого командира, — вовсе не имел военного образования. Кажется, единственный офицер, знакомый с военной наукой, был командир дивизии. Остальные учились на ходу.

Другой случай внезапного сближения был нелепый и смешной. Возвращался из госпиталя майор Гурин (или Гуров?), командир противотанкового дивизиона, — очень надутый офицер, из самых чопорных; на меня он смотрел как бы с ходуль. И вдруг — почти бросается на шею. Оказывается,



ему поцарапало один орган, и мучился человек, что вся дивизия только и говорит: дескать, майору Гурину оторвало эту штуку (а никто про него и не думал). И вот он торопится мне объяснить, что ничего подобного, цел, и сама докторша, лечившая его, согласилась попробовать,— вот от нее письмо... Гурин понимал, что этот документ не может быть опубликован в газете «За родину». Но я всюду бывал — и, видимо, должен был трубить во всех батареях и батальонах, что майор Гурин испытан и готов к новым победам. Ради этого и заискивал. Он неспособен был к простым и равным отношениям. Или надулся от важности, или подличает.

От унижений я никак не был защищен. Но свободы все-таки было больше, чем унижений. Иногда я вспоминал Вийона: «Везде я принят, изгнан отовсюду». Я был свободен, как бродяга. Такая свобода часто связана с внешне униженным, межеумочным, внештатным состоянием.

Впрочем, всякая трудность, если перемочь ее, дает силу. И я рад — задним числом, — что мне не далась академическая карьера и вместо аудитории я попал на фронт, в лагерь, в станицу... Никогда не хотелось мне сказать, как Глазкову:

Я на мир взираю из-под столика...  
Век двадцатый — век необычайный:  
Чем он интересней для историка,  
Тем для современника печальней.

Я не жалею, что родился в XX веке. Я его вынес. И даже если вся Вселенная обрушится на меня... что ж, я отвечу ей в духе Паскаля: ты не зачеркнешь того, что во мне сложилось.

Война не стерла моей хрупкости, уязвимости (без которых нет настоящей чувствительности), но на эту «почти женскую чувствительность» (как выразилась обо мне одна девушка) наложился азарт боя... и в конце концов мужество отделилось от боевого «мы», стало независимым и свободным и как бы повернулось снаружи внутрь. Но началось это на войне. Там — первый опыт жизни в сознании смерти. Вечное сознание опасности. Упругость, подобранность...

Раджнеш лучше меня понял смысл страха и выхода из страха. И многое другое он понимает лучше меня. Но его призыв к бунту против культуры, к простоте реакций животного, меня оттолкнул. Может быть, потому, что бунтом мы сыты. Но, кажется, не только потому. Упругость воли —

самое естественное дело, но у человека она сама собой не получается. Мне под Котлубанью очень естественно хотелось бежать, сломя голову, и слава Богу, что хватило ума лежать, и думать, и выбрать другую возможность, дремавшую во мне, и преодолеть страх, и выработать в себе способность жить под огнем. А сколько раз позже, в мирных ссорах, хотелось сказать обидное, ударить словом, а разум не позволял, и вдруг, как рубильником обрубая ссору, я говорил: вспомни, мы любим друг друга; это гораздо важнее, чем то, из-за чего мы спорим...

Каждый мужчина, наверное, знает минуты, когда все захватывает инстинкт. Об этом с упоением писал Архилох — и с отвращением Марина Цветаева (в письме Бахраху). От такой естественности сердце становится пустым и «одиночество хлещет, как реки» (Рильке). Это проклятие любви. Только упругая воля может спасти чувство и привести сердце к сердцу, а не только (и не столько) пол к полу. Не рассуждение, нет — его сметет страсть, — но мгновенная искра сознания и воли, без всякого промежутка. Искра, которая одновременно и сознание, и действие. То, чего добивается дзэн, заставляя монахов стрелять из лука и фехтовать, и что само собой складывается на войне. Я вспомнил это года два тому назад, когда сделал незаконный левый поворот на шоссе, услышал позади (в неожиданной близости) скрежет тормозов и визг пассажирок и действовал, не успевая думать, но совершенно разумно: нажал на педали велосипеда, соскочил с шоссе, а потом резким поворотом объехал трехлетнего мальчика, стоявшего на дорожке, и упал в кустах...

Человек — не котенок. В человеке заложена возможность того, что Зина назвала (в статье о буддизме) второй естественностью (не наехать на ребенка и даже не испугать его, проскочив слишком близко). Призыв к простоте животного имеет смысл внутри культуры. Чжуанцзы (которого Раджнеш комментирует) прав в споре с застывшим ритуалом. Но если убрать Конфуция, упадет и правда Чжуанцзы. Они дополняют друг друга.

Недовольство собой и стремление к высшему — не обязательно источник невроза. Пастернак писал о вечном недовольстве художника. При упругости воли такое недовольство действует, как пружина. Да, в моем беспомощном отрочестве недовольство собой ни к чему не вело, кроме комплексов, и заводило в подполье. Но истинная духовная неудовлетво-

ренность — медленно действующая пружина, толкающая до последнего вздоха...

Что случилось со мной в сентябре 1946 года? Почему воля вдруг рухнула, словно я потерял костяк и остался мешком с паклей?

Впрочем, это случилось не только со мной; многие демобилизованные солдаты и офицеры потеряли тогда упругость воли, нажитую на войне, и стали как тряпка, как ветوشка, которыми можно вытирать пол. У меня это произошло резче, острее; другие сами не заметили, как это случилось, как рухнуло целое царство отношений, сложившихся под огнем, и все мы, со своими орденами, медалями и нашивками за ранения, стали ничем. Не помню, когда — кажется, в 47-м — перестали платить орденские деньги (очень скромные) и отменено было право бесплатного проезда на трамвае. Этим даже внешне, официально была подведена черта... Вы воображали себя чем-то? Вздор, вы — ничто и значите что-то только после единицы, после Сталина. (Примерно тогда же был отправлен в Уральский военный округ Жуков).

Три мертвых года после войны. Я тогда ужасно много спал. Словно хотел совсем заснуть и не проснуться. Заведующий производственным отделом треста, где я полгода служил, добрый человек, предлагал мне стать заправским техником. Лучший выход для клейменого — подальше от идеологии, и в лагере бы пригодилось. А я отказался, предпочел унижительное положение человека, которого держат из милости и в конце концов выгнали. Насколько легче мне было бы учить ремесло техника в 46-м, чем в лагере — ремесло нормировщика. Но роль техника меня отталкивала, и я не нашел ни малейших сил, чтобы освоить ее. Мне нужно было мое собственное амплуа — или ничего. И я соглашался на роль статиста, не требовавшую никакого усилия. Типичное поведение неудачника. Только арест меня встряхнул. Я принял его как объявление войны, и оделся в остатки военной формы, и почувствовал себя снова в бою — и снова нашел в себе мужество и волю. А тут уже судьба ввела меня в 16-ю камеру и снова подарила чувство локтя, чувство братства. В этой антиструктуре я рос и накапливал самого себя. И в конце концов понял, что нет маленьких ролей, есть только маленькие актеры.

В 60-е годы я взял роль библиографа — и сделал ее большой. Нашел в «профессии неудачника» свои возможности.

Леонид Ефимович Пинский спрашивал, что у меня за работа, которая мне так много дала. А работа была незавидная. Сперва очень от нее голова болела. Но потом привык, научился просматривать статьи и писать аннотации галопом, высвобождая себе время читать то, что интересно, и за несколько лет стал заправским востоковедом и культурологом и социологом. Мне никто не дал простора для развития. Я сам его создал — и в моем ничтожном положении нашел залог свободы: меня нельзя было запугать угрозой снять с работы. (Это с какой именно? С библиографического конвейера? За 105 р. в месяц? Да любая другая была бы легче.)

Все в мире несовершенно, болезненно, неустойчиво, трудно. Но увидеть это, не цепляться за устойчивость, за нетрудность, за комфорт — первый шаг к устойчивости в пустоте. Мое ничтожное положение стало моей почвой.

Внештатным литсотрудником дивизионной газетки я впервые — но не в последний раз! — выстраивал из ничего свое жизненное пространство. Представьте себе певца в обмотках и с разбитыми очками. А ведь я тоже выходил на сцену — приходил в подразделение, представлялся... В армии, где все одеты как положено, где даже без ремня — как без штанов, я очень остро почувствовал свою наготу, несоответствие своего вида и положения исполняемым обязанностям. Я все время должен был иметь дело с офицерами (даже для того, чтобы поговорить с нужным мне солдатом — откуда мне знать, какой нужен? Не спрашивать же сто человек по очереди?). А отношений не на равных я не выносил, и нужно было время, чтобы создать равенство сквозь неравенство положений, знаков различий, одежды. Я его создал, в конце концов; но сперва я чувствовал себя очень голым. Как во сне, когда вдруг приходишь в театр — без ничего. Иногда я завидовал певцам, балагурам: их любили, о них заботились. Или фотографам политотдела: их, по крайней мере, пристойно одели. А мне пришлось всего добиваться самому.

Начало моего корреспондентского пути напоминает эпизод из воспоминаний Анны Поляковой. Она приходила на лекции после войны буквально в лохмотьях, встречала удивленные взгляды студентов и студенток — и начинала говорить, и через несколько минут уже никто не замечал, во что она одета, а только слушали. Так и я выкручивался. Впрочем, и это сравнение не совсем точно. Лекций я не читал.

Чем же я был интересен? Не двум-трем интеллигентам в штабах полков, а в батальонах? Почему на командных пунктах батальонов у меня как бы выстроился родной дом? Помню до сих пор фамилии комбатов: Гарин, Кашпер, Смеляков. С замполитами я реже дружил (осталась в голове одна фамилия: Башкиров).

Никогда ни до, ни после я не водился с офицерами. Почему они были мне рады? Конечно, не в каждом батальоне. Но там, где были не очень рады, я и бывал пореже. Хватало таких батальонов и батарей, где меня полюбили. За что? За мои статейки? Или за то, что мог пересказать фельетон из «Красной Звезды»? Или жил во мне тогда дух, общий со всей передовой, и Гарин и другие этот дух во мне чувствовали? И охотнее разговаривали со мной, чем с местными политработниками — официальными носителями идеи войны? Не знаю, что важнее. Но пространство свободы было выстроено. Я не сумел бы этого сделать, если бы сознательно поставил себе такую цель. Я испугался бы трудности задачи, я не справился бы с ней, у меня все бы выходило фальшиво. Но я просто избегал отношений, для меня нравственно невыносимых, и шел навстречу отношениям равным и простым. Остальное сложилось само собой.

\* \* \*

Под самый Новый (43-й) год фронт сдвинулся. Лоскутные немецкие части, державшие оборону против остатков наших полков, внезапно ушли (раздав италийцев, советские танки обходили их с севера). И внезапно солдаты и офицеры почувствовали себя так, словно именно мы разбили врага, разбили наголову, остается только брать трофеи. Все словно с ума сошли. Переходы были большие, я норовил подъехать — то с артиллерией, то на грузовике с имуществом пулеметного батальона. Командир и замполит в кабине (им тоже лень было идти пешком), а меня пускали в кузов. Вдруг — стой! Выскакиваю, смотрю — остановил нас солдат. Впереди на бугре — разбитая машина. Рядом, на земле, — убитые. Оказывается — армейские саперы. Никаких саперных работ впереди не было, мчались занять квартиру и кстати прихватить пару совхозных овечек. Выскочили на бугор, а по ним — прямой наводкой. И сразу напал, уцелел один.

Мы остановились, стали вместе с сапером задерживать подъезжающих. Все тылы: у них были грузовики. Ни одного боевого подразделения. Пока суд да дело, разговорился с сапером. На машине лежали валенки; ехали в ботинках, с утра тепло было, а теперь подмораживает. Валенки убитым не нужны. Я спросил: «Можно мне взять пару?» Ладно, оставь, мол, ботинки. Я выбрал пару поменьше и переобулся.

Между тем подъехал на эмке подполковник, командующий артиллерией дивизии. И уже после него подошла дивизионная разведка. Никому не пришло в голову, воюя с моторизованным противником, посадить хоть часть разведчиков на машину, хоть патруль на одной из легковушек, временно изъятых у штабных начальников — следить за движением в колонне и не выпускать тылы впереди пехоты...

Подполковник приказал разведчикам обойти хутор, завязать перестрелку в огородах — тогда мы атакуем хутор в лоб (набралось нас порядочно, человек тридцать). Скоро затрещали автоматы, подполковник скомандовал: «Вперед!» — и мы с криком «ура» побежали с бугра на Нижний Гнатов. Бежал и я — помогая криком. Оружия у меня не было. Впрочем, немцев в Нижнем Гнатове тоже не было. Посреди хутора стояла брошенная зенитка без снарядов. Видимо, фрицам надоело тащить ее за собой. Они подождали первой машины, выпустили снаряд и смотались.

Моим трофеем остались валенки: первый шаг к тому, чтобы прилично и по сезону быть одетым. По совести, об этом должен был заботиться Черемисин. Но он не видел от меня угождения и не считал себя обязанным поощрять непочтительность.

Стационарный офицерский состав редакции состоял из двух человек: редактора и секретаря (старшего лейтенанта Абрамичева). Литсотрудник играл роль корреспондента. Я сразу подружился с Владимиром Ивановичем Абрамичевым и поддерживал его в спорах с Черемисиным. Абрамичев был довольно начитан, следил за чистотой языка, и Черемисин раздражал его уже своим произношением (марксизм, социализм), а пуще того — любовью к пошлым красотам. Время от времени Абрамичев отпускал язвительное замечание, и начиналась перебранка. Черемисин, загнанный в угол, заикаясь и захлебываясь слюной, пускал в ход последний аргумент: не хочет ли Абрамичев поехать в полки, на передовую? Абрамичев, родом уральский казак, богатырского

телосложения, горный лыжник (спорт, требующий смелости), панически боялся бомбежки. Я думаю, его подавляло то, что меня возбуждало: совершенное равенство всех перед бомбой (как перед смертью), исчезновение преимуществ, которые дают сила и ловкость. На передовой клин вышибло бы клином: человек или сходил с ума, или привыкал. А во втором эшелоне Абрамичев мучился страхом до конца войны.

Я помню только один спор; он несколько раз приходил мне на память, когда шла борьба с космополитизмом. Уже появилась Тонечка, младший наборщик, сразу занявшая еще одну важную должность (ППЖ). Она естественно поддерживала своего ППМ<sup>1</sup>. Мы с Абрамичевым представляли интеллигенцию, Черемисин — кадры, а Тонечка — народ. Партия и народ были едины. Зашел разговор, дорог ли нам, советским людям, Париж. Нам с Владимиром Ивановичем оказался дорог, а Черемисину с Тонечкой — нет. Любая русская деревня, говорили они, дороже всех Парижей. При этом Черемисин патриотически заикался, а Тонечка патриотически взвизгивала. Больше всех Парижей она любила анекдот про импотента. Когда кто-нибудь произносил фразу, ставшую поговоркой («вот видишь, а ты боялась»), Тонечка непременно отвечала: «Вот этого я и боялась». И хрюкала. Наверное, это был смех, но она так похожа была на поросенка, что я слышал хрюканье.

Черемисин все время заставлял старшего наборщика (старшину по званию, фамилию забыл) и печатника изготовлять накладные для разных тылов, одевших Тонечку с ног до головы — в офицерскую шинель по фигурке, в модельные сапоги, и т. п. Наборщик и печатник, таясь от редактора, тоже что-то мастерили в обмен на водку, подсолнечное масло и консервы. При таких взаимоотношениях ничего не стоило прилично экипировать меня — только разок поговорить с начальником ОВС (обозно-вещевого снабжения).

В конце концов, я сам с ним поговорил. На мое счастье, старший лейтенант Трифонов (или Трофимов) оказался комсомольцем. Больше того: он десять месяцев не платил членских взносов. Весной 43-го я откопал этот клад. Трифонов (или Трофимов) был смущен. Я великодушно принял у него взносы, написал протокол собрания и выписку из протокола о рекомендации в партию, а потом спросил: нельзя ли мне

<sup>1</sup> Полевая походная жена, полевой походный муж.

сменить ботинки на сапоги и старое обмундирование на новое? Тут же вызван был заведующий складом, и с этих пор с одеждой и обувью у меня не было проблем. Но в первые месяцы я никого не знал и ничего не умел, а Черемисин ждал, когда я начну вести себя с ним, как он сам вел себя с начальством, — по-холоуйски. Я предпочитал обмотки.

Вторым благодетелем моим — кроме Трифонова — сделался старший наборщик. Старшина был плут (любимая поговорка: «Волка ноги кормят») и как-то устроил, что я, отбыв в первый эшелон, остался на довольствии и в редакции. Т. е. я не остался, я там почти никогда не бывал, но остался мой хлеб, крупа, консервы, подсолнечное масло, табак. Одним аттестатом распоряжался я сам (прикрепляя его то на КП, то в полку), другим — старшина. Это был русский плут. Раз в полгода его беспокоила совесть, и тогда он оказывал мне благодеяния. Первым были очки. Старшине они ничего не стоили, но драгоценен сервис. За мой же табак он выменял нужные мне очки, как раз минус четыре диоптрии! Почти чудо в нашей армии, где близоруких считали годными к строевой, а очков не давали.

Вторым благодеянием была медаль «За боевые заслуги». К 5 мая 1943 года Черемисин хотел наградить Тонечку. Старшина обиделся. Он без Тонечки, под бомбежкой, возле Котлубани, набирал газету. Но защищать себя было неприлично, и вот он сказал, что если к Дню печати представят Тонечку и не представят Померанца, который лазит по передовой, то придется поставить на партсобрании вопрос о моральном разложении. Критиковать боевые распоряжения начальника нельзя было, а отношения с ППЖ — можно. Черемисин струсил. Тонечку ему очень хотелось наградить. Она была такая свеженькая, розовенькая... И представили обоих. 5 мая, в День печати, командир дивизии гвардии полковник Левин вручил медали сперва Тонечке, а потом мне. Оркестр играл туш.

Третьим благодарением был наган. Старшина опять выменял его на что-то, полученное на мое имя. Я ужасно обрадовался игрушке. С ней я ушел в батальон.

Впрочем, это случилось только весной 1944-го. А пока что, 9 января 43-го, мы остановились на хуторе Ново-Россошанском. Вечером началась трескотня. Я выскочил на улицу и до темноты любовался фейерверком трассирующих пуль. Опасность только увеличивала его красоту. Струйки огня



лились широким фронтом, вдоль всей околицы. Потом огонь прекратился: ночью немцы не воюют. Я вернулся в хату и преспокойно заснул. Не мое дело распоряжаться боем. На это есть командир дивизии, командиры полков и другое начальство.

Утром пальба снова началась. Я выскочил из хаты и понял, что дело плохо: на снегу валялись две-три винтовки. Без оружия бежать легче, да и сдаться в плен проще... Я подобрал карабин, перебросил через плечо и стал посматривать — что будет дальше? Дальше мимо пробежали дивизионные разведчики, спускаясь в балку. Если разведка драпает, то и литсотруднику не стыдно. Отступать так отступать. Только куда отступать? Все почему-то стоят на месте. Поискал глазами знакомых, увидел лейтенанта Иванова, комсорга артиллерийского полка, и спросил его. «Мы окружены,— сказал Иванов, белый как снег.— Мы погибли. Выхода нет». Румянец, красивший его безбородое мальчишеское лицо, был смыт, как грим.

Мы действительно были отрезаны, и Иванов действительно в этот день погиб. Может быть, он это предчувствовал и заранее погружался в смерть. А может быть, он потому и погиб, что испугался. А я, может быть, предчувствовал, что выйду, или просто не успел испугаться, и беспечно ответил, что этого не может быть, выход найдется. Через пару минут на краю балки появилась легковушка, из нее выскочил подполковник Левин, развернул карту и стал что-то объяснять группе офицеров. Те сейчас же поднялись по склону, а Левин проехал метров пятьдесят или сто, опять выскочил и опять стал что-то объяснять другой группе офицеров. Я обратил внимание, что легковушка шла без дороги: снега мало, а земля подмерзла (если бы накануне патруль на такой машине предупредил нас о движении немцев...).

Потом мне рассказывали, что вечером 9 января, отправив в тыл раненого комдива (Фетисова, что ли) и приняв командование дивизией, Левин решил вывести остатки двух полков, спецподразделения и штаб из Россошанки на соединение со своим 991-м полком, оставшимся по ту сторону немецкого клина. Дорога была перерезана, но по целине выйти было можно. «Активных штыков», т. е. пехотинцев, почти не было. Артиллерия — без бронебойных снарядов, да и то, что было, не могла выпустить, потому что эсесовский корпус, отходивший от Тацинской, ударил нам во фланг внезапно.

Пушки стояли около домов, там, где расположились артиллеристы. Заранее круговую оборону не заняли. Саперная рота и разведроты, выложенные вокруг хутора, танков не останавливают. Пока полного окружения нет, надо уходить.

Все это было разумно, но оставался приказ 227. Ни шагу назад! Прекрасный лозунг для речей, для газет. А тактические задачи приходилось решать, как шахматисту, которому запрещено отводить назад фигуру, попавшую под удар. Левин решил согласовать отход с начальником политотдела; а в этом кадре перестраховка и тупость сидели крепче шкурного страха. Впрочем, болван, возможно, считал, что умирать будут другие, а он только получит орден. Так или иначе, политполковник уперся: ни шагу назад! Явное идиотство. Но Левин не был диссидентом. Он прошел через 37—38-й годы и против политотдела не решился пойти (хотя имел на это полное право). Ночью у него было время подумать, как спасти остатки дивизии, когда разгром перестанет быть идеологией и станет фактом. И теперь он действовал совершенно спокойно. Мне на расстоянии передалась его уверенность.

Я поднялся из балки и увидел, что по полю едет гусеничный трактор, тащит гаубицу, а над ним кружит самолет, вроде нашего кукурузника, и бросает бомбочки. Дальше (как я теперь сообразил — к востоку от хутора) ползали немецкие танки. Они отрезали нас и, как мне показалось, давили наших солдат (на самом деле — брали в плен саперов). Глядеть на это было страшновато. Я отвернулся и пошел на юго-запад. Кукурузник, покончив с гаубицей, повис над нами. Он медленно кружился, иногда выключал мотор, планировал и старался поточнее бросить бомбочку. Идти под бомбежкой неприятно, но делать нечего. Тут больше психология, инерция страха, созданная серьезной авиацией. Впрочем, одно прямое попадание я видел и прошел по обрывкам черного шоферского тулупа. Потом бомбочки все вышли, и мы без больших потерь дошли до хутора — кажется, Трифоновского, — где занимала круговую оборону 315-я дивизия. Там я достал патронташ и гранату.

В середине ночи нас собрали в колонну и повели на прорыв. Шли все скорее и скорее (надо было наверстать часы, упущенные в сборах). Чтобы не отстать, я схватился за задок брички с каким-то минометным имуществом. Ездовой ругал меня, — лошадям и без того трудно, — но я не отпускаял

бричку. Так прошли еще несколько километров (а всего примерно двадцать). Вдруг впереди засверкали автоматные очереди. Я рванулся назад, но сразу понял, что бежать некуда. Сбросил с плеча карабин и приготовился выстрелить в первого немецкого солдата, которого увижу,— пусть он выстрелит в меня и убьет.

Никогда я не был так осознанно близок к смерти, как в этот миг, на рассвете 11 января 1943 года. Помню отчетливо тоску неизбежной смерти, по меньшей мере полминуты или минуту, но никакого страха. Не колотилось сердце, не стучали зубы, рука твердо сжимала карабин, и я бы выстрелил, если бы видел, в кого. Будь наган — в себя, как прошлым утром командир и замполит саперной роты,— оба евреи. Обнялись друг с другом и застрелились. Солдаты сдались в плен, потом добрая половина из плена бежала, попрятались по погребам у казачек и вылезли, когда мы снова пошли вперед. Один из них и рассказал мне, как было дело. И вот я стоял во мгле чуть брезжившего рассвета и готов был к выстрелу, который принесет достойную смерть.

В этот миг старший сержант Бусыгин, флегматичный великан, прошедший всю войну фотографом при политотделе, сообразил, что надо сделать, и закричал: «Немцы драпают! Ура!»

Немцам некуда было драпать. Ударная группа, шедшая в голове колонны, напала на них сзади. Но крик Бусыгина был кстати. Паника в хвосте колонны сразу оборвалась и сменилась энтузиазмом. Наше стоустое ура, раздавшееся во тьме, показалось тысячеустым и лишило немцев разума. На левом фланге, в стороне от дороги, стоял у них крупнокалиберный пулемет, но пулеметчики, ошалев от страха, забыли снизить прицел... Правда, сгоряча и наши все побросали: пару пушек и бричку с минометами. Ездовые побежали вперед, не захватив даже своих винтовок.

Пока длилась вся эта кутерьма, рассвело. Слева бил — в небо, под углом в сорок пять градусов — крупнокалиберный пулемет, приготовленный для стрельбы на большую дистанцию. Мы шли под радугой из трассирующих пуль. Мне закричали: стреляй, у тебя ведь винтовка! У кричавших винтовок не было. Они выходили налегке. Я опять сбросил карабин с плеча, но без стеклышка на правом глазу прицелиться не мог и стрелял, на всякий случай, поверх голов, чтобы не задеть своих. Действительно, к пулемету уже бросились сер-

жант Линецкий и кто-то еще и забросали его гранатами. Как это было, я узнал много позже (и вставил фамилию Линецкого в гимн 96-й Гвардейской). Тогда просто захлебнулся пулемет — и все. А отчего, я не понял. И вдруг наступила тишина.

Едва смертельная опасность исчезла, силы оставили меня. Ноги сделались ватными, я с трудом передвигал их. Бричка вытянула меня в голову колонны, а теперь все, кто не отстал, прошли мимо меня (отставшие, увидев впереди стрельбу, спрятались по стогам). Я остался один на ничьей земле.

Последние годы я часто вспоминаю это утро. Оно ворочалось в моей памяти — оно и еще несколько мелких эпизодов войны. Этим воспоминаниям нужно, чтобы я их понял и разъяснил. Примерно как Хейтауэр, герой Фолкнера, никак не может забыть налет конницы Вандоорна на склады генерала Гранта и смущает прихожан, проповедуя давно забытый налет с амвона. А что тут я проповедую?

Наверное, что старость — то же окружение. Та же засада. И я мысленно сбрасываю с плеча карабин, я пытаюсь вырваться — или вырвать из тела душу.

Старость — это танец смерти. Это игра, в которой нет выигрыша. Но в ней есть радость. И эта радость сильнее смерти.

Судьба вывела меня невредимым из-под бомб и из застенков. Мне удалось уйти от пошлости и суеты, пройти, не запутавшись, через 60-е и 70-е годы и после всех экспериментов вовне добраться, сохранив ясность ума, к своей внутренней задаче. Мои поражения стали шагами извне вовнутрь. Но есть предел удачам и неудачам, и я подошел к нему. Судьба стучится изнутри, каждым биением сердца. Как превратить в победу последнее поражение?

Стучит сердце, гудит голова, — как будто снова воют шестиствольные минометы, но не вовне, и нельзя прыгнуть в воронку. И неизвестно, где будет прорван фронт (лопнет обизвестковавшийся сосуд) и в прорыв хлынет смерть.

Ты еще жив — но умирают товарищи, друзья, умирают младшие — и ты чувствуешь себя не с оставшимися, а с ними. И становится пронзительно ясным то, что Начикетас говорил Яме (богу смерти): как можно наслаждаться жизнью в мире, где царствуешь ты? Грубая уверенность в вещах рушится: «Состоящее из частей подвержено разрушению...» И остается один свет: из глубины.

«Бог милосердно подарил нам страдание», — писал Псевдо-Дионисий. Наш мир потому и хрупок, чтоб через него виден был другой. Мир без страданий — блистательный новый мир Хаксли. Пошлый мир без мысли о смерти и вечности.

Все хрупко, неустойчиво. Как осеннее тепло, как старческая бодрость. И это хорошо. И это радость.

Как-то Зина сказала: старость — это созревание смерти. Созревшая смерть — как любовь. Несозревшая — как насилие.

Я понял это через «Книгу о бедности и смерти» Рильке. Там есть стихи о зеленых, несозревших плодах смерти и о красоте созревшего плода. Военная отвага — только подобие этой последней зрелости. В отваге много легкомыслия. Но иногда стирается разница между легкомыслием и всеилием духа, и Макферсон, пляшущий перед казнью, подобен Давиду перед ковчегом Завета:

В последний раз, в последний пляс  
Пустился Макферсон...

\* \* \*

Мой военный опыт отличается от опыта двадцати или сорока миллионов только одним: тем, что я продумал каждый поразивший меня случай, а они этого не сделали и не нашли в жизни общую нить... Ту самую, за которую я и сейчас держусь.

Впрочем, я сильно отвлекся. Возвращаюсь теперь к своему повествованию.

До сих пор не понимаю, почему немцы, стоявшие на хуторе чуть южнее, не стреляли нам в спину. Шумели заводившиеся моторы, но пальбы не было. Скорее всего, там тоже началась паника и приготовления к бегству. Когда стало ясно, что мы не атакуем, не окружаем их, а уходим, — нас уже след простыл. Кое-как переставляя ноги, я последним пришел на хутор по ту сторону передовой. Потом слабость прошла. Помню, как в углу хаты сидел майор Волошин и вполголоса отчитывал солдат, вышедших без оружия. Я снял карабин и сказал: «Товарищ майор, передаю этот карабин на вооружение вашего полка». Волошин вскинул голову, го-

товый вспылить, но сдержался. Для отчета ему каждая винтовка была дорога, и он молча принял мой подарок.

Задним числом вижу свою черную неблагодарность. Форсированный марш, вытряхнувший из меня все силы и заставивший многих отстать, был спасением для тех, кто выдержал его. Задержись мы на полчаса, крупнокалиберный пулемет не стрелял бы в белый свет, как в копеечку...

Но разобрался я в тактике прорыва потом, когда вообще стал разбираться в тактике. А тогда отдохнул немного и пошел вдоль фронта на север, на хутор, где стоял штаб нашего 991-го полка (километрах в десяти). Меня встретили салютом: полк катюш (немцы их называли сталинским органом) сыграл свои вариации. Сразу бросилось в глаза, что перевес сил снова на нашей стороне, и вот-вот возобновится наступление. В поисках своих зашел в дом, где расположился штаб дивизии. Он вышел раньше нас, особой группой, без столкновения с немцами. Как раз в это время пришел Левин; видимо, задержался, формируя нашу колонну, но выходил не с нами, а сам по себе, с одним ординарцем, каким-то безопасным маршрутом. Штабные встретили своего начальника аплодисментами и криками ура. Левин держался надменно и за глаза был прозван «его величество», но на этот раз было за что аплодировать: о штабе он позаботился. Зато политотдельцев не то забыли, не то сознательно предоставили им возможность стоять насмерть...

Есть персонажи, до того законченно комические, что трагедия не принимает их. Так — дуриком — спасся секретарь политотдела, Федя Аникеев. Он рванул прямо на восток. Навстречу танк. Высунулся эсесовец, махнул офицеру, затаянному в блестящие ремни и увешанному блестящими предметами (сумка, планшет, кобура), — иди, мол, в плен. Федя, показывая в лицах, как он был в окружении семи танков, угодливо подымал руки и поворачивался назад. Но потом он оглядывался — танкист больше на него не смотрит — и, пригнувшись, сделал несколько шагов в прежнем направлении. Это изображало его прыжок в бурьян и — ползком, по-пластунски — выход из боя.

Большинству политотдельцев меньше повезло. Двое попали в плен. Одному удалось сбежать; куда его направили без партбилета, не знаю. Начальник политотдела и несколько инструкторов погибли. Среди убитых были и майор Штейн, сомневавшийся, хромаю ли я, и капитан Сапожников. Бед-

ный мой соперник всегда жался к безопасному месту и совершенно не знал, что делать, когда безопасное место оказывалось опасным. Такие сразу гибнут.

Когда я вернулся в редакцию, туда уже сообщили, что я погиб (маленький, черненький, стрелял до последнего...). На радостях Черемисин обещал оформить меня в штате и несколько раз повторял свое обещание (однако так и не выполнил). В течение примерно года я один заполнял газету своими корреспонденциями, а Черемисин съездил в полки разок и много раз это поминал: Абрамичеву — чтобы унижить его (тот ни разу не ездил), или мне — мол, и без тебя могу. Больше одного раза, впрочем, не захотелось ему посмотреть, как освобождают те самые русские деревни, которые лучше Парижа. Патриотизм его был с мягким знаком.

...Я отчетливо помню, что тогда выход Левина из окружения мне не понравился. Было бы романтичнее идти во главе нашей колонны: на миру и смерть красна. Но Левин был человек холодный. Чтобы сохранить дивизию, нужен (кроме уцелевшего 991-го с. п.) штаб. Его удалось полностью сохранить. Нужно было знамя: его, вместе с секретными документами, вовремя отправили в тыл. А нашу колонну вполне мог вывести и вывел майор Волошин. С какими потерями — не имело большого значения. Все равно остатки 405-го и 990-го полков пошли на пополнение 991-го.

Как это ни странно, после разгрома дивизия стала боеспособнее. До этого она состояла из трех полковых обозов, едва прикрытых фиговым листком — примерно взводом стрелков. В обороне ниточка пехотинцев могла охранять артиллерийских наблюдателей, а остальное делали гаубицы, пушки и минометы (их оставалось больше, чем «активных штыков», — восемьдесят—сто стволов). Но для маневренной войны обескровленные полки годились не больше, чем беременная женщина для кулачного боя. Разгром позволил совершить то, что северо-западнее Сталинграда сделал Рокоссовский: из остатков трех небоеспособных полков — одну боеспособную роту. Эту роту поддерживала минометная рота, три батареи полковой артиллерии и три дивизионной. В таком составе мы лихо взяли город Шахты.

Ради праздника я шел в стрелковой цепи. Немецкий арьергард, добежав до очередного перекрестка, давал несколько очередей. Тогда и наши разворачивали сорокопятки (легкие орудия; их тащили на руках); несколько гулких выстрелов —

и шли дальше. Иногда я вытаскивал блокнот и записывал две-три фамилии. Потерь не было. Однако Шахты — место знаменитое. Его сам Сталин хорошо помнил (там был организован — в 1928-м — первый большой процесс вредителей). И мы попали в «Последний час»: войска полковника Левина...

А потом те же войска, форсировав Миус, захватили крутой выступ на правом берегу. Через пару дней я туда полез. Единственная тропка вверх по обрыву. Солдаты (из бывших минометчиков, грамотные ребята) сразу раскрыли мне военную тайну: плацдарм для наступления не годится, а отходить (особенно с правого фланга) некуда, обрыв. Я думаю, и Левин, и Цветаев (командующий армией) понимали это, но в донесениях слово плацдарм хорошо звучало (не хуже, чем взятие города Шахты, который немцы сдали без настоящего боя). И мы получили гвардейское звание.

\* \* \*

Четыре тихих месяца на Миусе — лучшее время моей военной жизни. Подошли пополнения. Снова развернулся 405-й (291-й Гв.) и 999-й (295-й Гв.) стрелковые полки. Жолудев, комсорг «трех девяток», предложил мне жить вместе с ним в Димитровке<sup>1</sup>. Это огромное село тянулось по правую и левую стороны Миуса километров на семь (а всего дивизия заняла 15 км). Жителей эвакуировали, и слава Богу: в июле немецкая авиация сорвала с деревьев яблоки и груши, не успевшие созреть, а дома обратила в развалины. Но пока сады цвели. Созрела шелковица, за ней — вишня. Наш блиндаж был вырыт прямо под вишневым садом. Мы просыпались и, как в раю, лезли на разрешенное дерево и ели разрешенную ягоду.

На войне, в перерывах между боями, особенно хорош мир. Эти сады в Димитровке. Сладкая шелковица, от которой чернеют губы. Темно-красная вишня. Такие минуты выпадали и после. В Белоруссии, в 44-м, наступление на пару дней остановилось. Стрельбы не было. Стадо без пастуха выходило на луг между нашими и немецкими траншеями и вечером возвращалось. Коров хватили за вымя, когда они переступали через окоп. Животные, переполненные молоком,

---

<sup>1</sup> Ныне город Антрацит.



безропотно останавливались, и белые струйки звонко брызгали в котелки. А вкус малины в Беловежской пуще! Но то были минуты. А на Миусе — четыре месяца. Утром и вечером — цветущий семиверстный сад, а днем — дороги, дорожки, тропки под синим небом.

Я помню, в десятом классе у нас вышел спор о стихах Демьяна Бедного: Боря Минков повторял чью-то глупость, будто в наши суровые дни нечего писать о природе. Пейзаж, дескать, важен только с одной точки зрения: где поставить пулемет. Я возражал, что поэзия — это поэзия, а не боевой устав пехоты. Теперь наш спор проверялся опытом. Никогда до войны я не жил так долго, так полно под открытым небом. Никогда так не вглядывался в простой, почти абстрактный пейзаж степей: вьющаяся дорога, бурые перекаты, синее небо... Видеть свет солнца! Его почти не видишь в городе. И после войны я снова увидел его только в лагере, в короткое северное лето, с такой бесконечной, доходящей до полуночи, вечерней зарей...

Зубчатые колеса войны остановились, и свобода, которую я нашел между шестернями, охватила меня своим блаженством. Позавтракав, я шел, куда глаза глядят, на север или на юг или вперед, в боевое охранение. Чувство совершенной независимости, почти невысказанное в армии. И поля, и перекаты. Над Миусом, над затихшим фронтом — Божья ширь. Мягкие холмы — я их вспомнил в Коктебеле — внезапными обрывами спускались к речке. Запах трав и солнце. И тишина. И воля.

После котлубаньского кошмара, после росошанского разгрома, после напряжения, с которым идешь под огнем, наступил отдых. Отдых на пути в Египет. Что там будет впереди? Бог весть. А пока в тишине заново сворачивается пружина, готовая развернуться — через месяц, через два, через полгода...

Работа шла легко, весело. Я разыскивал солдат, сержангов, младших офицеров, побывавших в переделках, и лепил легенду. Ничего не приукрашивая, а просто выбирая нужное, опуская ненужное и давая возможность новичкам почувствовать опыт ветеранов, как свой собственный.

Приходилось писать и о другом. Тогда очень много копали, всю Димитровку перерыли первой, второй, третьей линией обороны, и я писал об отличниках окопных работ. Солдат приучали следить за немцами и стрелять, как только

мелькнет цель; бывали артиллерийские дуэли; я писал о снайперах и наводчиках. Писал и об агитаторах, парторгах. Но больше всего — о боевом опыте. Я сам в него вживался. До сих пор помню сержанта, седого как лунь. Кажется, его звали Лагутиным. Поседел он — тридцати лет — под Севастополем. Наши и немецкие окопы сошлись там метров на восемьдесят, огнем атакующих не остановить, а отступать некуда. И когда немцы подымались в атаку, матросы и солдаты бросались навстречу. А в штыковых боях самое трудное, по словам Лагутина, — переглядеть противника. Топтались, оба в оборонительной позиции, не торопились открыться, сделать взмах. И тут главное — переглядеть. Кто опустил глаза, тот погиб. Тогда размахивайся и коли. Сержант больше всего запомнил здорового рыжего немца, которого никак не мог переглядеть. Потом рыжий, скрипнув зубами, опустил глаза, и сержант его заколол. Напряжение таких гляделок страшное. Буквально убиваешь глазами, а потом уже штыком. От этой парапсихологии и седина.

Простой рассказ Лагутина — символ любой войны. Снаряды, мины, бомбы, движения атакующих цепей — только средства переглядеть противника, подавить его; убивают одного, бегут двое, трое (если не бегут — наступление провалилось). И действия полководцев можно сравнить с гляделками. Накануне войны Гитлер переглядел Сталина. Он прямо смотрел войне в глаза, а Сталин глаза прятал, не хотел верить, что Гитлер начнет войну сейчас, через месяц, через неделю. От этого ряд его распоряжений, нелепых и преступных (армии завязали глаза, чтобы никто не видел страшного и не говорил про страшное). И от этого сила первых ударов немцев — по ослепленным, парализованным войскам, лишенным опытных командиров...

Потом роли переменялись. Война стала затяжной, а Гитлер не хотел этого видеть. Чем меньше выходил блиц, тем больше он рвался к нему — и увяз в Сталинграде. А потом еще раз полез в ловушку, на этот раз — заранее приготовленную — на Курской дуге. Полководцы, как заметил Анатоль Франс, выигрывают войну не только потому, что они гениальны, а и потому, что их противники тоже звезд с неба не хватают. Гитлер полез в Россию, не ожидая в низшей расе взлета боевого духа, объявил войну Америке, не ожидая челночных бомбардировок, и в результате проиграл войну дважды: так, как было, — и так, как могло быть, если бы

Сталин жалел людей и не торопился прийти в Берлин к апрелю (атомная бомба, взорванная над Хиросимой, в августе уже была готова. Она делалась для Берлина.).

Впрочем, тогда я об этом не думал. Перед собой я видел только сержанта Лагутина и других солдат, сержантов и офицеров и помогал им поверить в свою силу. В эти сравнительно спокойные месяцы мы все поверили, что непременно будем бить немцев. Мы переглядели Вяя. Против мифа «мы арийцы» был выстроен антимиф «мы сталинградцы» — и как-то мгновенно вошел в плоть и в кровь. Я прекрасно знал, что это миф, что наша дивизия Сталинград не защищала, под Котлубанью действовала неудачно, в ноябрьском наступлении играла очень скромную роль и, наконец, была жестоко разбита в январе потрепанным немецким корпусом (чуть ли не с семью всего танками). Что гвардейское звание нам дали скорее авансом, чем за великие подвиги (что, кстати, делалось не раз). Что так или иначе до Миуса дошла одна сводная рота — а сейчас стрелковых рот двадцать семь. Но все двадцать семь рот верили, что они гвардейцы-сталинградцы. И с этой верой пошли в июле в бой и прорвали немецкий фронт — немецкий, а не румынский...

Я сам создавал эту веру — и не переставал ей удивляться. Успех летнего наступления 43-го года был триумфом советской пропаганды. Если под Садовой победил прусский школьный учитель (в чем, правда, я сомневаюсь), то на Миусе (и в более важных битвах севернее) победил Василий Теркин, Фома Смыслов и проч. и проч. и проч., в том числе мой севастопольец сержант Лагутин, переглядевший рыжего немца.

Разумеется, дело не только в пропаганде. Произошло то, что Конфуций назвал бы исправлением имен: солдаты стали солдатами, офицеры — офицерами, генералы — генералами. Но все эти незаметные сдвиги сошлись, как в фокусе, в одном: в мифе о русской силе.

Есть некоторая аналогия между советской пропагандой и советской экономикой. В мирное время они обе застаиваются. И сколько бы их ни встряхивать, ни подтягивать, — все зря: опять буксуют. Но во время войны, подогретые патриотизмом, направленные к одной цели (общей всем — не только на словах), они действовали превосходно. Пегас, запряженный в ярмо, сам рвался в бой. И на его крыльях люди взлетали над страхом смерти. Думаю, что нечто подобное

было и в гражданскую войну. Тогда был свой миф. Террор, штрафные роты и батальоны — только пособие. Решает миф.

Миф — это не грубая скучная ложь. Это непременно вдохновенное и поэтическая правда. Это игра, подобная Божественной игре, создающей мир. Мир, в своем чувственном облике, тоже миф. Видимость — это миф, созданный Божественной энергией: майя, создание шакти (Божественно женственное). Майя — прелесть шакти. Человек, захваченный майей, творит миф. Шакти, майя, миф — облики одной непостижимой сути. Природа, какой мы ее видим, прекрасная оболочка мира — это та мера ужасного, которую мы можем вместить; доступная нам мера бесконечности, мера бездны, мера безмерного (я перефразирую здесь слова Рильке об ангелах в Дуинских элегиях). Так же творится история. Только в природе шакти играет, как котенок, тут не может быть фальши, — а человеческая игра может быть фальшивой (и не раз была фальшивой); но может быть и возвышенной и прекрасной и даже превосходить природу в порывах духа. Невозможно полностью дегероизировать войну (как Солженицын уговаривал генерала Григоренко). Было и чудовищное, и леденящее душу, и отвратительное, и прекрасное. Как во всей истории.

История — царство майи. Я об этом уже писал и снова скажу. Невозможно творить историю без мифа. Так было на войне, так было и в полемике 60-х и 70-х годов. Когда я пытался что-то сделать, я выдвинул против официального мифа о народе и против солженицынского мифа о народе свой миф — об интеллигенции. Разуверившись в мифе, я отошел от участия в истории и избрал себе роль адвоката несчастных, захваченных историческим процессом. Тот, кто хочет отбросить все мифы, должен выйти из царства майи, из истории, занять позицию подпольного человека (миру ли провалиться, или мне чаю не пить?) — или Шанкары (истина — Брахман; мир — это ложь; Атман и Брахман едины). Разумеется, то и другое — пределы; в жизни все делается середка на половинку; но указать на предел проще, чем описывать реальные подробности, как в других местах этих записок.

Самое главное, что я сделал на войне, было мое скромное участие в создании мифа победы. Сравнительно с этим несколько случаев, когда я распоряжался в бою, не имеют значения (хотя для меня они были очень важны). С чувством силы, созданным пропагандой, наша дивизия прорвала

фронт, захватила деревню Степановка и удержала бы ворота прорыва, если бы не тупое упорство атак на никому не нужную Саур-Могилу. Немцы Саур-Могилу защищали, им это было удобно и выгодно (обратные скаты высоты 277,3 были изрезаны балочками, заросшими кустарником. Там очень скрытно располагались минометные батареи. А с востока — голый склон, несколько километров, подъема и твердая земля, не поддававшаяся лопаткам.). Но зачем мы так настойчиво перли на эту условную цель?

Когда внезапность была потеряна, когда немцы подтянули к прорыву всю свою авиацию и создали превосходную систему минометного огня, вся 2-я Гвардейская армия, брошенная на развитие успеха, ничего не могла поделать. Чем больше пехоты подымалось под шквальным минометным огнем и бомбежкой, тем больше ее гибло. Повторилась (в меньших масштабах) котлубаньская мясорубка. Видимо, командование фронта просто не решалось изменить план операции, утвержденный ставкой, и ударить не туда, где нас уже ждали, а иначе — на юг или на север... Потери были страшные. Бесплодные атаки измотали солдат не только физически: от бессмысленных потерь падает дух. И когда немцы бросили в контрнаступление танковый корпус — пехотинцы побежали. Артиллеристы остались на месте, сдержали танки, отступали побатарейно, прикрывая друг друга, не оставляя противнику даже зарядных ящиков. О пехоте они говорили с презрением. Но они были неправы.

Сидеть в отлично вырытых ровиках, неуязвимых для авиации, — это одно. А лежать под бомбежкой на голой земле — совсем другое. Есть предел человеческой способности быть мишенью, и этот предел нельзя переходить. Иначе — бессознательный бунт природы, массовая истерика. Бегство пехоты было таким массовым психическим срывом, стихийным массовым протестом против использования стрелковых рот, как штрафных рот — без смысла и без пощады. Потом искали виноватого и нашли его в командующем 2-й Гвардейской армии, генерал-лейтенанте Крейзере. Пятая ударная, дескать, успешно прорвала фронт, а 2-я Гвардейская не сумела развить успех. Вздор, бегство охватило внезапно всех. Остановить его Крейзер мог не больше, чем Цветаев, Толбухин или Сталин. Жолудев, с которым мы тогда дружили, служил раньше под командой Крейзера и пытался мне объяснить, какой Крейзер прекрасный генерал, как он действовал в

41-м — не то что Цветаев, приехавший из Москвы на готовое осенью 42-го. Объяснял Жолудев плохо, но я поверил, что никакой ошибки Крейзер здесь не совершил: ошибка была в поставленной ему задаче.

Главное, что меня убедило, были разговоры с солдатами, пехотинцами. Они не чувствовали себя виноватыми. Они были убеждены, что поступили правильно. Добежав до своих окопов, они остановились и готовы были вести бой с танками — но не на голой земле. Огонь нашей артиллерии не допустил бы танки давить их гусеницами, но никак не мог защитить их, измотанных бомбежками, от танковых пушек. Стоять насмерть? Ради деревни Степановки? И потерять (из оставшейся четверти или трети пехоты) еще половину? Еще три четверти?

Задним числом я думаю, что пехотинцы, проголосовав ногами за прекращение атак на Саур-Могилу, поступили правильно. Солдат — это природа войны, то же, что земля в сельском хозяйстве. Можно засеять землю по-разному, но каждый раз с умом, прислушиваясь к земле. Если не прислушиваться — не будет урожая. А у нас все по плану.

Впрочем, задача июльской операции была вспомогательной — сковать резервы немецкого южного фронта. Сводка Совинформбюро прямо приглашала обратить на нас внимание: «Бои местного значения, имеющие тенденцию перерасти в серьезные бои». Другой такой формулировки я не припомню. Немцы поверили Совинформбюро, ввели против нас в бой танковый корпус. Стало быть, задача-минимум была выполнена: эти танки понесли потери в бою, потом их еще раз потрепала авиация при отгрузке на железнодорожные платформы, к решающей битве в центре России они не поспели. А мы сохранили по крайней мере четверть своей пехоты и в августе, получив пополнение, снова прорвали фронт. На этот раз — всерьез, открыв мотомехкорпусу генерала Свиридова и коннице Кириченко дорогу в немецкие тылы. Саур-Могилу тогда не брали. Удар был нанесен чуть южнее. А потом, когда войска Свиридова и Кириченко вышли к Таганрогу, а на севере создалась угроза окружения, немцы сдали Саур-Могилу одному стрелковому батальону. По сути — одному взводу.

Я вбежал на высоту 277,3 по свежим следам, огляделся (там ничего не было, кроме воронок от снарядов) и, слава Богу, вовремя вернулся назад, на КП батальона. Тотчас по

вершине грохнул последний залп катюш. Прицел пять, по своим опять... Впрочем, никого не задели: КП было восточнее, стрелковая цепь — западнее. Разговаривая с замполитом, старшим лейтенантом Башкировым, я каблуком сапога притушил осколок катюшиного снаряда, упавший с шипением под ноги. Башкиров не все мог мне рассказать, и я побежал к стрелкам (на этот раз обходя вершину — как бы по ней снова не грохнули). Пробирался, как мне казалось, безопасным путем, по овражкам, и вдруг, за поворотом, автоматная очередь. Едва я успел нырнуть назад. Оказывается, пехота прошла, где удобнее, по ровному месту, овражков не прочесала, и там остались автоматчики. Пропустив стрелков, они отсекали их огнем от КП. Обычный немецкий маневр, рассчитанный на то, что никакого резерва у комбата нет. И действительно — не было. Вернувшись на КП, я услышал, как он докладывал, объясняя свою задержку: «Отбиваю контратаку противника!» Я побежал дальше на восток и в сумерках остановился на минуту возле НП комдива. Связь работала очень хорошо, за несколько шагов слышен был знакомый голос командира полка, майора Свиридова: отбито две контратаки противника! Левин положил трубку, связывающую его с полком, взял другую — в штаб армии — и доложил: отбито три контратаки противника! Всем хотелось верить, что мы взяли Саур-Могилу не потому, что немцы нам ее отдали (уходя на линию Вотана), а по собственной доблести, и все немного привирали. Ночью на Саур-Могиле было вырыто до десятка наблюдательных пунктов (командира полка, командира дивизии, командующего артиллерией и т. д. вплоть до командующего армией). Зря: ночью немцы ушли. Они отдавали Донбасс без боя. Зато потом из тылов привезли писателя, служившего в армейской газете, и он изобразил все НП как мощные немецкие укрепления.

Началось движение на Запад. Впервые немцы не сумели наступать летом, а мы сумели. Артиллеристы, почти не понесшие потерь, весело катили по Донбассу. Обгоняя кучки пехотинцев, они бросали, с высоты своих «студебеккеров» и «шевроле»: «Пехота, не пыли!» А пехотинцы огрызались: «Прицел пять, по своим опять». Огрызались несправедливо: дивизионная артиллерия стреляла точно, профессионально. Но смертникам, случайно уцелевшим в мясорубке, хотелось как-то огрызнуться. Подразделений, прорвавших фронт, больше не было. Только за медсанбатом, растянувшись на версту,

плелся выздоравливающий батальон, сам себя назвавший Саур-Могильским.

Помню отчетливо тогдашнюю свою мысль: ну что ж, война выиграна. Теперь американские грузовики как-нибудь дотащат наши пушки до старой границы. Мне казалось само собой понятным, очевидным, что после чудовищных потерь первых двух лет невозможно, немислимо рваться «в логово зверя» и укладывать еще миллион за миллионом. Пусть Европу освобождают союзники. А нам, после выигрыша летней битвы, накапливать силы и удары наносить наверняка, с расчетом, без большой крови.

Но Сталин думал иначе. Сколько поляжет по дороге на Берлин, ему было все равно. Пехоту пополнили наспех мобилизованными, почти не обученными, трофейными, как их запросто называли, солдатами. И я позволил себя убедить, что так надо: выжимать из пехоты, как из колхозов, последние капли крови и не снижать темпов наступления. Захватывал грохот побед, салюты из 120, из 220 орудий. И не только тогда захватывал. Даже сейчас, вспоминая, как мы вошли в Берлин, я чувствую радость. Не вошел Гитлер в Москву, а мы в Берлин — вошли. Чему я радуюсь? Ведь будь на то моя воля, не стал бы я гробить, ради этого Берлина, несколько миллионов. И тех следствий великой победы, которых я ждал, не было, а были другие, совершенно противоположные, и побежденные в ФРГ или в Японии живут, дышат, думают гораздо свободнее, чем мы, победители. Но радуется выдержанное испытание, решение немислимой, сверхчеловеческой задачи. Если бы так могли быть решены другие задачи!

\* \* \*

Примерно в эти дни — вернее, несколько раньше, в августе, — я узнал, что Черемисин меня обманывает. Один из инструкторов, капитан Чирва, человек довольно благодушный (если хорошо поест) и хорошо певший украинские песни (а также рассказчик скабрзных анекдотов из своей практики районного прокурора), открыл мне, во внезапном порыве сочувствия, секрет полишинеля: в армию уже пошли документы на Федю Аникеева. Упраздненный в качестве секретаря политотдела, Федя выпросил себе мою должность,



а сам уехал в отпуск. К Феде у меня претензий не было: он устраивался, как мог. Но Черемисин!

Я написал короткую записку, в которой была фраза: «Ваше поведение со мной граничит с подлостью». Августовские бои удерживали на передовой. Я не мог просто плюнуть шефу в лицо. Зато, шагая по полю, изрытому снарядами, между Степановкой и Димитровкой, я воображал, что этот гад зачем-то поехал в полки, я его сопровождаю — и пускаю в него пулю. Кругом свистят осколки, и никто не будет вскрывать труп: убит так убит. Но, во-первых, у меня не было оружия. Во-вторых, Черемисина под такой огонь калачом не заманишь.

Вдруг впереди вырос сам Чепуров, начальник политотдела. Строевым шагом, как на параде, он шел в Степановку. Я ошалело козырнул призраку. Потом понял, что это был не призрак, а парад. За здоровенным Чепуровым, едва поспевая, семенил другой полковник — из политуправления. Они шли политически обеспечивать бой.

В сентябре — где-то на марше, в Донбассе — меня вызвали к Чепурову. На этот раз он политически обеспечивал дисциплину. Черемисин (не решаясь объяснить со мной) прислал мою записку в политотдел.

— Я вас отправлю на передовую, — сказал гвардии полковник.

Гвардии рядовой промолчал и подумал: эх, жаль, что осенью. Лучше бы весной. Раненая нога у меня не любит холода.

Но Чепуров заметил, что первая атака не удалась, и ударил с другого фланга:

— Мы вас исключим из партии!

Тут надо было быстро подумать. Можно не вступать в партию. Но быть исключенным... Тогда крест на аспирантуре (я не представлял себе карьеры, кроме ученой). Или унижаться, ходатайствовать о восстановлении? Лучше сразу отступить.

— Партийной дисциплине я подчиняюсь. Разрешите идти?

— Идите.

Подчеркнуто по-строевому козырнув, я повернулся налево кругом и вышел. А в дверях решил: весной сам уйду. И тут же обдумал, как и куда.

А поведение, граничащее с подлостью, Черемисин прогло-

тил. Извиняться перед ним я бы не стал. Впрочем, никто от меня этого и не потребовал.

Шли бои за линию Вотана, за Калиновку, за Никопольский плацдарм, мы форсировали Днепр, дошли до Николаева... Постепенно мое решение все дальше отодвигалось в будущее. Федя мне не мешал. Выбивая себе должность литсотрудника, он рассчитывал на спокойную жизнь капитана Сапожникова; но сложился другой стиль, надо было ходить на передовую, и фактически он ходил за мной вторым номером, постепенно привыкая к огоньку. Я предоставил капитану Анিকেеву писать про работу агитатора и т. п., а себе оставил то, что мне было интересно. Однако в апреле нас вывели из боя. Перевезли в Белоруссию на формирование, и я по привычке вместе с Федей пошел выбирать квартиру. Вдруг капитан надулся, как индюк, и сказал, что достоинство офицера не позволяет ему квартировать вместе со мной. Пусть я иду ночевать к рядовому составу редакции.

Достоинство офицера! Сказал бы прямо, что баб хочет водить. Если не пить и не... (глагол), зачем жить на свете? Это Федя повторял, по крайней мере, сто раз или сто пятьдесят. Он был человек фольклорный и весь состоял из поговорок... Но достоинство офицера!

Потом, в «Квадрильоне», я этот тип назвал рылом. Вернувшись из отпуска, Федя рассказывал о своей жене, не стесняясь ни рядового, ни офицерского состава: «Я ее спрашиваю: «Ты свою мерзавку кому показывала?» А она мне: «Что ты, Федя, только тебе...»»

Весна наступила. Не хватило только внешнего толчка, чтобы уйти из редакции. И вот он, толчок!

Если бы Раскольников не услышал, что в семь часов вечера Алена Ивановна будет одна, идея его, скорее всего, осталась бы игрой ума. А я без Фединого достоинства офицера так и остался бы внештатным литсотрудником. Но достоинство офицера!

Незадолго до этого Черемисину кто-то указал, что человек ниоткуда, нигде не числящийся, в армии невозможен, и меня оформили сержантом, командиром отделения 291-го Гв. с. п. Сержант с наганом — это не хуже, чем младший лейтенант с автоматом (Ванька-взводный). Вполне гожусь на офицерскую должность.

Ничего не отвечая Феде и даже не сердясь на него (что с него, со свиньи, взять), я пошел в политотдел и написал за-

ранее обдуманый текст: «Прошу направить меня комсоргом стрелкового батальона». Уже по лицу писаря я увидел, что дело мое в шляпе. На этот раз я шел не по статье «нарушение дисциплины», а по другой: «передвижение партийно-комсомольских кадров в стрелковые батальоны». Через полчаса Чепуров подписал назначение, я вернулся в редакцию за вещмешком и ушел в свою часть.

Комсоргов стрелковых батальонов всегда не хватало. Должность эта была некадровая. Кадры имели звание старший лейтенант (бывшие политруки) или капитан (бывшие старшие политруки). А комсорг стрелкового батальона — только лейтенант. Практически назначались сержанты, но (тут вторая причина нехватки) они очень быстро выходили из строя. После Сталинграда политработникам не велено было подымать стрелковые цепи, но совсем без этого не удавалось обойтись, и в случае чего посылали младшего. Ни один комсорг стрелкового батальона не служил больше четырех месяцев. Дальше — наркомздрав или наркомзем.

Я эту статистику знал. Если сравнить (по двум дивизиям, в которых побывал) потери редакционных работников и комсоргов стрелковых батальонов, то уровень риска возрастает в тридцать—сорок раз. Но где наша не пропадала! Авовсь обойдусь ранением (два шанса из трех). И вернусь в Москву с эполетами.

Зачем они мне были нужны, эти эполеты? Но в голове моей сидела русская литература, и слова «отечественная война» совершенно сбивали с толку. Было постыдно вернуться с Отечественной войны без эполет. Ну вот и получил их. Кончил войну гвардии лейтенантом с двумя ранениями и двумя орденами — все честь честью. Увы!.. Оперение селезня недолго сидело на мне. Гадкий утенок снова стал гадким — и еще гаже, чем прежде.

Если бы не приказ маршала Рокоссовского о производстве в младшие лейтенанты, я демобилизовался бы в 45-м, поступил в аспирантуру... А дальше? Дальше постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», борьба против космополитизма, арест Пинского... Самое позднее — меня бы посадили вместе с Пинским. Следствие было бы тяжелее. Я получил бы не пять, а десять лет. И вряд ли ждала бы меня должность нормировщика...

Судьба как погода. Февраль отпустит — март прижмет. Если жаркий май — жди холодного июня. И все дороги ве-

дут в Рим: вытягивают наружу то, что в тебе заложено внутри. А для этого неудачи, может быть, важнее, лучше удач и побед. Неудачи во внешнем поворачивают внутрь. И этим (внешними неудачами) судьба меня не обидела.

Месяца через три связной привел ко мне Федю. Я сидел метрах в трех позади стрелков, рассыпанных по опушке, и занимался своей писаниной. Перестрелка шла вяло; не было оснований уходить из стрелковой роты, с которой шел на марше. Вежливость теперь требовала встать, приветствовать старшего по званию и, пожалуй, отвести его метров на двести, чтобы не смущать свистом пуль. Но я ничего этого делать не стал и, не вставая, предложил товарищу капитану сесть. Федя как ни в чем не бывало улыбнулся, сел. Я тоже улыбнулся и стал рассказывать про младшего сержанта Юрочкина, ефрейтора Ларионова и т. п. Тут несколько шальных пуль просвистали довольно близко. Моя спина была до некоторой степени укрыта стволом сосны, а Федя сидел лицом к противнику. Я поглядывал, как он будет вести себя,— выдержит ли хоть пятнадцать минут.

— В нашем деле главное — вовремя смыться, — сказал Федя с обезоруживающей улыбкой, захлопнул (не дописав фразы) блокнот и смылся. Рыла вообще народ естественный. Не станет рыло рисковать из-за какого-то там достоинства офицера.

Лет через двадцать случай столкнул меня с Черемисиным. Закончив войну победой, он двигал вперед передовую науку и писал диссертацию, кажется, о партийных организациях Сибири. А я служил в Фундаментальной библиотеке. Увидев знакомого около бесконечных картотек, способных смутить и более толкового исследователя, мой бывший начальник очень обрадовался и подошел ко мне. Я поздоровался, расспросил, что ему нужно, и объяснил, что где лежит. Внешне все было очень обыденно, но внутренне я был поражен и долго не переставал удивляться. Куда девалась моя ненависть?

Из-за него я переменял свою свободную и веселую работу на другую, с гораздо более жесткими правилами, с заведомой невозможностью выйти из переделки без повреждений. Из-за него стоял под дулом «фердинанда»<sup>1</sup>, видел вспышку выстрела и упал, раненный (слава Богу, легко). Статистика не подкачала: бои начались 22 июня, осколок попал в меня

<sup>1</sup> Немецкое самоходное орудие.

23 октября; ровно четыре месяца и один день. Могло кончиться иначе (один шанс из трех — смерть). Но прошло двадцать лет, и от моей обиды и ненависти не осталось ничего. Я равнодушно вежливо смотрел, как Черемисин угодливо выпрашивал то, что я обязан был сказать первому встречному (он всегда был угодлив, как червь, если от кого-то в чем-то зависел). У меня не осталось с ним никаких счетов. Мне ничего не нужно было от этого человека. Огромная радость встречи с Ирой, огромное горе от ее смерти, новая любовь, новая духовная жизнь — все это смыло следы обид, как ручей — горстку пепла, упавшую с папиросы.

1985 г.

## В СТОРОНУ ИРЫ

### Из тех, которых...

Ире всегда не везло. Когда мы сблизились, она мне сказала: имей в виду, что теперь всегда будет приходиться не тот троллейбус... Я не знаю, как это объяснить, но мы действительно долго стояли с ней на остановках, закуривая «Беломор», а мимо шли и шли не те номера...

В Ерцеве, в первый ее проезд, тоже пришел не тот номер — пьяный оперуполномоченный Оришев. Увидев на вахте непривычную фигуру, Оришев — может быть, не найдя в глазах женщины того, чего искал, — взял заявление, прочел резолюцию (три часа — они обычно растягивались в шесть и даже в целую ночь); сказал: ишь, расписались... Потом перечеркнул и написал: 30 минут. Ира, приехавшая к нам в Архангельскую область из Сибири, едва успела поговорить с мужем. Кажется, на следующий день ей дали еще полчаса. В промежутках, дожидаясь какого-то начальника, она подолгу сидела на вахте, в скромной, но не по-здешнему выглядывшей шляпке, и курила папиросу за папиросой. Я не знал, что она привыкла к невезенью и как-то научилась жить в потоке неудач, как другие в потоке удач; но что-то необычное в ней чувствовалось: и еле сдержанное возмущение, и какое-то внутреннее равновесие, глубже возмущения. Мы были немного знакомы по воле, и когда бригаду выводили, успели обменяться несколькими словами. Другие з/к з/к, друзья Виктора (ее мужа)<sup>1</sup>, подходили к решетке ворот поздороваться. Самодурство Оришева, дерзость ириних мнений, пересказанных Виктором, — очень располагали к ней. В течение двух дней на вахте присел дух хрупкого мужества

<sup>1</sup> Так я его назвал в эссе «Пережитые абстракции», с которого начинается моя книжка («Неопубликованное», 1972).

(когда я думаю об Ире, мне всегда приходят в голову оксюмороны)...

Высокая, несколько бледная, с серо-голубыми глазами, Ира совершенно совпадала с тем идеальным образом, который Виктор рисовал, восхищенный ее поведением на следствии. Непонятно только было, почему он смущенно прибавлял, что она несколько синий чулок. Я не находил. Впоследствии примерно так же отозвалась о нем и она.

В 1949 г. на этом пыталось играть следствие. Ира называла следователя не иначе, как Порфирий Петрович. По-видимому, он был уцелевшим в провинции психологом ягодинской школы (в столице психологов перебили). Ему не столько нужно, сколько интересно было играть с Ирой в кошки-мышки. Главным козырем были письма Виктора к другой женщине. Ира прочла — и глядя в неповторимый почерк мужа, твердо сказала, что письма поддельные. Порфирий Петрович решил переждать. Он был уверен, что чувство оскорбленной гордости сработает (там было несколько обидных строк). Но пружина оказалась крепко зажатой другой, покрепче: их, в синих фуражках, ни за что не порадовать! Это засело крепко с 17 лет, когда арестовали брата, Владимира Игнатьевича, и очень кстати пришлось уроки английского языка с Екатериной Николаевной Македоновой, высказавшей Ире все, что ей перед смертью хотелось кричать на площадях (бывшая эсерка, Екатерина Николаевна в 20-е годы признала советскую власть; но в 1937 году взяла свое признание назад). Английский язык Ира выучила потом; но уроков Екатерины Николаевны не забыла.

Примерно тогда же Ира встретила Митю Полячека. Он был из поколения ее старшего брата (разница с ней лет на 10) и кажется уже был прикован к постели, когда она его узнала. Погибла, исчезла вместе со всей семьей, девушка, которую он любил; а его не трогали, оставили в матрацной могиле. Ира запомнила его на всю жизнь, всего; стихи Мити она мне много раз повторяла. Митя был ее живым откровением; берегла в сердце каждое его слово, каждую черту.

То, что Митя передал Ире, не было положительной верой. Но он пламенно верил в господство духа над плотью, души над телом. И чем страшнее становилось время и мучительнее болезнь, от которой он умирал — тем сильнее был его дух (это видно по стихам, если сравнить ранние с поздними). В вере Мити не было заповедей, не было даже понятия гре-

ха, но был свет, в лучах которого черное было черным, и невозможно было выбрать черное и не выбрать свет. Была скорее эстетика поведения, чем этика. Эстетика стойкости, мужества, неспособности сделать низость (т. е. неспособно-сти даже поставить вопрос: сделать ли низость?).

Опыт нескольких тысяч, даже десятков тысяч лет, копивших табу и заповеди, был тогда отвергнут не одним Митей. Катехизис не помешал революции, и революция его отменила. Оставалось — у кого оно было — непосредственное чувство духовной реальности. Оставались стихи, в которых говорило это чувство. словно все начиналось сызнова, как в гимнах Вед. И заново, в белом накале чувства, личность сознавала свою глубину. В экстазе созерцания, когда «великое слово нет» сливалось с «великим словом да» «в одном нераздельном да» (слова из стихов Мити).

Из этой крепости внутренней жизни, обнесенной стеной стиха. Митя с неколебимой гордыней смотрела на свое время:

. . . . . миг единый,  
Сознания больше всех иных веков,  
Наполненный вознею муравьиной  
Безумных толп и злобой жожаков.

Вдохновителем его был Тютчев (Блажен, кто посетил сей мир...). Чем страшнее время, тем больше вызов духу, тем выше должен воспарить гордый дух:

...В душной тьме пронеслось роковое дыханье  
судьбы;

Только б встретить ее с неопущенным взором, как  
равный,

И пойти ей навстречу...

. . . . . Расплата  
. . . . .

Наступает за все, совершенное прежде людьми:

За идеи великих, за подвиги сильных, за горечь

Безымянных, бесчисленных, невыносимых обид...

Крылья ритма — крылья духа — подымали над страхом. На такой высоте заповеди не были нужны. Я это хорошо понимал. Я тоже верил в волшебное слово.

В последний год жизни Иры мы стали составлять с ней псалтырь интеллигента — из стихов, больше других дававших чувство высоты. Начали с Тютчева, наложили в томики



закладок. Они и сейчас лежат там, пожелтелые. Без Иры я не захотел продолжать. А теперь, пожалуй, и нужда прошла. Русское развитие не идет путем бхакти (новые гимны — новая философия — новый обряд). Для неофитов православия, католичества или иудаизма стихи опять стали просто стихами, а поиски света улеглись в привычное русло, и опять разные вероисповедания, и та же гордыня вероисповедания... Пересматривая Тютчева, я нахожу, что иногда мы ошибались, еще недостаточно понимали границу подлинной духовной глубины. Но в чем-то мы были ближе к ней, чем нынешние неофиты: в своей открытости всякому слову, на котором легла печать духа. И в своей доверии только к слову, ставшему Богом, к слову, непосредственно врезавшемуся в сердце...

Это не только черта Иры. Это черта времени. Трудно понять, как серьезно наше поколение относилось к стиху. Ум был пленен, нам

...наука доказала,  
Что души не существует,  
Что печенка, кости, сало —  
Вот что душу образует.  
Есть лишь только сочлененья  
И затем соединенья...  
Против доводов науки  
Невозможно устоять...

Но оставались стихи. И оставалась душа, как поэтическая вольность. В стихах святое не было смешным, и оставался духовный простор, в котором душа могла расправиться. Ира впитывала стихи с детства — стихи и сказки. Начиная с трех лет, когда она, стоя на стуле (чтобы быть на уровне публики), декламировала Мандельштама (научил старший брат или старшая сестра: на луне не растет ни одной былинки...), и до самой смерти. От этого ее иммунитет к казенной идеологии. То, чему учили в школе, было плохо написано. Никакие уроки не могли ее увлечь Павликом Морозовым. Двенадцати лет, на тему «любимый литературный герой» Ира написала о коте, который ходит сам по себе. И так — кошкой, которая ходит сама по себе, — прожила всю жизнь.

Ира могла часами читать наизусть поэтов серебряного

века, Рильке — по-немецки, Верлена — по-французски... Начинаящуюся машинопись не любила (не успела привыкнуть; то, что не выучивалось сразу, или что боялась забыть, записывала в блокноты; у нее были, впрочем, в 1955 году Воронежские тетради — одна из первых перепечаток).

В ириных блокнотах попеременно теснились Мандельштам и Цветаева, Олейников и Рильке. И особо, в двух тетрадках — стихи двух смолян, Д. Полячека и В. И. Муравьева, сохранившиеся только в ее памяти. Время от времени вспоминала еще какое-то стихотворение и дописывала. Об этих спасенных стихах еще надо будет рассказать. И я это сделаю, подготовив к печати архив Иры Муравьевой. А сейчас опять о том, что для всех нас значили стихи. Пусть меня извинит читатель за повторения. Я повторяю то, что неповторимо, что исчезло, как прошлогодний снег.

Стихи не отменяли научного мировоззрения; но они лишали его всеохватывающей силы, отодвигали в ограниченную область пространства и времени и раскрывали рядом дверь в какую-то неизмеримую глубину. Они не были системой; но мимо всяких систем с ними входило в жизнь чувство тайны и вера в чудо. За три последние года жизни Иры я кое-как убедил ее, что можно попытаться свести концы с концами и превратить стихи в философию. Но ей это было ни к чему. Она предпочитала одновременно любить интеллектуальную иронию Рассела и Франса — и трепетать, читая «Заблудившийся трамвай»:

...Наша свобода  
только оттуда бьющий свет...

А когда ее спрашивали о мировоззрении — отвечала со смехом (цитируя Ильфа и Петрова): эклектик, но к эклектизму относится отрицательно.

Тут было что-то глубоко личное, связанное с ее нежеланием называть все, что ее глубоко трогало, прозой. О любви, например, она говорила только какими-то междометиями («так» — и сожмет руку); вообще была очень целомудренной в слове — черта удивительная при ее бурной жизни. Как-то она мне сказала, что *не знает* известных русских выражений. Я удивился и возразил: но ты же не могла их не слышать! — Да, отвечала Ира; но я сейчас же забываю. Она мгновенно

забывала анекдоты, самые смешные, над которыми только что смеялась; зато стихи запоминала с одного-двух чтений. Сальное к ней как-то не прилипало. Уму этой женщины (трижды выходявшей замуж и десятки раз нарушавшей седьмую заповедь) могли бы позавидовать монахи: у нее не было блудных помыслов. Я во всяком случае завидовал: мое сознание было глубоко отравлено веселой похабной дребеденью; с годами эта муть постепенно отсеивается, но до сих пор иногда всплывает. У Иры — не всплывало. При таком складе духа нежелание называть мистическое (или называть — только стихами), можно понять как инстинктивное отвращение к профанации, к возмущению тайных источников жизни. Но, мне кажется, это не только черта характера. Мы жили между подорванной научной идеологией и не восстановленной верой в Бога. Ира, при всей своей личной неповторимости, была сгустком времени, в которое она жила (1920—1959), живым противотечением к его основному потоку.

Чувство верности стиху (или шире: чувство поэтичности) заменяло Ире мораль. У нее были свои, довольно странные, но очень твердые правила: «одну и ту же спичку два раза не зажигаю» (надо вовремя разойтись с любовником — как только исчезнет романтическое отношение друг к другу — и никогда больше не допускать близости; хотя можно, и даже хорошо остаться друзьями). Блестящий лектор, она несколько раз увлекала студентов, но никогда этим не пользовалась. На кафедре она была в другом своем лике и, видимо инстинктивно, сохраняла от разрушения структуру личности. Брак считала учреждением безнравственным; расписавшись со мной, чтобы в случае ареста пускали на свидание, несколько раз спрашивала, не стал ли я ее меньше любить? Но в особенности ложной почитала всякую связь, в основе которой нет общего переживания стихов, музыки. Несколько раз говорила: один раз я доверилась человеку, не понимавшему стихов и музыки — и как была наказана!

В ее безумии была система, стихийная система сильной личности, которая расправляется широко и свободно под ветром, вырывающим с корнем или гнущим в три погибели людей послабее, терявшихся в пустоте, в беспочвенности. Иру срывало с места не раз, срывало жестоко, но она мгновенно пускала корни в новом месте. Как-то так всегда получалось, что всюду, куда ее переносила судьба, вокруг нее через год уже была целая рощица. В нашей комнатке (не-

полных 7 м<sup>2</sup>) всегда толпились друзья. Один раз целых 11 человек (сидели на полу, на подоконнике). И для каждого у Иры была улыбка. Когда она умерла, Леня П. говорил мне, что ни разу не видел ее расстроенной. Он приходил к нам, когда охватывала тоска, за улыбкой. Я знал, что Ира грустила (оснований для этого было достаточно) и боялась нависшей над ней смерти: но она отодвигала грусть в сторону, когда приходили дети или товарищи ее двух сыновей. Это не было принципом, долгом, заповедью. Это просто шло у нее изнутри. Если бы она веровала, я сказал бы: по благодати.

Как-то в Ире уживалось то, что Надежда Яковлевна Мандельштам, в своей второй книге, противопоставляет: вкус к наслаждениям жизни, к опьянению вином, стихами, влюбленностью музыкой — и готовность все это поставить на карту ради души. Если можно, — ускользала от мути (как от комсомола; в конце концов уехала из Ташкента, так и не получив в райкоме билета). Если нужно — рисковала головой.

Порфирий Петрович вызывал ее каждый вечер и держал до 3—4 часов ночи. Иногда не было ясно, подпишет ли пропуск на выход или задержит и отправит в камеру. Иногда просто держал на стуле: «Посидите, подумайте...» Ире не хотелось думать о том, что он ей подсказывает, и она воспользовалась привычкой в сумбуре, в шуме, на эвакуационных узлах — погружаться в стихи; вспоминала Верлена или Рильке в подлиннике и пыталась переводить на русский язык. Часто удавалось совершенно выключиться. В один такой раз Порфирий Петрович лукаво сказал: «А я знаю, о чем вы думаете!» Ира рассмеялась и ответила: «Вот уж не знаете!» Порфирий в сердцах возразил: «Счастье ваше, что ваша фамилия Муравьева!» Он был эстет и ему не хотелось портить хорошее космополитическое дело таким вздернутым носом.

В столице, в следственной части по особо важным делам, Виктор впоследствии оказался в одной камере с сионистом Ивановым. Потеряв несколько зубов, Иванов сознался (он отказывался уволить с работы свою любовницу-еврейку). Но Порфирий Петрович любил свое дело как искусство и не хотел испортить его грубым вульгарным ходом.

Вернувшись домой, Ира записала фразу, которая чуть не сорвалась с языка: «а я из тех, которых». Записала, пропустив пару слов, на случай обыска. Но потом она часто повторяла полностью: я из тех Муравьевых, *которых* вешают; как

девиз со своего, пожалованного судьбою, герба; как ответ графу Муравьеву-Виленскому (племяннику Муравьева-Апостола: «Муравьевы делятся на тех, *которых* вешают, и на тех, *которые* вешают»).

Вызывали ее тогда долго, месяца два подряд. Заснуть как следует, вернувшись на рассвете, трудно было. Бессонница выматывала. Ира жила на втором дыхании, заклинала себя стихами:

Будь стойким, товарищ! — и вперед взгляни.  
Черные, тревожные впереди дни.  
Сказки и улыбки тебя не ждут, —  
Не дрогни, если друзья предадут.  
Не смей плакать, зубы сожми —  
Забудь, что где-то цветет жасмин.  
Не увидишь больше сына и мать,  
Полюбят тебя сума да тюрьма,  
Длинные дороги по чужой земле,  
Северный ветер и сухой хлеб,  
Спутниками будут ночь и снег,  
И нежность позволена только во сне.  
Но в душе осядет на самом дне  
Такое, чего у других нет.

И когда в одинокий полночный час  
Задрожит в испуге и погаснет свеча, —  
Ты в последней нахлынувшей темноте  
Подведешь спокойно итоги потерь,  
Улыбнешься, как равный, в лицо судьбе,  
Ляжешь — и руки начнут слабеть.  
И скажешь, прежде чем утратить речь:  
— А все-таки игра стоила свеч!  
И душе твоей на суде в аду  
Настоящую цену за все дадут —  
За горькую любовь, за высокий гнев,  
От которых сердце в черном огне,

За дружбу, которой не надо слов,  
За дюжины стихов жемчужный улов;  
И ей, при жизни прошедшей ад,  
Будет Бог свидетель и черт не брат,  
И бродить не спеша она будет в аду,  
Как в цветущем пламенем старом саду.

Ира никогда себя поэтом не считала и всего написала шесть стихотворений (почти все — в страшное лето 1949 года). И в этом, лучшем ее стихотворении есть неловкие строки. Чувствуется, например, атеистка, для которой Бог и черт остались только в поговорках; и другие есть неловкости. Но некоторые, лучшие строки, глубоко врезались мне в сердце. Особенно последние. Как будто прострелена насквозь душа и сквозь рану видна вечность. Может быть, из-за этих строк я вечером, после похорон, вдруг — сквозь закрытые глаза (я лежал на тахте) — увидел Иру в языках пламени. Лицо ее было суровым, но совершенно не искажено болью (пламя не обжигало ее. Она сама была из этой стихии пламени). Ира мне что-то хотела сказать (слов не было слышно). Я открыл глаза, мгновенно подумал и, закрыв глаза снова, обещал полюбить ее младшего сына (у нас с ним были нелады). Мне показалось, что Ира улыбнулась. Потом видение расплылось. Мальчика я действительно полюбил.

Потом, читая «Мастера и Маргариту», я чувствовал какое-то неуловимое сходство между вечностью Мастера и вечностью Иры. Тот же покой в аду. Пламенный сад в царстве Воланда. Ручаюсь, что Ира романа Булгакова не читала.

Днем, когда отпускали со следствия, с ней бродил по окрестностям один из друзей. В обычное время Ире от него ничего другого, кроме дружбы, и не нужно было. Но сейчас нужно было больше. В какое-то утро она ему сказала: ненавижу твою добродетель... Тогда случилось то, что ей хотелось, и, может быть, эта соломинка помогла ей выплыть. Я рассказываю все (с ее слов) потому, что исправлять облик человека — значит исказить его.

Ира и пила (много), и легко сблизилась с мужчинами, но все это у нее выходило, как в стихах. Пила, но никогда не была пьяной. Чувство внутренней меры, строя, лада в ней было в плоти и крови; как в кошке, падавшей всегда на четыре лапки.

Пила, не торопясь охмелеть, *пируя* час за часом, давая развернуться беседе, не покоряясь слепой стихии вина, а покоряя ее духу братства. После ее смерти дружеский кружок, который она соединяла, стал быстро распадаться. У нее не было никакого сформулированного послания, никакой благой вести. Но она сама была эта весть, была исповеданием неотторжимой от человека внутренней меры и свободы.

Это не значит, что Ира не делала ошибок. Когда подпис-

ка о невыезде кончилась, она забралась подальше, в Абаканский пединститут, и попыталась просто скрыть арест своего мужа. Иначе в ВУЗ не взяли бы — разве после развода. Разведенных жен пускали на свидания; удовлетворялись символом морально-политического единства, а на женскую слабость смотрели сквозь пальцы. Но именно символ покорности был Ире невыносим. Бросить свое призвание (Ира была педагогом по призванию) тоже не хотелось. Первое решение вышло ложным, половинчатым. Не потому, что лгать вообще нехорошо, а потому, что первый сплетник, услышавший про громкое дело в..., мог ее разоблачить. Ира, не дрогнувшая на следствии, провела несколько месяцев в постоянном страхе. От страха — теряла себя. Сохранилась абаканская записная книжка. Там часто повторяется слово «ощущение». Ира то искала острых ощущений, лишь бы забыться; то ухаживала за знакомой, больной открытой формой туберкулеза, словно искупая грех перед самой собой — не предохраняясь никак от палочек Коха, открывая путь своей смерти.

Кажется, это был единственный период в жизни, когда она делала то, что считала сама грехом. Рассказывать об этом несколько раз пыталась (у нее был культ полной откровенности в любви), но не могла. Рассказывать — пережить заново, снова потерять себя... Останавливалась на полуслове. Так же как при попытке рассказать о поклоннике, который из-за нее стрелялся (к счастью, не попал в сердце, был вылечен и потом убит на войне). Порывистость, с которой она останавливалась внезапно, в обоих случаях была почти одной и той же.

Ира могла отступаться; но жить в грехе — не могла. Ее душа была язычницей. Но эта душа в ней сбылась, достигла совершенства. Иное совершенство она понимала вчуже, но сама к нему не стремилась, — как одеться в чужое, не по росту, платье. «Я люблю христиан, — часто говорила Ира, — но сама я не христианка: я врагам своим не прощаю». Других заповедей она тоже не соблюдала, просто не упоминала о них, как о сравнительно пустяковом и в конце концов не чуждом ей деле (она любила роман «Таис», героиня которого кончила жизнь в монастыре, созерцая Бога). Но любить врагов! Этого она не могла. Суть христианства Ира схватила, по-моему, совершенно верно (такой же критерий подлинности христианства у Силуана Афонского). Известного рода вещи и известного рода людей Ира ненавидела; и пред-

почитала открыто ненавидеть (и сейчас же забывать о предмете ненависти и жить любовью), чем подавлять и загонять в подсознание свои порывы. Примерно на этом же была основана ее эротическая мораль. Правила, которым она следовала, могли быть опасны для других; но ей они были в пору и в ней они были оправданы.

Мне кажется, такое язычество может существовать и в наши дни. Я считаю неудачным опыт казенного крещения целых народов. Нельзя называть христианами людей, не доспевших до христианства. Это ложь, и за нее в конце концов пришла расплата. Казенное христианство пало, уступив место вере в атеистическую революцию. Эта вера в свою очередь оказилась, и сейчас многие возвращаются назад — и опять лгут, и опять пьянствуют и развратничают перед Распятием. Я не вижу здесь выхода, а в Ире вижу (хотя мой выход — другой). Ира имела какую-то свою собственную связь с вечностью. В ней был источник внутреннего света, был строй, и вокруг нее все строилось и ладилось. И от каждого ее шага оставался след в сердце.

В Абакане этот внутренний строй был нарушен. Близости без увлечения и сочувствия друг другу она не признавала (так же как вина без дружеской беседы); не признавала права быть слабым, искать забвения в чем бы то ни было... и все же искала. Когда ее разоблачили, она почти обрадовалась: лишь бы конец. Самого страшного (ареста за подлог в анкете) не произошло. Облили грязью на собрании и выгнали. Отправив детей к бабушке в Москву, Ира забралась к брату, доживавшему жизнь в Тайшете. Отдыхавшись, пришла в себя — и поехала учительницей в сельскую школу на Алтай. Там работали ссыльные немки, там и ей было место.

Впоследствии Ира много раз говорила мне, что в школе оказалось лучше, чем в университете. Я сам работал в 1953—56 гг. сельским учителем, и работа мне нравилась; но институтское преподавание казалось интересней. Присмотревшись к работе других преподавателей в Москве, я заметил, что самые талантливые из них отодвигали весь казенный курс, даже добротную классику, на второе место. (Фадеева и Шолохова Ира в Сибири вообще не преподавала, предоставив ученикам делать доклады и ограничиваясь исправлениями логико-стилистических ошибок; в заброшенном алтайском селе сходило с рук). На первое место выдвигался



какой-то кружок, драматический или литературный. У Иры был литературный. Я очень удивился (предполагая активное литературное творчество учеников 9 или 10 класса). Но оказалось совсем не то. Ира собирала своих ребят на посиделки и сказывала им романтическую прозу — кое-что помнила, кое-что импровизировала. Ее литературный талант обернулся сказительским талантом и встретился с аудиторией, впитывавшей каждое слово. У начальства волосы встали бы дыбом, узнай оно, что Ира пересказывала (Гамсуна, Гофмана, в то время запрещенных). Но сибирские девочки рыдали над судьбой лейтенанта Глана. А Ира окунулась в стихию романтической любви, в свое исповедание веры (любовь была для нее в полном смысле слова религией, царством Божиим, которое внутри нас). В университете она *анализировала* Вертера и т. п. так, как ее учил акад. Жирмунский. А в школьном литкружке *проповедовала* Вертера.

Ира любила русские стихи — но не те, которые сельские школьники могли понять. А прозу предпочитала западную. Я думаю, здесь сказался принцип дополнительности. Запад слишком долго (весь петербургский период) был русским магнитом. Для открытия своей подлинной личности вовсе не обязательно любить свое, почвенное. Широкая и даже слишком широкая русская душа часто искала своей завершенной формы на Западе (меня, напротив, завораживали бездны Достоевского). И то, что влекло Иру, захватило ее учеников, оказалось (если воспользоваться модным словом) вполне народным. В период борьбы с космополитизмом трудно было найти другое место, где Ирины влечения и таланты рассказчицы так свободно и полно могли бы развернуться... Несчастье России в ее огромности: поэтому в государстве никогда нет порядка. И счастье России — в ее огромности: поэтому дурные порядки никогда не проводятся до конца, с аккуратностью немецкой машины. Ира нашла свою волю так же, как ее веками находили мужики, бежавшие на окраины, подальше от благопопечительного начальства.

Виктор, читая письма Иры, с удивлением говорил мне об ирином увлечении школой. Но увлечение было подлинное, наполнявшее жизнь смыслом, несмотря на все катастрофы, случившиеся и еще ожидавшиеся в будущем... «По обстоятельствам жизни вы должны быть несчастной, — говорил Ире один из ее друзей. — Муж в лагере, с работы выгнали, после университета пришлось пойти в сельскую школу — а жа-

леть вас невозможно, вы счастливы!» Ира действительно была или несчастной (глубоко несчастной), или счастливой, глубоко счастливой. Серо, ущербно, на поверхности жизни она никогда не жила.

После ее смерти Нина Елина, наша общая приятельница, говорила мне, что интенсивность, с которой Ира жила, связана была с предчувствием ранней смерти. Не знаю, так ли это. Но неинтенсивно Ира просто не умела жить. В спокойное время ее интенсивности хватало бы, наверное, на 80 лет (хватило же Гёте). У нас она должна была умереть рано (встретилась со мной уже обреченной). Но никакой склонности сменять свою жизнь на другую (уехать, например, если бы это было возможно) у нее не было. Как-то при ней упомянули слова итальянского министра, предпочитавшего увидеть свою дочь мертвой, чем под тотальной властью. Ира презрительно пожала плечами. Слишком большого значения политике, хотя бы тотальной, она не склонна была придавать. Хорошо знала, что при самой страшной власти главное остается тем же.

В чем-то Ира была предшественницей нынешних диссидентов. Но она была очень далека от диссидентского шаблона, от заикленности на борьбе за справедливость, на политике и т. п. Политические страсти могли ее захлестывать, но только в иные, наиболее напряженные мгновения. В обычное время — просто не читала газет. Отбрасывала все это царство суеты, как ветошь, и на клочке пространства, физического и социального — Б Ы Л А. Хотя почти ничем не владела. Свободно расправляясь во всех своих неправильностях, во всех своих (да простят меня богословы за профанацию термина) природях.

## Слушая своего демона

В моей семье, переехавшей в Москву из польской и наполовину еврейской Вильны в 1925 году, все было сдвинуто. В Вильне я читал на трех языках и знал наизусть «Крокодила» Чуковского (это была моя первая русская книжка), но больше всего любил Ицхока-Кейбуша Переца с его при-

чудливыми героями-хасидами, не то безумными, не то святыми. В Москве — за год разучился говорить и читать на родном языке. Ни один из моих сверстников по-еврейски не говорил; как-то незаметно я привык, что по-еврейски говорят старшие, а наш язык, язык ребят — русский; хотя с буквой «р» справился гораздо позже, уже 13-летним мальчиком, а все мое детство было омрачено кошмаром: «скажи кукуруза!»

Я много читал и незаметно попал в плен к книжкам, которые выдавали в детской библиотеке. Помню постоянное чувство решительного несоответствия идеалу красных дьяволят<sup>1</sup> и, следовательно, собственной неполноценности. Старшие тоже колебались, перестраивались, переучивались даже говорить. Незадолго до смерти, в 1977 году, мамочка вспоминала, как ее поправляли, когда она клялась: «честное благородное слово!» Благородное — нельзя было. Я не знал подробностей, но чувствовал неуверенность и не имел перед собой никакого твердого образца. Первым моим постоянным товарищем стал — уже в седьмой группе, как тогда говорили, т. е. в седьмом классе, — Вовка О., старше меня года на полтора, уже тогда циничный (впоследствии эта черта в нем сильно развилась), ко всему относившийся с иронией и избравший меня в друзья потому, что я эту его иронию мог понять и оценить. До этого, в пятом и шестом, я был совершенно одинок; на переменах садился около батареи парового отопления и пережевывал счередную порцию интеллектуального опиума.

С Вовкой мы дружили долго, даже в первые годы его официальной карьеры; но я очень скоро понял, что его уверенность в себе — какая-то не моя, что себя мне надо искать, и в 10-м классе кончил сочинение на тему «Кем я хочу быть» словами: «Я хочу быть самим собой». Учитель, Иван Николаевич Марков, в 9-м классе читавший мои творения вслух, был недоволен. Но я уже нашел к этому времени опору в Стендале. Его эгоизм был хорошим противовесом официальному коллективизму; и я начал пробираться сквозь жизнь, держась за его руку: «политика — пистолетный выстрел во время концерта»; «позиция автора имеет только один недостаток: каждая партия может считать его членом партии своих врагов» — и т. п. Потом таким поводырем стал для меня Достоевский. Хотя в чем-то я всегда с ним спорил.

<sup>1</sup> Название очень известной книги и фильма.

Задним числом думаю, что Мао (со своей точки зрения, конечно) был совершенно прав, доведя культурную революцию до предела, намеченного Маяковским (сбросить Пушкина с корабля современности). Ленин любил Тургенева, любил Толстого и не мог и не хотел поверить, что их книги содержат в себе заряд мысли, более сильный, чем его объяснения. Достоевского, правда, он не любил, но из уважения к культуре и Достоевского переиздавали. В 1928 году — даже «Бесов». И так на официальной поверхности жизни остались волшебные замки, в которые можно было забраться, и там, в глубине, отсиживаться, как мечтатель «Белых ночей».

Я так долго искал самого себя, что это стало моей привычкой на всю жизнь. Может быть, поэтому меня не тянет ни к какому вероисповеданию. Я благодарен хранителям священного огня; но меня больше занимают люди, способные зажечь огонь заново; люди, начинавшие от нуля, дети случайных семейств, как выразился Достоевский. Пловцы, не ищущие дна; чувствующие себя в потоке времен, как дома.

Когда-то у каждого племени были незыблемые правила жизни. Потом — у каждого вероисповедания. А теперь, мне кажется, все предписанные группы расшатались, и надо научиться выбирать самому; хотя бы в пользу групповой морали (старой или новой), но самому, всем существом, а не одной головой или покоряясь привычке. Пожалуйста, выбери веру отцов или любую другую веру, но потому, что ты ее выбрал, а не за тебя это сделали. Это моя утопия, мой проект выхода из нынешнего безличного мира. Мне неважно, что выберут вожди, какое мнение поступит в президиум. Я не верю в соборность без крепких камней (личностей), из которых складывался собор. И пусть этот процесс займет несколько сот, или тысяч, или десятков тысяч лет. Все остальное — миражи пустыни.

Совершенно естественно, что у двух разных людей не может быть единого взгляда на вещи; это вовсе не означает хаоса; т. е. не обязательно означает. Индийское общество состоит из тысяч джати (каст), у каждой из которых своя дхарма, своя нравственность, не совпадающая с дхармой других джати. И лучше своя плохая дхарма, чем чужая хорошая. Но на некотором уровне, для души, окликнутой Богом, для саньясинов (подвижников), для бхактов (восхищенных любовью), различия снимаются и торжествует един-

ство (уже отчасти внеличное; единство Бога, говорящего разными устами свое, Божье).

Этот порядок держится по крайней мере две тысячи лет; может быть, больше. За тот же срок Европа проделала несколько зигзагов между индивидуализмом и единой, общей для всех моралью (языческой, католической, протестантской...) За гораздо меньший срок Россия перешла от православной соборности к сталинскому морально-политическому единству и сейчас начинает новый поворот.

Может быть, стоит внимательнее присмотреться к идее свадхармы? Разумеется, перенесенной с наследственной группы на свободно образованную группу и на отдельную личность; т. е. правил, вытекающих из природы личности, рожденных внутри, а не навязанных извне. Я не обсуждаю вопроса, часто ли это возможно сейчас, при общей неразвитости личного начала. Если нет позвоночника, нужна скорлупа. Но я за то, что позвоночник лучше, и надо поддерживать позвоночных. Может быть, их со временем станет больше.

Почему нельзя принимать личное разнообразие так, как этнограф принимает многообразие племен? Одно племя (узриты) воспевало платоническую любовь, другое — чувственные наслаждения. В одном племени юноши и девушки устраиваются вокруг костра, поют песни, а когда костер гаснет, обнимаются. В другом племени девушек, достигших зрелости, держат в клетке, как птиц. Это не безнравственность. Это племенная свадхарма...

Разрушение племенных рамок создало философский вопрос об общей для всех нравственности — и ответ Будды, ответ Христа. Вопрос понятен каждому интеллигенту. Но ответ, кажется, до сих пор не понятен. Мы склонны считать, что Христос ответил, что есть истина; а Он не сказал, что есть истина, а сказал другое: Аз есмь истина. И Будда сказал: кто видит меня, видит дхарму; кто видит дхарму, видит меня. Я понимаю это как требование быть самим собой, в самом себе дать расти «зародышу просветленного». Хасидский цадик Зуся говорил: «Бог не хочет, чтобы я был Моисеем; Он хочет, чтобы я был Зусей». Тут заранее принимается множество путей роста, бесконечное число личных путей. Примерно так, как все индийские свадхармы могут быть поняты (в идеале) как разные пути к одной цели, освобождению (мокше).

Признав Христа, но не поняв Его, все европейское человечество превратило путь Христа в систему слов, в идеологию, в то, что говорится, но не делается. Эта идеология очень легко уступила место другой идеологии. А когда все идеологии рухнули, люди, наделенные благодатью силы — Л. Н. Гумилев назвал их «пассионариями», «страстными натурами» — нашли свое подлинное бытие большей частью не на том уровне, на котором «наша душа христианка» (Тертуллиан). Демон, к которому они прислушивались, часто был языческим демоном. Язычество — необходимая ступень и необходимая форма духовного роста. Естественно складывавшееся общество до окончания веков не будет чисто христианским (разве с помощью Добрыни и Путяты; и с таким же успехом).

Ирина фраза: «Я люблю христиан, но сама я не христианка» — была искренней в обеих своих половинках. Она действительно любила христиан, т. е. тех, кого признавала христианами, кто естественно жил по закону христианской любви. Эти христиане ее тоже любили. Но сама она действительно не была христианкой. Не только молитвы мытаря, но даже Рублева не понимала. Верила мне на слово, что великий художник; но ее мистическая живопись была другая: дальневосточные «иконы тумана», «Чайки» Моне. На то и другое она не могла смотреть без дрожи восторга. У нее не было претензий, что ее выбор — высший. Ей вполне было достаточно того, что это ее выбор.

Перерастая себя саму, Ира очень редко сжигала то, чему поклонялась. Просто отодвигала прожитое назад, в тень. Но к книгам своего детства и юности часто возвращалась и перечитывала: то детские сказки, то Диккенса. То, что было пережито, стало частью ее самой, уже неотторжимой, и мода была здесь не властна. Так же и воспоминания о непосредственно пережитом, о романах ее собственной жизни: они откладывались в «заветный сундучок» (ее выражение) и время от времени перебирались, «перечитывались». Или, если был слушатель — пересказывались. Я охотно слушал. Слушал, уже любя ее бесконечно, приняв ее в свое сердце, еще не зная, чем она была прежде. И так она мне открывала свой длинный дон-жуанский список, и мы его вместе обсуждали и старались понять. Разумеется, не только это. Но область сердечных увлечений — единственная, где человек, даже при Сталине, сохранил свободу выбора, где жизненная

сила и своеобычность с самого начала не наталкивались на стену...

Романов у Иры было много. Может быть, даже слишком. Она это оправдывала довольно своеобразным аргументом: «Если бы я не искала, если бы я примирилась с тем, что мне выпало, мы бы никогда не встретились». Я соглашался. Во мне рассказы ее вызывали желание дать ей что-то такое, чего она раньше не знала, отодвинуть прошлое так же, как Пруст отодвинул для нее в тень Хаксли. И может быть, это естественное желание помогло мне пробиться через трудности первых месяцев брака, которые так убедительно страшно описал Толстой в «Крейцеровой сонате». Может быть поэтому проза общей жизни нас не захлестнула. А потом действительно было необыкновенно хорошо вместе. Даже лучше, чем обещала влюбленность.

Ирины рассказы всегда были рассказами, как рождались ее решения, правила, принципы. И я должен сказать, что в ирином безумии, как в безумии Гамлета, была своя система. По этой системе романы, доведившиеся до конца, были вполне разрешены. Но нельзя было разойтись с человеком, посаженным в лагерь (хотя бы для вида, как делали многие жены, продолжавшие после развода ездить на свидания и слать посылки мужьям). Проверкой этого правила была самая большая любовь, неожиданно выпавшая на ее долю в поезде, в разговоре с попутчиком. В одном купе с нею оказался человек не очень молодой (лет сорока с чем-то), но и не старый, физик из Казани, Владимир Иванович. Он побывал в Париже на каком-то конгрессе. Ира спросила, на что похож Париж? — На серую розу... Узнала стих Волошина, удивилась, обрадовалась. Разговор естественно перешел на стихи, романы, музыку. Оказалось, что В. И. помнит, знает, любит примерно то же, что она. Резонанс нарастал с каждой репликой — как колебания моста, по которому в ногу идет рота солдат. Ведь все происходило в 1951 году, т. е. под огромным давлением, направленным против того, что они оба любили. Школьники зубрили постановление о полумонахине, полублуднице. Давление извне незримо участвовало во встрече, возводило в степень ощущение чуда, с которого начинается любовь (каждый человек, сохранивший традиции серебряного века, был маленьким чудом; встреча в поезде — двойным чудом). Расставаясь, обменялись адресами. И в адрес ириной свекрови пришла телеграмма: «Вспоминаю бегущую по

волнам». (У Иры действительно была какая-то летящая походка; мне она напоминала статую Nike, В. И. — героиню Грина. Виктор называл ее прозаичнее: сестра Знаменских (известных в 30-е годы бегунов).

Зимой между Казанью и алтайским селом полетели письма (к сожалению, погибшие). Заочно все чувства были названы своими именами. Но на «предложение», как говорили в старину, Ира ответила отказом. Для нее это ничего не решало. Любовь была сама по себе, брак — сам по себе (как в «Новой жизни» Данте, как в поэзии бенгальских бхактов). В. И. был, видимо, ближе к традициям XIX в., а может быть — просто старше и бережнее к себе. Не видя впереди ничего, кроме мучительной радости коротких встреч и расставаний, он перестал писать. Ира, как школьница, бегала на почту за письмом. Кончилось тем, что простыла. За воспалением легких началась вспышка туберкулеза, вроде скоротечной чахотки. В лихорадке увидела, что В. И. умер (это был бред). Призрак воображения овладел ею со страшной силой. И вместо соединения в жизни стало грезиться соединение в смерти...

Вытащили ребята, обожавшие свою учительницу. Они с такой любовью старались ей услужить, так огорчились, что она не ест деревенских лакомств, что Ира, уже переставшая есть и принимать лекарства, снова захотела жить — и поднялась, с каверной в легком, худая, как скелет, но с каким-то новым опытом, перевернувшим ее. Как будто побывала в царстве смерти — и вернулась оттуда. Мне кажется, этот опыт второго рождения отпечатался на ее лице в карточке, которая вот уже более 20 лет стоит у меня на столе.

## Судьба и биография

Один из наших друзей, Евгений<sup>1</sup>, как-то сказал, что Ира — женщина без всяких предрассудков, как дурных, так и хороших. Я очень удивился. Кошка, перебежавшая дорогу, была для нее сильнее всей рационалистической философии.

---

<sup>1</sup> Так я его назвал в эссе «Пережитые абстракции».



Она была одета в рационализм, как в платье, как героиня ее повести «Царевна-Колокольчик» «стала носить темные платья, чтобы казаться старше и серьезнее».

Ира гораздо сложнее Нины (героини повести), но что-то свое она в Нине высказала: «У меня круглые «отлично», я занимаюсь с утра до ночи, сокурсницы просят у меня конспекты для подготовки к экзаменам и считают тетради мои образцовыми. Я научилась говорить — когда это вообще необходимо — холодным и уверенным тоном». Очень помню этот холодный и уверенный тон. Он долго отталкивал меня в спорах. «Я все еще боюсь разоблачить в себе ту нелепую фантазерку...»

Только сойдясь с Ирой ближе, я понял, что «нелепую фантазерку» она в себе никогда не хотела уничтожить. Просто привыкла, что в обществе ее надо прикрывать, как прикрывают наготу. Царство снов было прикрыто одним темным платьем и одним светлым. Темное платье образцовой исследовательницы, презирающей романтические приемы в науке; светлое платье женщины без всяких предрассудков, свободно отдающейся капризам чувства... Платья надевались и носились всерьез. Это не были карнавальные маски. Они становились частью ее жизни. Но они никогда не были всей ее жизнью. В более глубоком слое все время шла своя, тайная жизнь. В этой жизни продолжались детские сны, и в сказочном мире были свои необъяснимые уроки и запреты. Не общие табу (на них она действительно смотрела с презрением), а свои собственные.

Ира очень любила ирландский эпос, считала его гораздо поэтичнее греческого; а ирландские герои погибают обычно из-за того, что нарушили какой-то свой личный зарок, или не сумели его нарушить, чтобы спастись, или столкнулось несколько зароків сразу. Так, по своим личным зарокам (ирл. гейс, множ. гесса) она жила (могла отдаться по первой причуде, но отказалась выйти замуж за горячо любимого Владимира Ивановича, чтобы не разводиться с нелюбимым — заключенным). Так она и умерла.

Одним из ириных зароків было — не дрейфить! Я сознательно употребляю школьническое выражение. Мог бы употребить коммунаское (из Макаренко): не пищать! Ночью ее иногда охватывал страх смерти (как детей — страх темноты). Но я никогда не видел, чтобы она испугалась днем. Только

один раз ее пальцы несколько дрожали, когда она доставала из сумочки паспорт...

Это было во время дела Пастернака. Илья Шмаин забежал днем за деньгами — ему не хватило своих, чтобы отправить нобелевскому лауреату корзину цветов. Ира прибавила наших, и дело было сделано. Илья издали проследил, как корзину несли через комсомольские пикеты, осаждавшие дом в Лаврушинском переулке. Вечером, когда я вернулся из библиотеки, у нас сидели друзья, обсуждая все, что стряслось. И вдруг постучали: паспортист, какая-то тетка. По случаю подготовки к переписи производится проверка. Предъявите, пожалуйста, паспорта... Не испугался только Ирин сын: у него не было нашего рефлекса (паспорт — ордер — обыск и арест).

Я внимательно следил за лицами взрослых мужественных людей, прошедших через Лубянку, не сказав ничего лишнего: один помрачнел, другой побелел... Потом, когда проверка кончилась, товарищ с побелевшим лицом сразу выскочил (как из дома, где может обрушиться потолок). А Ира мгновенно успокоилась и стала сочинять открытку Пастернаку. «Жаль, что мне не понравились первые две части «Доктора Живаго». Ему было бы приятнее». Написала про стихи, подписалась — я видел, что она снова совершенно спокойна. Я поставил свою подпись вслед за ее фамилией, но мне было трудно это сделать. А ей — уже опять легко.

Когда ей предложили операцию, резекцию легкого, она без колебаний согласилась. И когда опытный терапевт, посмотрев ее, сказал: «Пусть Богуш (хирург) еще раз подумает», — она сама опять не поколебалась. И я не останавливал ее, и после смерти ее никогда об этом не жалел. У Корчака где-то написано: «Ребенок имеет право на смерть». Ира имела право на смерть. Я не мог лишить ее этого права.

Как назвать то, к чему она прислушивалась? Этика? Эстетика? А может быть — что-то еще до раздела на этику и эстетику? Прекрасное (по крайней мере по-русски) — превосходная степень и хорошего, и красивого. В пре разрушены все границы, и то, что со строго моральной точки зрения было дурно, становится хорошо. Я думаю, в этом секрет обаяния многих сильных характеров (и в жизни, и в искусстве).

Много лет спустя, над книгой М. Бубера «Великий проповедник», я вспомнил Иру, читая о грешнике, с которым дружил цадик. У веселого грешника не было склонности к

величайшему греху — отчаянию. И во всех своих страстях он был подлинным, «самособойным».

Все естественное в прином космосе было прекрасно, все прекрасное — естественно. За исключением очень коротких периодов выбитости из себя, у нее не было желаний, вызывавших стыд, уродливых, криво выросших; и то, чего она желала, не вызывало стыда.

Зато она стыдилась многих вещей, которых я совсем не стыжусь. Очень неохотно дала мне трудовую книжку, зачислиться на два месяца старшим (или главным) библиографом в ВГБИЛ. Моя собственная трудовая книжка не годилась; в Библиотеке иностранной литературы кадры были заевренены; так что работал я, а деньги получал на ее имя по доверенности. После этого вкладыш был с наслаждением выдран. Послужной список имел для Иры какой-то бытийственный смысл. Сельской учительницей она служила с вдохновением, и скромность этой профессии не смущала. А слово «библиограф» почему-то воспринималось как поруха чести, как фальсификация ее лика. Может быть, смешно. Но отказ от чисто бумажного факта развода — на той же линии, и в глубине то же чувство чести. Ирин мир был, говоря современным языком, высоко семиотичен (все внешнее имело внутренний смысл). Мой мир таким не был. В моей трудовой книжке: техник треста Союзэнергомонтаж, киоскер Союзпечати и т. п. Я привык быть «люмпен-пролетарием умственного труда» (как меня называл Евгений) и «философом, задушенным в колыбели» (Виктор). А Ира не привыкла. Не хотела привыкать. Она сама поехала в Сибирь, не дожидаясь, пока отправят по этапу; и так во всем. Не знаю, характерно ли это для России? Скорее, нет; у России скорее судьба, чем биография...

Сколько таких людей нужно, чтобы изменился характер страны? Не знаю. Как их воспитывать? Опять не знаю. Дети Иры ее духа не унаследовали. Она давала им полной мерой то, что ей самой не хватало: свободы. И обоих потянуло к догме. Видимо, иначе нельзя. Так, противотечениями, идет жизнь.

Ира неповторима, как коринфская бронза. Город когда-то брали штурмом, и статуи, погибая в огне пожаров, образовали новый сплав, ценившийся потом на вес золота. Такие неожиданные драгоценные комки образовались и в пожаре России. Не одна Ира. Может быть, и вся жизнь во вселенной — такой чудом слившийся сплав?

## География снов

Первое воспоминание Иры — блик на паркете, к которому она ползла, еще не умея ходить. Это впечатление — одно из самых сильных в ее жизни. Она помнила себя очень рано и очень крепко. Другая ее черта — память на сны, удивительно художественные, целое романтическое царство, всплывшее, когда рационалистка закрывала глаза. Ира шла в постель, «как в ложу, за тем, чтобы видеть сны» (Цветаева). Сны составляли добрую половину ее жизни, и может быть лучшую. В набросках к повести «Магдалена» намечена была особая глава: «География снов».

«И вдруг вспоминаешь, что уже был здесь — в другом сне. И знаешь, здесь — поворот, здесь — обрыв, ведущий к реке, здесь — вокзал... И вдруг встречаешь каменные сводчатые ворота с образом Мадонны наверху: это кусочек из реальных воспоминаний. Я проходил через них, когда спешил в школу с сумкой в руке, а потом они были разрушены и сохранились только здесь, в городе снов...»<sup>1</sup>.

«Но самое интересное — это все-таки город, город снов, куда я постоянно возвращаюсь».

«В сущности, можно было бы создать новую науку — географию снов...»

«Не всегда попадаешь в него сразу, но вдруг в какой-то момент узнаешь знакомые очертания; здесь поворот на вокзал, а вот бывшая тихая река. Эта улица идет вниз, там есть маленький домик, обвитый диким виноградом, а вот огромные сводчатые ворота с полустертой старинной надписью наверху...»

Когда долго не бываешь там, потом с удивлением наталкиваешься на незнакомые улицы с рядами новых кирпичных домов. Кажется, раньше здесь было что-то другое? Или просто я еще не забредал в этот квартал?»

В «Царевне-Колокольчик» снов так много, что реальная жизнь кажется иногда просто дурным сном, кошмаром, от которого нужно проснуться:

«Ночи растягивались, вмещали ворох лиц и событий, а дни были серые и маленькие. Просыпаешься раз, другой, третий, и все середина ночи, и все голубое ледяное окно, а за

<sup>1</sup> Какие-то реалии Смоленска, разрушенного в годы войны.

ним тусклый фонарь — до утра поспеешь еще Бог весть куда забраться и что повидать...»

Если днем все было плохо, оставалась ночь. Тайная ночная жизнь души давала Ире особую силу. Всегда можно было ускользнуть от невыносимого, открыть зеленую дверь — и оказаться в другом мире. Так и в кабинете Порфирия Петровича уходила в стихи Верлена и Рильке — тем же привычным для нее ходом. Так Нина — героиня «Царевны» — раздвигает купе общего вагона по дороге на север:

«...Я думаю, у всякого человека, если только он не безмерно несчастен, есть такая «шкатулочка» с плотно закрытой крышкой, которую на несколько минут можно раскрыть, когда остаешься один. Впрочем, она все равно есть — если даже очень несчастен, но просто она тогда отказывается раскрываться...»

И через несколько страниц (вагонная сцена, пьяная исповедь соседа, приставанье какой-то синей фуражки): «Вот, а теперь шкатулочка. Я приоткрываю ее и выпускаю небо. Огромное розовое небо за окном вагона. Из душных вагонных сумерек оно кажется почти невероятным. Оно еще не мое, а только обещанное, как намеченный подарок в витрине магазина, но стоит сойти на маленьком полустанке, и я получу его «взаправду»...

Черный лес с горизонта подполз поближе, потом окружил черным кольцом. Плотная темная масса, слишком огромная, чтобы быть просто неодушевленным скоплением деревьев. Если пойти туда — черная стена раздвинется и закроется за тобой. И обдаст сырым холодом. И сначала будет страшно. Но ведь полагаются сказочные препятствия. И та девушка, которая стоптала девять пар железных башмаков и сглотала девять железных просвир, шла вот именно по такому лесу. Может быть, ее тоже раньше когда-то звали царевной и она стояла на лесной опушке, среди папоротников, с цветком в руке. И цветок светился ласковым сказочным светом, которого боится лесная нечисть.

Наверное, если приглядеться хорошенько, то можно увидеть в этом лесу, за окном, слабый голубоватый огонек. Это она идет, усталая и сонная, в нелепых железных башмаках не по ноге, а цветок у нее в руке, как светлячок, слабо освещает дорогу. Ведь сказочные условия строги и безоговорочны: смягчающих обстоятельств и послаблений не допускается. Повернешь назад — все пропало. Разве только на при-

вале, завернув ноги в мокрые листья подорожника, выпустишь на минуту из деревянного сундучка райских птиц полетать, поразмять крылья, порадуешься на них — и опять закрыл сундучок, и в дорогу.

Будет же конец лесу когда-нибудь!»

Конца не было, но были поляны с золотыми лютиками. Были ходы из темного леса в какой-то другой, сказочный, добрый. Были прикосновения... Далось бы это в другое, более спокойное, более светлое время? Не знаю.

Повесть кончается словами — какой-то цитатой, но пересказанной по памяти сердца наизусть: «Жизнь ломает всех — самых нежных и самых храбрых, но настоящие люди, пройдя через это, становятся только крепче на изломе».

\*

В Ире не было никакой позы, никакого расчета на бронзу, никакого подчеркивания своей силы. Я почувствовал ее в том, как она читала стихи; но в обществе она и это делала очень сдержанно. Держалась просто и никогда не добивалась центрального положения. Это выходило само собой. Плотное небесное тело оказывалось в центре системы, а легковесные — на орбитах. К ней влекло старых и молодых; вокруг нее всюду возникал круг друзей.

Как-то я спросил Леонида Ефимовича Пинского, почему он так кротко переносил подтрунивание Иры (в то время уже покойной). Он ответил, что Ира поразила его своим мужеством. Я вспомнил, как это было со мной в первые месяцы нашей общей жизни. Ира еще ютилась на кухне Виктора. Я чувствовал себя в это утро опустошенным и не мог понять, почему полюбил эту женщину и что я в ней люблю (бывают такие пустоты в начале общей жизни. Толстой сделал из них «Крейцерову сонату»). Мне не нравилась манера ходить полдня в затрапезе, желтое лицо, посиневшие губы... Шел обычный отрывочный разговор о политических событиях и слухах. Ира начала, как тысячи других матерей: мой милый, не рискуй по пустякам; ты знаешь, как мне страшно за тебя... (в кухне сидел, дожидаясь котлет, ее сын). Но вдруг она распрямилась, мне показалась даже выше своих 170 см. Пневмоперитониум — пузырь в животе — некрасиво выпиравший как у готических статуй, куда-то исчез. Голос, звучащий с нежностью, редко достававшейся старшему (он дер-

жался по-взрослому, на дружеской ноге), стал страстным, почти звенящим: «Но если начнется по-настоящему, я не хочу, чтобы ты оставался позади; не для того я тебя воспитывала!» Несколько секунд мы оставались неподвижными. Потом опять зашипели котлеты, выплыла из облака Гермеса плита; Ира, как ни в чем не бывало, наклонилась над сковородой. А у меня еще долго бегали мурашки по спине. Словно волшебник перенес меня на 3000 лет назад и я услышал, как первая спартанка сказала: со щитом или на щите!

Во всех своих многочисленных и трудно совместимых поворотах Ира была «всей собой» (цветаевское выражение, без которого я не могу обойтись). Представляю себе, как захмелел Сергей, будущий ее муж, попав в Ирин кружок, как он захотел украсть Джоконду — и украл: воспользовался неопытностью 18-летней девчонки, не знавшей, что за известной чертой она потеряет контроль над собой и над ним (ему было 26, он знал). Опомившись — поплакала. Потом забеременела — и уступила мольбам выйти замуж. Отказ в этом положении было бы очень трудно объяснить матери. В конце концов, Сергей ей нравился (как многие другие). Но перемены в браке, на которую он рассчитывал, не произошло. Ира продолжала свою собственную биографию, в которой возраст школьных романов еще не кончился. Уступала обстоятельствам, так, как с младенчества внешне уступала своей матери, и продолжала внутренне жить по-своему.

Из «Царевны-Колокольчик»:

«Мама, непоколебимо уверенная, что «на самом деле» не бывает никаких странностей, все странности — это в книгах и из книг, а по-настоящему все просто и обыкновенно...»

«Почти такой же разговор уже был лет десять-одиннадцать назад, но дело не в нем, а в его причине. Как я могла забыть. Тогда была осень в разгаре...»

В этом шуршащем, преливчатом море из листьев я была не одна. Как-то само собой получилось, что должна появляться девочка и играть со мной. Я твердо знала, как ее зовут: Лита. Моя подруга Лита. Она была веселая. И она все понимала еще раньше, чем я скажу. Она знала больше меня. Мы разговаривали часами и придумывали удивительные истории. Нам было очень хорошо.

Один раз мой отец проходил мимо и увидел, что я смеюсь, разговариваю, кому-то протягиваю листья, хотя я совсем одна. Он не видел мою подругу Литу.

Он очень испугался, взял меня за руку и увел домой. Дома он кричал на маму:

— Как ты ее оставляешь на целый день одну? Ведь этак она и совсем свихнется. Сведи ее сейчас же к доктору.

— И вечно ты делаешь из мухи слона! — отвечала мама. — Подумаешь, какой ужас! — все дети за игрой увлекаются и начинают говорить вслух. Вырастет, поумнеет — и будет как все люди. Доченька, иди сюда. Ты с кем разговаривала?

— Ни с кем, мама. Я за игрой увлеклась и начала говорить вслух.

— Ну что, видишь сам, что я права, — с торжеством сказала мама отцу. А он махнул рукой и ушел».

Одна из подруг Иры говорила мне, что Ира покоряла своим умом. Может быть, иногда и умом. Но ум никогда не был ее государем (как у подлинных рационалистов). Только визирем.

«Как можно узнать, где и когда встретятся поезда, если сразу начнет представляться песчаная насыпь, поезд грохочет по мосту, а под ним болотце, поросшее крупными незабудками, потом мелькают столбы с загадочными цифрами, крохотные, словно игрушечные, будочки на разъездах — и так не доходит дело до встречи поездов! Да и зачем мне это знать? Ну, встретились, разъехались, пыхтя и гудя, и помчались каждый своей дорогой... Много позже я поняла, что надо сделать усилие и мысленно отбросить все эти метры бумагеи — в цветочках и полосатые, литры горючего с пронзительным запахом — и тогда остается рисунок цифр со своей собственной незамутненной жизнью. Как хорошо, когда алгебра, и вместо грохочущих поездов, въезжающих в воображение, появляются тихие «а», «в» и «х» («Царевна-Колокольчик»).

«Алгебраический» ум Иры никогда не решал, почему один запах влечет, другой отталкивает. Решало чувство, и оно делало это самодержавно, не боясь самых причудливых парадоксов. Цезарь выше грамматики (и логики). Визирь — разум послушно понимал, что царю нравится и Мышкин, и Люцифер. Он не колебался между Мышкиным и Люцифером (из «Восстания ангелов» Анатоля Франса), а просто принимал, что «мои любимые герои — князь Мышкин и Люцифер». Хочется украсть фразу из статьи С. Аверинцева о В. Иванове: симпатии Иры обладали почти геральдической



отчетливостью. Они коренились в ее собственном бытии и не допускали опровержения или уступки моде. Эта твердость в своем дополнялась терпимостью к чужому, совершенным отсутствием фанатизма (почти всегда связанного с тайной внутренней неустойчивостью, с боязнью измены самому себе. У Иры этого страха не было).

Каким-то своим поворотом Ира вошла в семью, в замужество, в материнство. Но она по-прежнему оставалась в центре кружка, друзья по-прежнему в нее влюблялись, и она по-прежнему принимала это. Если бы Сергей видел Иру такой, какая она была, и себя таким, каким он был, без мук тщеславия несостоявшегося героя, их брак мог бы быть полусчастливым. В декабре 1941 г., в необжитом Ташкенте, Ира родила младшего сына. Не было друзей. Внешнее как будто замерло. И в бесконечных военных очередях, в долгих зимних походах за молоком, на другой конец чужого, враждебного города, открылось море нежности к маленькому. Первенец этого взрыва не вызвал: он пришел слишком рано, до внутреннего душевного срока, и был как будто отодвинут. Только позже сложились полудружеские, полувлюбленные отношения сына с матерью. Младший навсегда остался для Иры Ребенком с прописной буквы (даже в 17 лет), но особенно в младенчестве. И на какое-то время он ее совершенно заполнил... Вскоре отыскалась и мать Иры со старшеньким, вывезенным в коляске из горящего Смоленска. Все собралось в общежитии преподавателей танкового училища. Сергей по-своему обожал Иру и, майором, пренебрегая начинавшимся тогда этикетом, мыл за жену полы... Но он не был простым и смирным человеком, способным отступить на второе место перед друзьями, очень быстро снова окружившими Иру. Кажется, он не мог пережить, что тускнеет в ее глазах, что она стремительно подымалась над ним в развитии ума и характера, в точности вкуса и в твердости и силе сопротивления «морально-политическому единству...». Чувства мужчины, укравшего Джоконду и боявшегося, что ее перекрадут, сливались с тщеславием маленького и все больше мельчавшего служащего, терявшего вольнодумство молодости и привыкавшего ко всему, что его окружало: к рутине, конформизму и военному пайку... Сергей не верил, что Ирины друзья и поклонники — не любовники, ревновал бешено, с шумными сценами. Она пыталась объяснить, что оставалась его верной женой, но вольна в своих симпатиях к людям. Он считал

ее объяснения ложью. А этого она, в свою очередь, не могла простить. В ответ на очередную безобразную сцену она взбунтовалась — и начала изменять всерьез. Ей было тогда 23 года. Примерно в этом же возрасте я получил незаслуженный наряд вне очереди, и тут же, назло командиру взвода, заслужил взыскание: вышел из колонны (мы шли на фронт), срезал по тропочке угол дороги и со вкусом просидел минут 10 или 15 на деревенской скамеечке. Младший лейтенант со смешной фамилией Ребенок (ударение на последнем слог) прошипел, что на передовой применил бы оружие. Я ответил, что у меня тоже есть винтовка. А всех-то делов было — простоять два часа около пирамиды с винтовками. И поставил меня сержант Сорокин (командир отделения), с мужицкой насмешкой выполняя глупый приказ, вне очереди — первым, т. е. вечером; а другие, в очередь, караулили ночью.

Через несколько дней я был ранен и Ребенка больше не видел. Ирин бунт длился дольше — года два или три.

## Человек и его миссия

Ганди говорил, что к голодному Бог приходит как хлеб. Я дерзну продолжать: к ребенку Бог приходит как елка, к юноше и девушке — как взгляд, как прикосновение друг к другу; к зрелости — как правда; к старости — как смерть... И все, пришедшее в свой час, становится прекрасным. Стояние за правду — до костра. Созерцание смерти, разрешения от всех уз, возвращения света к свету...

Иногда порядок времен отменяется. Вечность входит, когда ее не ждали, и юноша вдруг становится зрелым мужем, даже святым старцем. Иногда благодать дается наплывом — беспечному грешнику, поэту... Молодого Пастернака вдруг в любовном стихотворении прорвало стихами, которые всегда поражали меня — и только сейчас, понемногу, я начинаю их понимать:

Но старость — это Рим, который  
Взамен турусов и колес  
Не читки требует с актера,  
А полной гибели всерьез.

Когда строку диктует чувство,  
Оно на сцену шлет раба.  
И тут кончается искусство,  
И дышат почва и судьба...

Почва здесь — как горячий снег, бездна, перед жерлом которой человек ощущает свою собственную бесконечность:

Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья...

Бог не торопится и проходит через все возрасты (Зевес, балуя смертных чад, всем возрастам дает игрушки). Волшебные слова молодости — «холодное пламя», «сдержанная страсть». Только в темной глубине за Песню Песней прячутся книги Иова и Экклезиаста...

Молодости даровано право на эскапады, на выходы, в которых душа пробует свои силы перед настоящими битвами духа. Молодость дразнит общество чайльд-гарольдовым плащом, эпатирует буржуа. «Все мы Онегины, — говорил Герцен, — если не предпочтем быть чиновниками и помещиками». Ириным плащом была скандальная слава леди Тентемаунт (из романа Хаксли «Контрапункт»). Образ холодной умом и по-мужскому активной вампы ей нравился, хотя разнuzданной по натуре она никогда не была (наоборот: очень сдержанной.) Нравилось попирать общепринятые приличия. Нравился комплимент, который она получила от какого-то ловеласа: «Я понял, почему у нас не выходит романа. Я охотник, а вы не дичь, вы сами охотница».

В эти годы, на одном из последних курсов университета Ира попала на глаза Надежде Яковлевне. Надежда Яковлевна ее не запомнила. Но Ира запомнила. Увидев в руках студентки томик стихов мужа, вдова попросила перечесть (свой пропал в эвакуации). Не дать было невозможно. Получить обратно — тоже. Отговорки звучали фальшиво и, главное, небрежно. Ира почувствовала презрительное убеждение, что книга ей не нужна. С книгой — простилась бы (мне нужна, ей — нужнее). Но презрения не простила. Каждый раз вспоминала с ворчаньем: «Мандельштамиха...».

Держа в голове «Воронежские тетради» и «Четвертую

прозу», затравленная женщина осторожно пробиралась по «кровавой земле». Судить встречных приходилось как ОСО — по статье ПШ (подозрение в шпионаже). Отец мой за это недоказанное и недоказывавшееся подозрение отбыл в ссылке 5 лет. Недостойные доверия отбрасывались целыми категориями: по молодости, по жизнерадостности. То, что других привлекало, Хранительницу Огня отталкивало. Видимо, Ира была одною из осужденных с первого взгляда, и взгляд это выдал. Жаль, не угадала Надежда Яковлевна; но что поделывать! В ее положении лучше было ошибиться в сторону подозрительности, а не доверчивости.

Когда я прочел Первую книгу, показалось: Ира ошиблась. Не в факте, в чувстве. Факт ничего не значит. Ей самой случалось присвоить книгу, стоявшую в чужом шкафу для мебели. Ошиблась в оценке человека. Не сумела простить (этого она, действительно, иногда не умела).

Потом дошла до меня Вторая книга, и опять все повернулось по-новому. Злой, бдительный глаз — добродетель Хранительницы Огня. Но продолжение добродетели — порок. Случай с Ирой стал для меня маленькой моделью других конфликтов: с Волошиным и Петровых, с Тыняновым и Ахматовой...

Характеры, подобные Надежде Яковлевне, ставят перед неразрешимым вопросом (и даже несколькими вопросами). Во-первых, что делать человеку, у которого глаз все темные пятна видит как бы под увеличительным стеклом, как бы в лучах Рентгена? Это ведь не только у Надежды Яковлевны; у моей приятельницы Г. то же самое; несколько лет тому назад она призналась, что при первом знакомстве со мной упрекнула мужа: с каким идиотом ты меня посадил рядом? Я решил использовать случай и спросил: но может быть, ты ошибалась и в других случаях? Может быть, не стоит верить своему чутью на все 100% и надо брать умом поправку? Она помолчала и сказала, что, отвлеченно говоря, я прав. А когда пыталась идти вопреки чутью, быть ко всем доброй и терпимой, то выходило худо. И рассказала, как в юности, преодолевая себя, стала привечать очень противного молодого человека Феликса Карелина; не виноват ведь он, что у него такая противная рожа. Друзья тоже стали его принимать (если уж такая чистоплюйка...) А он оказался стукачом, и по его доносу посадили Толю (будущего ее мужа) и нескольких его товарищей.

Второй вопрос — о средствах и цели. Как быть со средствами, которые в самих себе не содержат доброй цели — с недобрыми средствами? Великая миссия невыполнима без известной жесткости к людям. Но вот миссия выполнена. Ближайшая цель достигнута. Ноша освятила того, кто донес ее. А между тем, властный характер не хочет смириться, и средства в нем начали новую, свободную жизнь. Привычки резкого, безапелляционного суда вырываются за рамки, поставленные Целью, и начинают капризно своевольничать. Бесы, заколдованные и данные в услужение вместе с ношей, становятся господами, оседлывают того, кто правил ими и с их помощью проделал свой страшный путь. И уже они правят им (или ею). Во всяком случае, иногда правят. При случае. И случаи эти выпадают все чаще и чаще. Поклонники, зачарованные, ослепленные подвигом, ничего не замечают (или все оправдывают). Но передо мной встает вопрос: как бы на великом пути не потерять свою малую душу? Как бы Великая миссия не стала великим жерновом на шее?

Люди Великой миссии этого вопроса себе не ставят. А я ставлю, может быть, только потому, что у меня великой миссии нет. Что все мои миссии — с маленькой (строчной) буквы<sup>1</sup>. И все-таки я ставлю свои вопросы. Это ведь тоже своего рода миссия: «удерживать деятелей от охватывающего их транса». Пусть мне простят еще один поворот темы, провокационный. Если миссия оправдывает жесткий характер, то ведь правда и другое: «революцию не делают в белых перчатках». И «то, что полезно для революции, нравственно». Или то, что полезно для контрреволюции... Но тогда мы приходим к тому самому, что уже воздвигло один Архипелаг. Великая миссия диктует мораль виконтессы де Босеан (и Вотрена): смотрите на мужчин и на женщин, как на почтовых лошадей, ступайте по ним, как по трупам...

Историю не делают в белых перчатках. Если бы Мохамед остался чистоплюем, призыв ислама итсак бы в песках Аравии. Видимо, люди, подобные Мохаммеду, люди с Мандатом Неба, необходимы Провидению, и один Бог им судья. Но по крайней мере так же нужны просто люди, не несущие ни Корана, ни «Воронежских тетрадей», ни «Архипелага

<sup>1</sup> Ср. размышления об этом в книге И. Зильберберга «Необходимый разговор с Соженицыным». К сожалению, И. Зильберберг спутал термины и называет строчную букву прописной. Но по сути дела я с ним совершенно согласен.

ГУЛАГ», а только свое человеческое бытие. В конце 50-х годов я не уставал повторять стихи Пастернака:

Быть знаменитым некрасиво.  
Не это подымает ввысь.  
Не надо заводить архива,  
Над рукописями трястись...

Лет десять после смерти Иры я шел по «живому следу». Мой «Квадрильон» был написан и «Нравственный облик исторической личности» сказан по ее молчаливому завещанию. Вся моя деятельность 60-х годов — это продолжение Ириной жизни, «за пядью пядь». Сейчас во мне сильнее говорят другие призывы. Но след Иры жив во мне и остается во всем, что я говорю и пишу.

## Телем

По мысленным рельсам, проложенным острым глазом Надежды Яковлевны, жизнь Иры должна была катиться от наслажденья к наслажденью и от лжи ко лжи. Стихи Осипа Эмильевича Мандельштама на этом пути могли сохраниться только так, как Тарасенков хранил любовь к Пастернаку. И лучше было бы прекратить это кошунство.

А между тем, все пошло иначе. На последнем курсе университета Ира оставила своего военно-тылового мужа и вышла замуж за бывшего арестанта, сактированного умиравшим с голоду и жившего по паспорту, выданному на основании ст. 39.

Трудно сейчас представить себе, как сильно сближало тогда простое доверие. Симпатии Иры к Виктору не выходили за рамки дружбы. Но выслушав его предложение, она сразу согласилась. Устала от нараставшей фальши, от сцен за мнимые и действительные измены и от собственных вспышек в ответ на конформизм Сергея (как раз незадолго вышла из-за стола, хлопнув дверью, и два часа ходила по улицам: Сергей стал оправдывать государственными соображениями отказ пускать одесских евреев назад из Ташкента

в Одессу). Искренность и понимание казались в эту минуту важнее всего.

Сергей грозил застрелиться. Ира не поверила, сказала: стреляй! Он приложил дуло к виску... вышла осечка. Или не был спущен предохранитель? Или не заслан патрон в канал ствола? Других попыток самоубийства не случилось. Случился донос. Но донос тоже не помог: подшили к делу, в ожидании случаев, когда спущена будет разрядка арестов и придется выполнять план. Случай пришел три года спустя. Сергей в это время был давно женат вторым браком.

Не надо думать, что он был каким-то необыкновенным мерзавцем. Ревность хватается за то, что под рукой, как пестик Мити Карамазова. И Сергей чувствовал себя вправе махать пестиком. В 1955 году, когда дух времени требовал отказываться от показаний, подтвержденных в 1949 году, он все равно настаивал, что показал правильно. Страсть всегда считает себя правой.

В этой страсти было что-то рогожинское. И может быть потому Ира стилизовала Виктора под Мышкина. Даже недостатки Виктора, напомилавшие мышкинские, ее радовали. Виктор стал ее синей розой (она очень любила песню про Мичуан-люли: чтоб всегда цвели в Мичуан-люли синие розы!). А Виктор, по-видимому, подчинялся ее ожиданиям и не мог преодолеть известной скованности (так, словно она действительно была синим чулком). Кончилось тем, что он увлекся женщиной попроще; накануне ареста он всерьез думал о разводе.

Ира не замечала, что в житейской беспомощности Виктора, в его неспособности вымыть стакан или пришить пуговицу была избалованность единственного сына и уверенность интеллектуала, созданного из головы первосущества, что посуду вымоют люди других каст; что это не любезность, а долг по отношению к нему. Виктор был умен, честен, мягок, но одаренность делала его эгоцентричным (недостаток, глубоко связанный с достоинством, и поэтому почти непреодолимый; особенно если не сознавать его как недостаток). За мягкостью его скрывалась своего рода гордыня.

Как-то мы прогуливались по дорожкам лагпункта, и Виктор очень мягко, сдержанно, объективно (и потому очень долго) доказывал свое интеллектуальное превосходство. Когда он кончил, Евгений, терпеливо выслушавший доказательство, коротко возразил: а я думаю, что Я всех умнее.

Виктора (взятого с должности заведующего кафедрой) очередной раз покорило от дерзости студента-первокурсника. Впрочем, потом эти выходки прощались Евгению за провокационную остроту его ума. Но меня поразило другое. Слушая Виктора, я думал то же, что Евгений; только не сказал вслух. Наша тройка лагерных мыслителей представилась мне вдруг тремя Поприщинными, воображающими себя каждый по отдельности Фердинандом VII.

Наступила пауза в разговоре; мы вошли в сортир опраться; сквозь круглые дыры настала видна была жижа, казавшаяся живой — так много в ней копошилось червей. Почему-то эти черви вдохновили меня: может быть, вспомнился Державин? «Я раб, я царь, я червь, я Бог...» На какой-то миг я почувствовал себя червем, тварью дрожащей, и сказал двум кандидатам в Наполеоны: «Ну что ж, оставляю вас бороться за первое место; себе я беру второе». Это прозвучало как шутка, но внутри меня все дрожало. Отказаться от претензии на первое место было мучительно больно. Примерно, как пройти через увечье, через ампутацию руки или ноги, через какой-то невыносимо тяжелый обряд инициации. Это было (я потом понял) инициацией в смирение. Только пройдя через него в жизни, я заметил у какого-то классика XIX века: может быть, самое главное для человека — это удовлетвориться вторым местом (а раньше читал — и не замечал).

У меня были и прежде, и потом более яркие переживания. Но это, мучительное, я считаю одним из самых глубоких; после него я легко уступаю первое место всем, кто на него претендует, вплоть до Никиты Сергеевича Хрущева, когда он, после XXII съезда, несколько месяцев претендовал на лидерство в освободительном движении (потом у него эта дурь прошла). Задним числом я благодарен и Виктору, и Евгению, и даже лагерным червям за полученный урок. К несчастью, сам Виктор этого урока не заметил.

Мышкиным он не был. Но он знал время взлета, когда судьба вытряхнула его из абстрактного царства науки (которой он отгородился от жизни, как набоковский Лушич — шахматами) и разбудила удивительные, неожиданные для меня силы. На этом взлете он попал в Ташкент, встретил Иру, влюбился в нее (хотя тонкий психолог, вероятно, отличил бы его чувство от любви) и вместе с Ирой, в промежутке между двумя проработочными кампаниями, создал Телем-



скую обитель. Потом, измученный шестью годами лагеря, он жалел о том, что тратил себя на что-то, кроме основного, главного (науки) и ворчал на Иру: разведал там Телем... Но это неправда. Это клевета на самого себя. Без Иры Телем не был бы построен. Но строили Телем тогда, в 1946—1949 гг., вместе, душа в душу.

Виктор получил кафедру в провинциальном университете и, пользуясь недосмотром начальства, приглашал формалистов, выгнанных из столицы; давал приют людям, которые в другом месте были бы немислимы, вроде Исидора Л., гражданина Союза без году неделя, прибалтийского еврея, ревностного лютеранина, пропагандировавшего Райнера Марию Рильке и (самым близким) Евангелие. «Крепчал маразм»<sup>1</sup>, а на кафедре литературы совершались платоновские пиры. Впоследствии Ю. Ш. назвал такие уголки «экологическими нишами». С середины 50-х годов они не переводятся. Но Телем в конце сороковых — единственный известный мне случай.

Ира читала литературу «от Гомера до Фаррера», по десять часов в день, освобождая Виктору время для докторской диссертации, с грехом пополам кормила и обстирывала своих детей (Виктор по житейской беспомощности был третьим ребенком) и чувствовала себя счастливой. В отношениях с Виктором царил полная открытость. Письма читались вместе, и даже друг за друга (впоследствии Ира пыталась ввести такой ритуал и со мной; но после первого опыта я убедил ее, что делать так нехорошо по отношению к друзьям, не знавшим и, может быть, не желавшим знать меня. Она очень нехотя согласилась). Не было (в первые годы) никакой утайки, не только скелета в шкафу — *ничего* скрытного, и была нежность.

Настоящую нежность не спутаешь  
Ни с чем, и она тиха...

Эти стихи Ахматовой настолько слились для Иры с Телемом, что потом, когда я попытался прочесть их, Ира меня перебила. Она не могла их слушать. Они обманули ее и вызвали в памяти мучительное чувство прорванной декорации, за которой оказалась яма.

---

<sup>1</sup> Шутка Ермилова, вошедшая в пословицу.



Наступила очередная полоса проработки (1949), и в поисках козла отпущения взоры начальства упали на Телем. В маленьком городе все становится известным. Телем был предупрежден; но дошла только новость, факт, а не волна страха, бежавшая по стране, приводя кроликов в оцепенение перед удавом. Не знаю, что тут решило: тесно сбитый дружеский круг? Жертвы кампании повсюду были разобщены, не решались сбиться в кучку, а здесь особый нравственный микроклимат оказался сильнее советской зимы. Новость обсудили, как новую нелепость, новую забавную гримасу, и решили дать встречный бой: обвинить проработчиков в том самом космополитизме, за который всех били. Пошли в библиотеку, изучили старые статейки и брошюрки секретаря и членов парткома, выписали цитаты (совершенно естественно звучавшие в 1933 году и чудовищно — в 1949), и когда агнцам, приготовленным для заклятия, дали слово, чтобы они покаялись, — агнцы бросились на волков и изрядно их пободали. Проработчики потом шамкали по бумажкам свои речи, но выглядело это по-трамвайному: сам дурак, сам сволочь. Никто из местных руководителей в 1949 г. не умел говорить; а Ира, по крайней мере, была прекрасным оратором (я помню, как мы — спиной к спине — сражались в кольце комсомольских пропагандистов на фестивальной выставке 1957 года)... Вместо зрелища шатающихся интеллигентов, высеченных за непонимание генеральной линии, обнаружилось колебание самой линии — то, что все, по законам двоемыслия, не смели знать. В Москве или Ленинграде за такую фракционную выходку немедленно было бы заведено судебное дело на весь Телем; но в провинции всякое случалось. Там могли и перегнуть, и недогнуть. Арестован был только Виктор, на которого все равно готовилось дело в связи с инструкцией об изъятии недосидевших.

Потом началось следствие. И на следствии — письма...

Как только Ира опомнилась, она побежала предупредить разлучницу: могут и ее запутать! Разлучница (у которой рыльце было в пушку) чувствовала себя неловко; но Ира затопила и покорила ее выражениями своей дружбы (хотела доказать себе самой, что стоит выше ревности). В конце концов возникли даже в самом деле дружеские отношения. Потом, когда стали известны показания разлучницы против

Виктора, Ира судила ее очень мягко, больше отыскивая объяснения и оправдания, чем осуждения: не выдержала нажима, боялась разоблачения перед мужем. «Я ей тогда наговорила гораздо больше (чем Виктор); но на меня ведь она не донесла!» — добавляла Ира. Это было правдой. Разлучница не была профессиональной стукачкой.

На Виктора, попавшего в лапы к ним, сердиться было вовсе невозможно. Напротив, всем сердцем хотелось оправдать его. Перенеся действие в какую-то условную, средневеково-романтическую Германию, Ира писала повесть «Магдалена», герой которой страдает и гибнет от нравственной пытки в тюрьме, не в силах вынести предательства своей возлюбленной; но на самом деле никакого предательства не было; кошмар создан следователем, Гейслером (Порфирием Петровичем):

«Белый-белый лунный свет добирается до моих глаз. Мне кажется, что я чувствую, как от его влажного холода тяжелеют и немеют пальцы руки и ступни, наливаются бессонной тяжестью веки.

Где-то за окном полнолуние, и я знаю это, хотя и не могу увидеть большую белую луну. Это одна из причин, почему я третью ночь не могу спать. Но все-таки это не главное. Главное — это голоса... Совсем незнакомые голоса, и высокие, и низкие, и грубые, и нежные, просят о чем-то, убеждают, шепчут, рассказывают, но слов я не могу разобрать...

Я опять закрываю глаза, и голоса принимаются за свое... Я знаю, нелепо ждать чуда, но не могу с этим бороться: а вдруг среди этих незнакомых голосов прозвучит тот, который ни с чем не спутаешь, медленный и нежный, и пусть бы он меня убеждал даже без слов, — я поверил бы ему и так, лишь бы в нем слышен был протест («Все это ложь с начала до конца», — перевел бы я словами), грусть и упрек («Как ты мог поверить им, а не мне?»)...

Но вместо этого в круг притихших голосов, как паук, вползает голос советника Гейслера...»

«Мне кажется, что черви живут в самой середине золотых яблок... Если я выйду когда-нибудь на свет Божий, я кончился как художник... Разве ты этого не понимаешь? Я должен вернуть себе веру в стойкость, в красоту...»

Вся повесть — романтическая идеализация изменника и разлучницы:

«Напрасно так равнодушно-иронически относятся к Нео-

сознанному и Непредвиденному! Оно может вдруг выпустить когти — и ты бессилен, оно может выдвинуться, как мыс неведомого мира, в твои будни — и разрушить их... Странные, неожиданные поступки людей, которые можно назвать срывами, совершенно не зависят от их разума и воли, действующих в обычное время!

Что сказать, например, о человеке, сидящем в кругу друзей, рядом с той, которая похожа на легкую пружинку, на живой огонек, которая горда, вспыльчива, энергична и смешлива... Да, он смотрит на нее с нежностью, ... но кто-то вошел в переднюю — конечно, это запоздалый товарищ, который зато и останется без пирожного к чаю! Он идет его встречать с легкой шуткой, готовой сорваться с губ! И вдруг в полутьме он видит нестерпимо знакомую серую меховую шубку и большие укоризненно строгие глаза... Нет, ее здесь не может быть! — Но это она, единственная, горько любимая, далекая — скорее, скорее, ни о ком, ни о чем не думая, упасть на колени, остановить коротенькое, секундное, сумасшедшее счастье... Он зовет ее, громко зовет по имени, бросается к ней — и падает, ударившись виском об угол сундука...»

Однако герой «Магдалены» — не Виктор. Ира объясняла мне, что придала черты Виктора рассудительному Даниэлю, а главному герою — черты своего брата, поэта Владимира Игнатьевича, отсидевшего 10 лет и умершего в Сибири в 1952 году. Но я вижу в узнике ее собственные черты, ее собственную философию Неосознанного, Непредвиденного — и ее собственное страдание от интимного предательства Виктора, писавшего, что он никогда не любил Иру, потому что Ира — синий чулок. Ей хотелось, чтобы и это предательство как-то оказалось сном, наветом. Но она не забывала его. Синий чулок — выплывает в «Царевне-Колокольчик» (вариант 1951 г.):

«Иза как-то подвергла меня анализу в течение пары скучных лекций и со всей озадачивающей откровенностью поделилась результатами. Девушки считают меня синим чулком, — сообщила она, — но ей кажется, что с этим нельзя полностью согласиться. Почему у меня иногда бывают какие-то странные глаза, от которых становится не по себе? — для синего чулка это не типично!..».

В переписке с Виктором Ира усилием воли стилизовала совершенное прощение и верность, и в жизни она, по крайней мере внешне, выдержала принцип — до отказа Владимиру Ивановичу. Но сердце ее было пусто; а этого состояния она

не умела выносить. Слова «пустое сердце» все время мелькают в записных книжках: «только бы не пустое сердце!»

Когда Виктор вернулся, романтическая декорация прорвалась.

Начался кошмар недомолвок — и затянулся года на полтора. Виктор стал искать причин, почему Ира изменилась. Но судить себя по чужим правилам Ира не разрешала. Даже за то, за что сама себя — судила. Виктор отступил. Бесконечно усталый, он не решился, после одной мучительной для обоих попытки, «выяснить отношения». Ире казалось, что он не может без нее обойтись. А он мечтал, что она как-нибудь сама, без объяснения, соберет вещи и уедет. К какому-нибудь прежнему любовнику.

Тихая полоса недомолвок оказалась тяжелее следствия. У Иры открылась новая каверна, какая-то фиброзная, не поддававшаяся лечению. Врачи предупреждали, что третья вспышка будет летальной и жить Ире осталось — по их медицинской статистике — не больше десяти лет (вышло — из-за роковой операции, обещавшей перебить процесс, — четыре года). В санатории, отдыхая от прелестей брака, в котором нараставшая ненависть постепенно сжигала старую привязанность, Ира еще раз пересмотрела свою жизнь и набросала тетрадь суровых заметок — к несчастью, пропавших. Суть их, впрочем, можно выразить стихами Ахматовой:

Какая есть. Желаю вам другую —  
Получше. Больше счастьем не торгую,  
Как шарлатаны и оптовики<sup>1</sup>.  
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,  
Ко мне ползли такие ночи,  
И я такие слышала звонки!..  
Над Азией весенние туманы  
И яркие до ужаса тюльпаны  
Ковром заткали много сотен миль.  
О, что мне делать с этой чистотою  
Природы и с невинностью святою,  
О, что мне делать с этими людьми!..  
Мне зрительницей быть не удавалось,  
И почему-то я всегда вторгалась  
В запретнейшие зоны естества,

<sup>1</sup> Ира знала стихотворение в такой (смягченной) редакции.

Целительница нежного недуга,  
Чужих мужей вернейшая подруга  
И многих безутешная вдова...

Суть здесь не в том, что Анна Андреевна (или какая то ее читательница) была подругой чужих мужей, а что *была*. Я думаю, что огромное влияние Ахматовой на современников объясняется не только тем, что она писала хорошие стихи. Стихи сами по себе не объясняют массового желания лично видеть Ахматову, представиться ей. Ира такого желания не испытывала. Хотя стихи Ахматовой очень любила. Ира сама *была* (вспоминаю ответ графа Толстого, отца Льва Николаевича, на замечание, что NN стал шталмейстером: «У меня есть свои шталмейстеры»). Люди знакомились с Ирой для того, чтобы она их познакомила с Лидией Яковлевной, а Лидия Яковлевна «представит»... Ира знакомила — и сама оставалась непредставленной. Страсти поклонников Анны Андреевны вызывали у нее недоумение: петербургская привычка представиться ко двору? Но вот я вспоминаю В., долго вынашивавшего потребность быть представленным Анне Андреевне, добившегося этого и ставшего чем-то вроде ее пажа. Тут скорее потребность утвердиться феодальным «омажем», инкорпорацией в высшую иерархию бытия...

## На развалинах Телема

В 1942 году у Виктора была полоса взрыва жизненных сил. Попав в окружение, он догнал фронт, выдавая себя немцам за малограмотного мусульманина, бредущего в родной аул. Не дрогнув ни одним мускулом, выслушивал, как ландзеры переговаривались: кажется, он еврей... А, пусть идет к мамке!.. Виктор пробрался к своим — и через несколько дней был арестован за измену Родине. Во время следствия его привязывали к столбу и инсценировали расстрел (за то, что не сознается). Он все-таки не сознался; недоказанная измена отпала, осталась однако статья 58-10: антисоветская агитация и пропаганда, 10 лет (не мог припомнить никаких немецких зверств и клеветал на кубанских казаков, будто бы встретивших победителей хлебом и солью). В тифлисской тюрьме, набитой до предела и сверх всяких пределов, умирав-

ших с голода активировали, невзирая на статью; Виктор (с риском умереть, если комиссии в подходящий момент не будет, и быть расстрелянным, если его трюк заметят) перестал есть даже то, что давали. Комиссия явилась вовремя. Он был сактирован. Дистрофиком добрался до Ташкента, по свидетельству об освобождении восстановился в аспирантуре. С паспортом на основании ст. 39, прячась от облав, защитил диссертацию...

В 1948 году он зашел в книжную лавку писателей, где я тогда служил продавцом (совсем как в фильме «Мы вундеркинды»). Я знал его в институте — мы занимались в одном семинаре. Тогда мне казалось, что ему чего-то не хватает; может быть, просто жизненной энергии. Я был поражен, увидев другого человека. От него просто веяло энергией, силой. Никакой заторможенности архивного юноши. Виден был человек, сразившийся с судьбой и вышедший из нескольких схваток победителем. Виктор горячо упрекал меня, зачем я прозябаю в Москве, звал в провинцию, где энергичному человеку открывается широкий простор... В провинциальных просторах я сомневался, но Виктор был несомненен. Его просто подменили.

Потом судьба свела нас в лагере. Мы одновременно сидели под следствием и хорошо отозвались друг о друге; встретились с радостью. Энергия, разбуженная войной и поддержанная Ирой, продолжала еще иногда вспыхивать в нем; опомнившись от долгого следствия, он стал одним из самых интересных мыслителей нашего лагпункта. Тогда и сложилась тройка, описанная в «Пережитых абстракциях». В жизни он был ярче, талантливее, чем в моем эссе. В 1959 году, когда я редактировал «Абстракции», Виктор стал другим, и я внес отчасти в текст этого другого.

Перелом произошел в 1952 году. Как-то вдруг кончились силы и напал страх; обстановка становится все мрачнее, могут начаться лагерные расстрелы... Действительно, могут, умом я это понимал, но мало ли что может случиться! Виктор стал сторониться товарищей, слишком много, слишком горячо говоривших (с мной, впрочем, иногда перебрасывался несколькими словами, но не задерживаясь больше на долгий, многочасовой разговор). Все его поведение стало укладываться в штамп напуганного, сторонящегося людей повторника, каждый миг чувствующего угрозу третьего срока. Виктор действительно был повторником, но до 1952 года не

вел себя, как повторник. Может быть, иссяк родник энергии, разбуженный в 1942 году, начало незаметно сдавать здоровье, и появилось особое чувство уязвимости, со своими, выраставшими из больного тела, страхами (я испытал это позже, в 1972 году). Но болезни (понятные врачам, с укладкой в лазарет) начались *после* морального надлома. Может быть, не доглядели гипертонии, депрессии, чего-то ускользавшего от грубой лагерной медицины? А может быть — ослабела душевная связь с Ирой, поддерживавшая Виктора в образе, который она когда-то любила? В 1950, 1951 гг. Виктор радовался каждому ее письму, постоянно обращался к ней в мыслях, глядел на себя ее глазами — и уже потому не мог стать запуганным повторником. Но после разрыва с В. И. и воспаления легких Ира писала с огромным трудом. Письма не давали прежней поддержки. А силы убывали. А кругом действительно все шло, как в сказке (чем дальше, тем страшнее)...

Вернулся Виктор совершенно измученным, искалеченным небрежной хирургией и с одним желанием: все, что осталось, отдать науке. Это было серьезно (его работы с академической точки зрения — образцовые и стали в своей области стандартом). Но Иру в однолинейную жизнь, двигавшуюся от одной научной проблемы к другой, нельзя было втиснуть. Если бы даже не было всего, что особо разделило их в 1949—1955 гг., сами характеры переменялись. В 1946 году встреча их была благословением и счастьем, в 1955-м — мучением и гибелью. И не потому, что кто-то виноват (или оба виноваты). Просто они стали за шесть лет другими, и этим другим людям стало невыносимо трудно жить вместе. Толкуй после этого о нерасторжимости брака...

В 1956 году умерла мать Виктора. Я предложил телеграфировать Ире, уезжавшей в Ленинград. «Не надо, не хочу видеть ее крокодиловых слез», — неожиданно сказал Виктор; его прорвало. До этого он избегал жаловаться мне (у него был другой конфидент; ему он жаловался непрерывно; но меня почему-то стеснялся. Может быть, неловко было ломать образ Иры — из золота и лазури — им же нарисованный в лагере). На волне сочувствия (мне было очень жаль его) казалось, что я проглочу все; и в течение часа был нарисован образ другой Иры; этой дьяволице не хватало только рогов и копыт. Я мысленно сравнивал голубого ангела (сбивавшегося в синий чулок) с черным демоном, вспоминал



живую Иру, ее интонации, нежность к детям, открытость к друзьям... В Викторе говорила ситуация разрыва, уже осознанного как неизбежный, но еще не совершившегося (трудно переступить какой-то порог); ум старается помочь воле и подбирает все дурное, что можно вспомнить, и сгущает, сгущает краски... Мне это было не нужно; в демонизм Иры я не поверил. Наоборот: стало интересно, что за характер скрывается за двумя такими несовместимыми портретами. Мелькнула двойная мысль: вот еще одна милая женщина, с которой может что-то получиться. Но зачем мне это? Туберкулез легких и двое взрослых детей... Вслух я сказал первое, что пришло на ум и казалось дельным советом: надо разойтись. Виктор безнадежно махнул рукой. В состоянии бесконечной усталости развод, а потом размен квартиры — казались ему чем-то физически и даже нравственно невозможным (в квартире жила память отца и матери). Виктор был убежден в своем праве: после всего, что он вытерпел, люди должны были избавить его от новых страданий. Я не стал спорить. Но жаль мне было обоих.

Через некоторое время он собрался в отпуск — один, отдохнуть от Иры, и попросил меня почаще навещать ее. Она тоже попросила. Я никогда не видел обоих такими взволнованными. Ему неловко было оставлять больную; ей (об этом я узнал позже) — оставаться в пустой квартире, угадывая в углах дух покойной свекрови (позитивизм не мешал Ире быть глубоко суеверной). Я твердо обещал бывать почаще и действительно стал ходить каждый второй вечер. Но спорить с Ирой мне было бы тяжело. Как собеседника я предпочитал Виктора, привыкшего ко мне и находившего какие-то примирительные формулы (ум у него был очень гибкий, гибче, чем у Иры). Чтобы посещения не превратились в тяжелую обязанность, я предложил читать стихи. У Иры много было накоплено по блокнотам и просто в памяти. И тут на меня хлынула нежданная стихия...

На людях Ира читала стихи корректно, сдержанно, чуть сухоовато. Так она начала и со мной. Вообще у нее была эстетика сдержанности. Но где-то, попав на любимые строки, душа не выдержала — и вдруг вся раскрылась. Она никогда ни на что не жаловалась мне, но я почувствовал все по тому, как она читала Ахматову (Какая есть!), Цветаеву:

Как живется вам с стотысячной,  
Вам, познавшему Лилит?

До сих пор мурашки пробегают по позвоночнику. Это не было чтение чужих стихов. Это было большим, чем перевоплощение актрисы...

Кажется, именно с этого началось. Со стихов, в которых вырвалось ее подавленное, невысказанное (она никогда не стала бы жаловаться мне, товарищу Виктора). Но потом так же пошло все подряд. И меня подхватило, понесло, как в любимом ее «Заблудившемся трамвае»:

Поздно. Уж мы обогнули стену,  
Мы проскочили сквозь рощу пальм,  
Через Неву, через Нил и Сену  
Мы прогремели по трем мостам.

Где я? Так томно и так тревожно  
Сердце мое стучит в ответ:  
Видишь вокзал, на котором можно  
В Индию Духа купить билет.

А в переулке забор дощатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!

Понял теперь я: Наша свобода  
Только оттуда бьющий свет,  
Люди и тени стоят у входа  
В зоологический сад планет.

И сразу ветер, знакомый и сладкий,  
И за мостом летит на меня  
Всадника длань в железной перчатке  
И два копыта его коня.

Пусть моралисты говорят все, что угодно. Добро не укладывается ни в какие правила, ни в какие заповеди. Какой-то немецкий философ (может быть, Якоби) сказал: я хочу быть прелюбодеем, как Паоло, убийцей, как Орест... Или что-то в этом роде, не помню буквально, но смысл — такой. Через две недели я проснулся в пять часов утра и понял, что

влюблен. С этих пор я спал только по три-четыре часа и нетерпеливо ждал возвращения Виктора, чтобы объясниться с ним и подтолкнуть развод. Почему-то в готовности Иры сблизиться со мной я не сомневался.

Дождаться Виктора не пришлось. 24 августа меня вызвали в какое-то учреждение вернуть ордена, изъятые при аресте. Я ушел с работы в полдень, возвращаться не стал... Кажется, у меня был ключ от квартиры, или дверь была открыта — но я вошел неожиданно. Ира сидела у стола, опустив голову на руки. Лицо, медленно повернувшееся ко мне, выразило что-то вроде улыбки. Я впервые увидел, что она несчастная, в горе, почти в отчаянии (она терпеть не могла показывать это). Я знал, что Иру очень легко вывести из печали, она не любила растравлять страдания. Проще всего — принести бутылочку чего-нибудь сладкого и крепкого... Через десять минут я вернулся с ликером. Ира действительно встряхнулась так, словно и горя никакого не было. Но я понимал, что это не надолго, и стал в туманных выражениях говорить, что сказал бы больше, если бы... Ира почти не отвечала (потому что, собственно, ничего почти не было сказано), но по лицу ее я чувствовал, что все эти обстоятельства пустяки. Я весь горел (не от ликера). Покончив с бутылкой, мы сели, как обычно, читать. Не помню, на какой странице открылась антология русской лирики XX века. Взглянув в книгу, я увидел только одно: что читать не могу. Книга полетела на пол.

Через час (или через два, или через три) Ира потянулась к зеркальцу, сказала: «Господи, на кого я похожа!» и накрасила губы. С этих пор она всегда красилась и я докуривал ее алые чинарики. Иногда, когда здоровье возвращалось, она бывала еще очень хороша собой. Но я полюбил ее желтой, с посиневшими губами и в каком-то балахоне, в котором она весь роковой август красила мебель морилкой (заняться чем-то другим ей было трудно, а сидеть без дела еще труднее). Если бы она была кривой и горбатой, я все равно бы ее полюбил.

На другой день она встретила меня словами: «Я думала, что ты не придешь» (т. е. что меня заест совесть перед Виктором). Совесть меня действительно ела, но я уже прилепился к Ире, я стал с ней одной душой. Было больно мучить Виктора своим грубым вмешательством в его жизнь. Но боль за Иру была сильнее. Грех был и в том, чтобы прелюбы

сотворить, и в том, чтобы прелюбы не сотворить. Второй грех был страшнее; я выбрал первый. Или судьба сделала выбор за меня — но так, что это стало моим выбором. Отказ от него был бы клятвопреступлением.

Любовь к Ире имела для меня такое же значение, как отказ от Ренаты — для Кьеркегора. Я не отказался от Иры. Я стал до конца собой в этом выборе. Не в интеллектуальных взлетах юности, не на войне, не в лагере (все это было только подготовкой к бытию, инициацией), а выбрав Иру и сумев довести свой выбор до конца, до мыслимых пределов земного счастья, через все нравственные и физические мучения, о которых я когда-нибудь расскажу. Так определилось несколько моих центральных идей. В этике: выбирать приходится между сталкивающимися и разрывающими тебя верностями долга — не умом, а всем собой, скорее «по благодати», чем «по закону». В политике: не доверяю спасителям человечества, или спасителям России, никогда не дарившим всего себя другому человеку. И так, до онтологии, до опытного знания чистого света, льющегося из глубины бытия через сердце, превращая в свет все, на что он падает. И если я иначе толкую «огонь» Паскаля, чем Флоренский, то потому, что у нас разный опыт<sup>1</sup>. Для него — «огонь» — огонь ада; для меня — свет вечности, погасивший пространство и время. Каждый из нас может сказать, как Шанкара, в ответ на критику его идеи дживанмукта (освобожденного при жизни): об этом не стоит спорить, я это испытал.

## Конец Иры

30 октября 1959 года Ира умерла, не встав с операционного стола. Светило яркое солнце, и по дороге в больницу мне казалось, что все будет хорошо. Оперировали 28-го, кризис прошел, теперь она выздоровеет. Но меня ждало остывшее тело. Пузырилась кровавая пена (видимо, вытирали с губ, но набежало снова). Плохо державшийся зуб вы-

---

<sup>1</sup> В подкладке камзола Паскаля найдена была после его смерти записка о двух часах созерцания, изменивших всю его жизнь. Переживание само по себе передано одним словом: огонь.

пал во время агонии. В русых волосах часто замелькала седина. За неполных двое суток Ира постарела лет на десять.

Я рухнул на колени и прижался к ней лбом. Зачем-то меня подняли. Видимо, надо было, чтобы внешне я не выражал горя. И с этой минуты я делал то, что надо было: поблагодарил врача, ассистировавшую при операции и не уходящую от Иры эти дни и ночи, пытаюсь вернуть ее к жизни (ее глаза, встретившись с моими, блеснули ужасом), потом пошел звонить мальчикам. Помню, что очень твердо ступал по лестнице.

После меня два месяца преследовала галлюцинация: стоило закрыть глаза, и я видел себя разрубленным пополам вдоль позвоночника, левую половину похороненной на кладбище, а за правой волочились по тротуару кишки. Кошмар кончился в новогоднюю ночь. Ради мальчиков я встречал Новый год и после двух или трех недель тренировки сумел сказать, не заплакав: с Новым годом, с новым счастьем! Нехитрый обряд меня исцелил. Под утро, после встречи, приснилось, что рана затянулась и выпавшие кишки засохли и отпали. Больше галлюцинация не повторялась.

. . . . .

В последние месяцы 1959 года и в первые месяцы 1960-го я написал несколько страничек, которые не могу здесь поместить: невозможно показывать все это чужим глазам, пока сам я жив. Приведу только несколько строк:

«Однажды она мне сказала, рассказывая о том, как потеряла здоровье: «Но я не жалею, что заболела: иначе бы я не встретила тебя». Я ответил: «Может быть, мы и так бы сблизилась». — «Нет.» — «Тогда лучше бы ты была здорова и никогда не видела меня». Она тихо покачала головой и сказала: «Нет, так лучше».

За один полно прожитый год Ира готова была заплатить жизнью. Она хотела жить до 80 лет, у нее есть запись об этом. Но полно прожитый год, даже один полно прожитый день был больше 80 лет, был целым веком. Отказ от риска сделал бы миг неполным. Она не могла отказаться от риска ареста или от риска смертельной болезни или от риска операции так же, как Дон Гуан не мог не подать руки командору. Такие люди иногда живут до 80 лет и не переживают себя (они и в 80 лет полны жизнью). Но их ранняя смерть —

не случай. Скорее, случай то, что Ира уцелела от репрессий.

Я не знаю, есть ли в открытости риску трагическая вина. Может быть, трагический рок... Нельзя жить, вторгаясь «в запретные зоны естества», без подвластности року, подстреливающему влет, не дожидаясь, пока устанут крылья— в миг самого полного, самого напряженного бытия.

Эту Иру я любил, и что-то от нее в меня вошло и во мне ожило, когда кончились два месяца неотступной смерти и началась трудная, со следом смерти в душе, новая жизнь. Я дорого заплатил за свое знание любви, и я не могу злоупотреблять этим словом. Я понимаю любовь только в отношении к живому, непосредственно ощутимому: как человек, как музыка, как луч заката. Я хочу добра и России, и Европе, и всем 4 млрд. людей на земле. Но это не то, что я пережил как любовь. Надо найти какое-то новое слово для смеси чувства с убеждением, для переноса чувства на общие понятия (человечество, Россия), за которыми не одно, а множество людей и вещей. Я не против таких переносов, я пожалуй даже за них, но слово любовь хотел бы сохранить для другого. Я не могу вообразить себе множество живым существом и жить воображаемой жизнью с этим воображаемым собеседником. Я понимаю любовь к Богу в его второй ипостаси. Но не к избранному народу. Я воспринимаю как книжную метафору строку Блока: «Русь моя, жена моя...» Блоковские стихи о России перекликаются в моем сознании с отношением Блока к живой жене, Любви Дмитриевне Менделеевой, как к мифологической фигуре.

Жизнь научила меня отличать реальность от мечты и принимать в самое сердце только реальное. Мечта может быть очень глубокой, страстной, заражительной; но она рушится при столкновении с действительностью. Или заставляет ненавидеть действительность, сопротивляющуюся мечте. Ненавидеть врагов отчизны, врагов передовых идей, врагов своего плана спасения человечества и т. п. А любовь смыкает ненависть. Если любовь есть, то нет ничего, что бы она не могла смыть. Нас с Ирой иногда выбивали из себя события (дело Пастернака, казнь Имре Надя и Пала Малетера). Мы заболели ими, мы откликнулись, как могли— а через несколько дней снова ничего не оставалось, кроме любви. Каждую ночь не оставалось ничего другого. И не надо было никакого переворота для счастья.

Любовь не рассыпается от прикосновения реальности.

Она сама есть самая глубокая реальность. Рассыпается влюбленность в девушку, которую вы не успели толком узнать, в социализм, при котором кошки не будут ловить мышей<sup>1</sup>, в самодержавие, не имеющее ничего общего с самовластием. Рассыпается, оставляя после себя чувство обманутого доверия и ненависть. А любовь — то, что не может обмануть. То, что не вдалеке и не в будущем, а теперь и здесь.

Мое отношение к России — это отношение к тому, что я вижу кругом. У этой жизни не одно лицо, а множество лиц и ликов. Я глубоко захвачен возможностями русской культуры, загадками русской истории, мне не хочется уезжать из этой страны. Я верю, что здесь могут быть новые взлеты вселенского духа, наподобие того, как у Рублева или Достоевского. Но очень часто Россия — русская политика, русский пьяный быт — вызывала во мне отвращение и стыд (чувство, совершенно немыслимое в моих отношениях с любимой). Я в каком-то смысле (хотя не так, как Иру) люблю всех Муравьевых, *которых* вешают. Мне не хочется их оставлять. Но я совершенно не люблю, ни в каком смысле, *Муравьевых*, *которые* вешают (а ведь это тоже Россия. Я не могу отмыслить их, как иногда это делают с Иваном IV или Петром I, или с Лениным и Сталиным. Чувство фальши не позволяет). Я не вижу перед собой реальности *истинной* России, с которой вдруг спадет все наносное и откроется небесное сияние. Личность может вместить в себя всего Бога; по крайней мере, в один какой-то миг. Но нация? Не думаю. В нации, в народе, в стране, в любой миг есть и Алеша, и Иван, и Митя, и Федор Павлович, и Павел Федорович...

Мое отношение к России — захваченность. А любовь — это когда невозможно лечь спать, не смахнув недовольства, раздражения, ссоры, как крошки со стола. Когда никакая обида не выдерживает одного прикосновения друг к другу. И когда одно прикосновение снимает все невзгоды.

Ира не любила Московской Руси, не вмещалась, со своим независимым характером, в терем. Но ни в какой стране, кроме России, ее нельзя себе вообразить. Одновременно широкую и собранную, европейскую и неуловимо незападную.

---

<sup>1</sup> Ср. Валентинов. «Встречи с Лениным», — странички, посвященные Кате Рерих (по изд. Чалидзе, 1979, с. 27—32).

У нее была своя родословная, в XIX веке; и свои сестры в наши дни (я говорю не о характере, о типе). Сильная женщина, берущая на себя то, от чего отступили мужчины,— бесспорно русский тип; не московско-русский, но петербургско-русский и современный. Юлия Вознесенская уходит объясняться в Большой дом (и попадает в лагерь), а бородатые бабы остаются дома, нянчить детей, и потом рвут на себе волосы в самиздате. Не знаю, где это возможно, кроме России.

В моей внутренней жизни 70-х годов Ира, оставаясь живым воспоминанием, постепенно превратилась в символ, потянувший за собой антисимвол — несобранной, рассыпающейся широты. С судьбой живого трупа, Феде Протасова,— или скрипача Ефимова из «Неточки Незвановой»,— или молодца из Повести о Горе-злосчастии...

Русское саморазрушение встало перед моими глазами в судьбе Толи Бахтырева — удивительно яркого, сократически одаренного собеседника, начавшего талантливо писать — и вдруг спившегося, по какой-то неведомой причине (или по совокупности причин), и в 1968 году найденного мертвым в своей запертой комнате. О подлинном Толе я пытался написать, но оставляю свои записки полежать год-два. Может быть, еще что-то прояснится. А сейчас буду говорить только о символе, в который Толя (Кузьма, как его обычно звали) превратился в моем уме, о факте моей внутренней биографии, без претензии, что это и есть Анатолий Бахтырев, автор посмертной книжки, опубликованной за рубежом под названием «Эпоха позднего реабилитанса».

Имена, в конце концов, можно переменить. И с какими-то другими именами останутся те же символы — русской живой широты и русского развала, единства личности вопреки всякой логике и распада недостроенного духовного здания, обещавшего охватить все и не удержавшего ничего... Оба эти типа — я не придумал. Но сейчас мне кажется, что они гораздо ближе друг к другу, гораздо теснее переплелись, чем сперва показалось. Я вижу сейчас в Кузьме и Ире больше общего и меньше различий. Оба очень рано сложились, медлили расставаться с молодостью, жили слишком широко, чтобы попасть в энциклопедию (попадают, большей частью, люди поуже, зацикленные на одной задаче). Оба умерли в



последний год молодости — 39 лет. И в этом есть что-то таинственно общее. Ира как-то умела подчинять себе кусочек жизни, в котором жила. Кузьма плыл по течению. Они оба оставались самими собой — больше нас всех.

Сейчас, кажется, только и остается, что быть самими собой — в большом течении, которое никто из нас не в силах повернуть. Мы все живем в доме, обреченном на слом, и будущему достанутся (если достанутся) только обрывки наших мыслей и чувств. Кто знает, что тут верно и что неверно, что считать победой и что поражением?

Году в 58-м или 59-м мы с Ирой читали дневники Венедикта Ерофеева (он оставил их Ириному сыну, а тот отнес нам). Мы оба думали, что талант Венечки, видный на каждой странице, гибнет от юродского решения вернуться в грязь, где остались товарищи и подруги по полярному поселку, не получившие золотой медали и не попавшие в Московский университет. Мы сделали бы все, что могли, чтобы отговорить от такой юродской соборности. Но Венечка (как его называл Володя), несмотря на приглашения, старательно не попадался Ире на глаза и гнул свое, чувствуя, быть может, «социальный заказ» поколения, погибавшего в пьянстве и свальном грехе...

Когда все кругом разваливается, этот развал не может не захватить личности. Иногда самый чуткий, самый ранимый погибает от общей болезни, которую другие как-то переносят, или становится юродивым. Впрочем, что это такое юродство? И вправе ли я на него смотреть со стороны? Почему современного человека тянет к юродству? Почему сейчас возрождается целое направление русской литературы, подпольное и юродское — движение не из Москвы в Петербург и не из Петербурга в Москву, а «поперек и в сторону» — как я подумал, читая «Прогулки с Пушкиным», а потом буквально прочел там, слово в слово: «поперек и в сторону»?

Недавно, в прачечной, мне предложили записывать полотенца не в бланк для *прямого* белья, а в *фасонное*; потому что администрация не в силах бороться с хищениями из цеха *прямого*. Я вдруг почувствовал краешек могущественного движения поперек и в сторону<sup>1</sup>. Всесильное государство шаг

---

<sup>1</sup> Это именно чувство. Логической обязательности здесь нет ни на грош.

за шагом отступает перед движением — не к правам человека и не к вере отцов, а к халтуре, пьянству и воровству. Неудержимое движение поперек и в сторону влечет к гибели народ, не сумевший отделить себя от государства, и государство, не способное отделить себя от народа. Подобно пожару Москвы, огонь медленного нравственного распада ведет нас если не к победе добра, то к поражению зла. Сравнительно с этим могучим процессом все наши споры — не больше, чем жужжание мух на рогах вола. И действительность, обрисованная Ерофеевым, есть не накипь, не затхлый проток, а именно фарватер русской истории. История развивается не по Сахарову и не по Солженицыну, а по Венедикту Ерофееву, т. е. юродски. И всякий человек, остающийся в России, втягивается в юродство. Разумным надо уезжать.

Я сам, может быть, кажусь странным, неразумным, юродивым или юродствующим. Помню, как Александр Воронель в 1974 году, когда мы встретились в Коктебеле, воскликнул: «Так пишите в каждом своем эссе о России, что автор — еврей и даже не еврей, а еврейчик». Я ответил, что с 1967 года примерно так и поступаю, и время от времени напоминаю читателю, с кем он имеет дело (потом такие упоминания цитировались как образец моего дурного вкуса).

Юродство — одна из форм свободы, продолжение своей собственной биографии в стране, где биография не допускается, а есть только послужной список. Юродство — это свобода китаецца (начиная с Чжуанцзы), свобода русского, от нищего на паперти до генералиссимуса графа Суворова-Рымникского. Есть какой-то высший разум, который иногда оправдывает и юродство. Личность, растущая из собственной сердцевины, очень часто безрассудна: чудак в Англии, юродивый в России. Рассудок стремится к стереотипу, как вселенная к тепловой смерти. Мир существует, потому что есть безрассудные противотечения. Есть люди с памятью своей первичной глубины. Есть люди с тоской по этой глубине — или хоть с «томлением по томлению», как выразился Мейстер Экхарт. Одни из них выживают, другие гибнут. Не в том дело.

Цель творчества — самоотдача,  
А не шумиха, не успех.  
Позорно, ничего не знача,  
Быть притчей на устах у всех...

Но:

... окунаться в неизвестность  
И прятать в ней свои шаги,  
Как прячется в тумане местность,  
Когда в ней не видать ни зги...

Жить, всю силу души вкладывая в свое сегодня,— ничего другого нам не остается. А завтра придет новый толчок изнутри.

1974—1980

Один из ближайших номеров  
журнала  
«РУССКОЕ БОГАТСТВО» —  
мемориальный  
(№ 3(7), 1994 г.)

**ЮРИЙ ТРИФОНОВ**  
**И**  
**ОЛЬГА**

**ОПРОКИНУТЫЙ ДОМ** — рассказы  
**ЗАПИСКИ СОСЕДА** — воспоминания о Твардовском  
**ПИСЬМА К МАТЕРИ В КАРЛАГ**  
**ДНЕВНИКИ НЕПИСАТЕЛЯ** — тетрадь в клеточку  
**ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ** — пьеса для чтения  
**ПОПЫТКА ПРОЩАНИЯ** — ТВОЯ ОЛЬГА  
**ИНТЕРВЬЮ. ПОРТРЕТЫ СОВРЕМЕННИКОВ**  
**РЕЦЕНЗИИ**  
**ПРОСТО НАБРОСКИ**

**ЮРИЙ ТРИФОНОВ** (1925—1981) — выдающийся русский писатель, оставил после себя богатейшее литературное наследство. Почти все его произведения печатаются у нас впервые. Но были и такие произведения, которые подвергались редакторской обработке, цензуре, выдиркам.

Теперь перед вами полные тексты, без каких-либо купюр, восстановленные усилиями вдовы писателя — Ольги Трифоновой-Мирошниченко.

# ОСТАНОВИТЕ

## Настасью Филипповну

### Часть I. Разговоры с отвернувшимся поколением

#### Все равно

Сейчас много говорят и пишут о том, как трудно быть молодым. А тридцатилетним? Молодые, если им повезет, попадут в колеи реформ. Тридцати-сорокалетние — уже сложились. И сложились в болоте.

Как раз лучшие, те, кого можно назвать солью своего поколения, закваской,— на все внешнее, на всякую деятельность махнули рукой. С несколькими такими людьми я дружу, пытаюсь передать им свое чувство равновесия внутреннего и внешнего. Но все это плохо выходит. Выходит на 5%, а 95% угля вылетает в трубу. Выходят разговоры, от которых жизнь не меняется, не собирается в пучок, как собирается она в любви, а если на миг соберется, то скоро опять рассыпается на прутики...

Наше поколение прошло через войну и террор. Большинство сломано, смято, но кто прошел, тот подсушен огоньком. А эти выросли в болоте и привыкли к болоту. Я пробивался через захваченность историей и обществом, они — сквозь отвращение к истории и обществу. Я — сквозь время, они — сквозь безвременье...

Читаю вторую прозу Ал. Давыдова «Сто дней»:

«Безвременье — чистейшее время: рассеялись тучи, рухнули воздушные замки. И одно предстояние оголенным небесам. И тут не может быть ошибок. Только преступление».

«Я ведь наигрываю на флейте безвременья. Нет ничего проще: нужно только губами проводить по затаенным крикам, и как оно может запеть! Как на клавишу, надо возлагать пальцы на всякого молчащего, на все молчащее. И эти ноты сольются в музыку, единственную, какой никогда не было и не будет. Хорал, возносящийся к оголенным небесам, которые сами себя стараются высмотреть в застойном болоте безвременья».

«Заказан мне путь назад и вперед. Только вверх, но воспарить трудно».

«Одни миги — уколы небес, а устремления, времени нет».

«Как, однако, любой миг безвременья открыт верхнему, как будто проколот небесным лучом...»

Воспарить, когда ноги в тине,— этого я не знал. В тине сидел, в 46—49-х годах. Но тогда и попытки воспарить не было, и задачи такой я не сознавал. Просто ждал, пока посадят. А когда очнулся — вспомнил чувство полета над страхом. И наткнувшись на стену, вырвался прямо вверх. Это не так просто сделать, как сказать, и не всегда удается; но все-таки проще, чем вытащить самого себя за волосы. Главное, что разгона нет, и кажется, что никак нельзя решить неразрешимую задачу, а значит, и решать не стоит, и остается только гнить,— как по дороге из Москвы в Петушки или в сумасшедшем доме (не случайное место действия трагедии В. Ерофеева и второй прозы Давыдова).

Конца эпохи поколение,  
Пришедшее собрать плоды,  
Видны на месте преступленья  
Твои следы.

И знаешь ты, что дело плохо,  
И ты рискуешь головой —  
Над умирающей эпохой  
Застыл конвой.

И рвешься ты и бьешь колени,  
О милосердии моля,  
Конца эпохи поколение,  
Судьба моя.

(Римма Запесоцкая)

Тупик. Болото. Клоака. И каждый сон это повторяет, как кошмар Блока (Ночь, Улица, Фонарь, Аптека): тупик. Болото. Смута, что бес вершит. Какие-то материализации духовной тины, облепившей ноги, и каждый взлет над ней — чудо.

Так и петляет дорога, все время по краю отчаянья, и на каждом шагу — «цепкие химеры» саморазрушения...

Бесконечно маленькая точка,  
Созданная в зоне мерзлоты,  
На огромном дереве листочка  
Нету беззащитнее, чем ты.  
Чуткая ко всем прикосновеньям,  
Раненная каждою бедой...

Герой безвременья — немой. Душа, в которой Бог знает что сошлось, клубится, мучает, — а голоса нет. Или если есть, то кляп во рту (и привычка к кляпу, как к части собственного тела)...

И хочется стать волшебником: вообразить подмости, на которых немая душа себя выразит, незавершенная — себя завершит; способность к большой любви встретит любовь, творческая сила раскроется...

Что мешает этому в жизни? Обстоятельства? Они и мне мешали — но ведь не помешали! Решает внутренний настрой, или, вернее, отсутствие настроя, какое-то безразличие. Как это назвать, подсказала Аня (имя, разумеется, условное). Зина (моя жена) ее спросила, почему муж не пошел в институт. Аня ответила (с обычным своим лаконизмом): «Мне стало все равно после университета, а ему — сразу после школы».

На меня пахнуло состоянием, которое я не совсем понимал. Хотя знал, что оно есть. Читал — в первой прозе Давыдова, под названием «Ноль». Читал у Битова, в «Пушкинском доме», про нулевого Льва Эдоевцева. Читал и отмахивался: не мое, не любят они ничего. И потому и я на них смотрю со стороны. Но на Аню я так смотреть не мог. В ней было что-то родное. И совсем нетрудно было ей «воспарить». Напротив, очень легко. Только она воспаряла и падала. Не держали крылышки. Наверное, много раз падала, прежде чем сказала «все равно»...

Мне захотелось продумать Анино «все равно», как я ко-

гда-то продумал слова о «пене на губах». Но понять в моем деле — значит почувствовать, окунуться в то, о чем думаешь. Значит — окунуться в нулевость?

Я проходил через нее. В чем же разница? Я проходил, не задерживаясь. Примерно как в обрядах инициации. Не усаживался на берегу Стикса, не кипятил его воду и не заваривал в ней чай. Эвклидов разум, отброшенный в созерцании, оставался у меня под руками. Я как бы разувался, чтобы перейти Стикс, а потом обувался снова и шел дальше обутым, вооруженным здравым смыслом и волей и мог ходить на службу с аккуратностью Иммануила Канта. Почему Аня и люди ее склада так и остались в невесомости, плавали в невесомости?

Безвременье не все может объяснить. Целое поколение выросло в болоте. Но ведь не все чувствуют себя в невесомости. Большинство поварчивается, но по сути довольно. В чешском анекдоте пан Рабичек подал в газету объявление: меняю великую эпоху на маленькую. Спокойнее, проще жить. Сладко спится. А проснувшись, можно выпить и снова заснуть. Донашивая старые лозунги и понемногу привыкая к новым старым обычаям (сороковины, девятины)... В нулевость окунулись только те, кто с самого начала спал беспокойным сном, тревожно и чаял пробужденья. Поэтому сразу выношу за скобку тех, кто искал душевного комфорта и нашел виноватого во всех несчастьях и улегся на новой подушке (религиозной или национальной). «Все равно», которое мне хочется понять, это не массовое явление, а какая-то дырка в массовых процессах, прореха в истории.

### Эпидемия

Врачи считают безразличие к социальным и историческим целям вялотекущей шизофренией. Но, насколько я знаю, эпидемий шизофрении не бывает, а «все равно» — что-то вроде эпидемии. В средние века были чума, черная оспа, холера; а сейчас — рак, диабет, и — «все равно». Что-то похожее происходило в позднем языческом Риме. Все, что отцы считали важным и достойным, для детей стало все равно. Плевать. А потом система ценностей перевернулась вверх ногами. «Мы поклоняемся виселице, — сказал Тертул-

лиан,— ибо это постыдно; мы чтим повешенного, ибо это позорно; мы веруем, ибо это бессмысленно». (Тертуллиан говорил о кресте и о Распятии, но тогда это были просто виселица и повешенье. Поворот только начался.)

Равновесие здесь и там, нарушенное в сторону здесь, резко перекашивается в противоположную сторону. Становится важным только там. Какое «там»? Это у каждого свое. Поиски подлинности могут происходить в формах христианской апокалиптики или йоги, как чаянье жизни будущего века или нирваны, мечтательный уход в небесный Иерусалим, или в Гималаи, или просто в бега, в бродяжничество, в великий путь без цели и нравственных обязанностей. В прошлом одних привлекала к молитве гора, других — храм. Но так или иначе, влекло — туда. И можно помнить ответ Христа самарянке: будете молиться не на горе и не в храме, а в духе и в истине. В которых внутреннее и внешнее, здесь и там — в одном неразрывном клубке.

Сознание, чрезмерно ориентированное на «здешнее», не выдерживает кризиса земных целей. Оно опрокидывается, выворачивается наизнанку — или погружается в алкогольный туман.

В такие эпохи много пьют. Одни — чтобы лучше спать. Другие — чтобы во сне — безо всякого усилия — испытать пробуждение. Вольному воля, а пьяному рай. И обострившееся желание рая нельзя упразднить, ограничивая продажу водки. Если не водка, так наркотики. И когда наркоманов лечат, они спрашивают: чем вы это замените? Чем заполните пустоту?

Действительно, чем? Усердным трудом? Но зачем трудиться? Зачем вкладывать душу в науку и технику, если развитие науки и техники и без того уже обогнало нравственное развитие человечества; если (говоря марксистским языком) производительные силы стали разрушительными силами? Они и раньше годились для разрушения, но на уровне сельской кузницы этим можно было пренебречь и даже рассуждать, что война, в конце концов, помогает прогрессу техники; а сейчас прогресс дошел до того, что от него деться некуда. И техника готова сплясать танец Шивы на наших трупах.

Исторический оптимизм становится абсурдом, и Радженш говорит толпе хиппи: человечество непременно погибнет; напрасно пытаться остановить неизбежное; но можно



уйти от гибели внутрь, в бессмертный атман. Идея освобождения от эго, прыжка из времени в вечность, буквально овладела массами (молодых интеллигентов) и стала материальной силой. Один знакомый студент так прямо и спросил меня: как избавиться от эго? Словно речь шла о больном зубе и я, как опытный человек, сразу дам ему телефон зубного врача.

Само по себе это прекрасно. Если бы каждый сотый — нет, тысячный или даже десятитысячный человек достиг уровня Кришнамурти (или, если Вам не нравится Кришнамурти, уровня христианских святых), — человечество избежало бы катастрофы. Но массовое производство святых — такая же утопия, как создание идеального общества с нынешними людьми. Освободиться от эго — значит, примерно говоря, стать буддой. Гаутама, прежде чем поставить себе такую задачу, прошел через сотни перерождений. Хотите — примите это буквально; хотите — толкуйте как метафору огромного духовного опыта, равносильного сотням обыкновенных жизней. Я чувствую своей задачей нечто другое, гораздо более скромное: научиться узнавать пробуждение, пережитое другими, и не смущаться, если оно выглядит странно, непривычно, облечено в неожиданные и неловкие слова. Что же делать другим, неспособным и на это? Я думаю: соблюдать заповеди, доступные сердцу, и не судить о том, что им еще не открылось.

Однако есть меньшинство, которое живет на грани открытия. Если принять метафору мистиков (обыденное сознание — сон), это меньшинство спит тревожно, мучительно — от кошмара к кошмару — и не может не ставить себе неразрешимую задачу. Неразрешимую, потому что во сне невозможно найти выход из сна; из невесомости, из нулевости не вырваться без собранности и воли, которые в нулевости пропадают, теряются.

Пробуждение — благодать, ее нельзя вырвать волей, усилием, но можно приготовить себя к благодати, проложить к ней дорогу. В этом смысле «царство Божие силой берется». И вот наше поколение имело силу, но не ставило себе нужной цели. А дети поставили себе цель, но как-то мечтательно, несобранно... У каждого это выглядит по-своему, но есть что-то общее, идущее от времени. Несколько поколений (из которых наше — последнее) завершили свой подвиг прыжком в утопию (или — на Западе — в экологический кри-

зис). И дети отказались от своего фаустовского наследства. «Холить добро? — спрашивает Давыдов — Холить его — значит загубить. Вспомни, как мы прежде суетились. Глубоко и истинно. Как мы поторапливали благо. Удобрляли почву навозом и химикалиями. Что взросло? Одна тоска».

Дети выросли в отвращении к делу. Одни просто бездельничают и оглушают себя джазом. Другие (у которых не скука, а тоска) бегут от пошлого шума, хотят внутренней тишины и силы. Но поворот духа внутрь, от горизонтали (вовне) к вертикали (вовнутрь), к различению глубины, к движению с поверхности вглубь — это практическая задача, и невозможно выполнить ее при апатии воли.

### Диалектика «все равно»

Когда Моцарт привел в таверну слепого скрипача, коверкавшего его музыку, Сальери возмутился:

Мне не смешно, когда маляр негодный  
Мне пачкает Мадонну Рафаэля.  
Мне не смешно, когда фигляр презренный  
Пародией бесчестит Алигьери.

Ему это не все равно. А Моцарту — все равно. Пусть коверкает. Смешно — и только. Чем выше подымается человек, тем больше ему все равно. И на последней вершине остается только одно не все равно:

Мир лишь луч от лика друга.  
Все иное — тень его.

(Гумилев. «Пьяный дервиш»)

Все материальное, вешное — ничто. И можно почувствовать Бога, можно почувствовать бесконечность бесконечностей через это ничто. Но еще один шаг — и вы соскальзываете в пропасть. При каком-то несчастном повороте духа и Бог попадает во все равно. Сперва все равно, кроме Бога (или чего-то неназванного, как в буддизме), а потом — где оно, это неназванное?

Есть прекрасное стихотворение Марины Цветаевой:

Тоска по родине! Давно  
Разоблаченная морока!  
Мне совершенно все равно —  
*Где* совершенно одинокой

Быть, по каким камням домой  
Брести с кошелюю базарной  
В дом, и не знающий, что — мой,  
Как госпиталь или казарма.

Мне все равно, каких среди  
Лиц — ошестиниваться пленным  
Львом, из какой людской среды  
Быть вытесненной — непременно —

В себя, в единоличье чувств.  
Камчатским медведем без льдины  
*Где* не ужиться (и не тшусь!),  
*Где* унижаться — мне едино.

Не обольщусь и языком  
Родным, его призывом млечным.  
Мне безразлично — на каком  
Непонимаемой быть встречным!

(Читателем, газетных тонн  
Глотателем, доильцем сплетен...)  
Двадцатого столетья — он,  
А я — до всякого столетья!

Остолбневши, как бревно,  
Оставшееся от аллеи,  
Мне все — равны, мне всё — равно,  
И, может быть, всего равнее —

Роднее бывшее — всего.  
Все признаки с меня, все меты,  
Все даты — как рукой сняло:  
Душа родившаяся — где-то.

Так край меня не уберег  
 Мой, что и самый зоркий сыщик  
 Вдоль всей души, всей — поперек!  
 Родимого пятна *не* сыщет!

Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст,  
 И все — равно, и все — едино.  
 Но если по дороге — куст  
 Встает, особенно — рябина...

Стихотворение всегда заряжало меня энергией. Словно ток пустили. Захватывало героическое одиночество поэта, идущего от шума рыночного — к деревьям, к молчанию куста, к памяти детства. Жизнь замыкается в кольцо, и трагическая рябина тридцатых годов возвращает к изначальной, нерушимой:

Красною кистью  
 Рябина зажглась.  
 Падали листья.  
 Я родилась.

Спорили сотни  
 Колоколов.  
 День был субботний:  
 Иоанн Богослов.

Мне и доньше  
 Хочется грызть  
 Жаркой рябины  
 Горькую кисть.

(«Одно из моих самых любимых, самых *моих* стихов», — писала об этом Цветаева в том же 1934 году, в год «Тоски».) И обе рябины, сливаясь, пылают, как неопалимая купина.

И вот то же самое стихотворение Марина Цветаева читала за несколько дней до самоубийства, уже внутренне готовая к петле — с очень маленьким изменением: без последней строфы. Выпал знак Божьего присутствия — рябина, — и вдруг нечем дышать. Зона «все равно», разрастаясь, поглотила все. Осталась одна пристань — смерть.

Уловить этот переход естественного и необходимого «все равно» в злокачественное «все равно» очень трудно. То, что сейчас резко снизился ранг *всего* исторического и социального, нельзя оплакивать. Слишком этот ранг был завышен. Прекрасно, что историческое величие перестает обелять в наших глазах жестокость и низость. Но вот один молодой человек рассказывал моему другу: он читает «Архипелаг» равнодушно. Это — история. Это прошлое. И оно так же мало его задевает, как стрелецкие казни, Варфоломеевская ночь или взятие Дели Тимуром. Какое ему дело до всего этого?

А что же важно? Что можно прочесть не равнодушными очами? Где на дороге наш куст рябины? Временное рухнуло, а вечность — где она?

Переоценку ценностей можно сравнить с выходом из притяжения Земли в космос. Где-то есть другая планета, и, если повезет, вы почувствуете знакомую тяжесть. Но пока что — состояние невесомости. Человек оказался не просто *лишним* (как герои Тургенева), а совершенно беспочвенным. Не только в социальной, а в метафизической и религиозной невесомости. Достоевский это понимал. Иногда ему, впрочем, казалось, что можно вернуться назад. Эта иллюзия и сегодня многих захватывает. Светлое прошлое ничуть не худшее снотворное, чем светлое будущее. Но я пишу о людях, которым плохо спится. Они, может быть, крестились, но состояние блаженной уверенности в последних вопросах им недоступно. Напряженная внутренняя жизнь постоянно ставит под сомнение все чужие слова. Беспочвенные люди смутно чувствуют, что истина, которая им нужна, вообще не в словах, а где-то между строк и ни в каких словах не может быть членораздельно выражена, а только открыта изнутри. Но как дойти до своей глубины, беспочвенный человек не знает, и часто даже сознание задачи приходит к нему лет через десять... А иногда — и вовсе не приходит.

### Беспочвенные и опростившиеся

Выскальзывание из сложившегося порядка вещей идет очень бурно, и не все продукты полураспада — беспочвенные

люди. Есть другая, не менее многочисленная группа — *опро- стившихся*.

Вот письмо, которое я получил от одного из своих молодых друзей. Я ничего не сокращал (все многоточия — его собственные). Наоборот — вставил (в квадратных скобках) несколько фраз из устного рассказа.

«1977 год, я закончил вечернее отделение... мне нравилось программировать... все было хорошо, и эта реальность казалась мне единственно возможной.

Потом из Ленинграда приехал брат...

В полный голос  
 Любовь проснулась проворной зарей  
 И так ослепительно вспыхнула,  
 Что мозг на своем чердаке  
 Не решился признаться ни в чем...

...Больше ничего я не помню из нашей беседы, когда мы бродили по старому городу. Потом проходили дни, во мне что-то переменялось.

С братом мы долго не виделись, может быть, полгода. Вдруг я узнаю, что он в дурдоме, попытка самоубийства. Когда я пришел навестить его, он был мрачен и твердил фразу какого-то француза: «Умереть — значит жить»... Или «умирать и значит жить»... Я не приходил к нему, пока он сам не попросил меня прийти... Брат улыбался! Да, он улыбался блаженно, лучезарно. Это исходило из всего его существа и не имело причины!

«Все знают, как полезно быть полезным. Никто не знает, как полезно быть бесполезным...». Я люблю эти слова, я обожаю эти слова. Лаковое дерево срубают оттого, что оно полезно. Все знают, как полезно быть полезным. Никто не знает, как полезно быть бесполезным...<sup>1</sup>

А потом вдруг Уитмен:  
 Женщины сидят или ходят, молодые и старые.  
 Молодые красивые, но старые красивее.

<sup>1</sup> Из книги Чжуанцзы. — Г. П.

Я не понимал,— проходили дни, недели. И однажды я возвращался ночью. Осень, но дождь был теплый. Маленькие, покосившиеся от дождя домики блестели от дождя, асфальт..., и я промок, и одежда на мне блестела... и тут я и домики и асфальт перепутались и мои губы медленно произнесли:

Женщины сидят или ходят...

В сентябре я познакомился с женщиной. Ей нравились собаки. Наверное, я все время думал об этом, и в один дождливый вечер я увидел пса, мокрого, дрожащего, голодного. Я стал ходить по столовым, но было поздно... На другой день я пришел с братом и взял собаку домой. Я назвал ее Джо...

Я читал вслух Евангелие от Матфея, тихо слушая Первый и Пятый Бранденбургские концерты. Музыка помогала мне читать. Слушали она и Джо. А потом все разрушилось. Джо был болен чумкой и умер... Но слова книги, то состояние, которое было, когда я читал, я не мог забыть. И следующим летом я еду в Загорск, чтобы достать Четвероевангелие. Я его не достал, но на обратном пути остановился у друга, и мне дали «Основы дзэн-буддизма» Судзуки. Я раскрыл книгу, я прочитал только несколько страниц. И я знал, что я уйду. Уйду с работы, уйду из тех имен, которые мне дали другие... Все получилось так просто. В ноябре 78-го года я работал кочегаром на угле:

Как сверхъестественно!  
Как чудесно!  
Я таскаю воду,  
Я подношу дрова<sup>1</sup>.

Я был счастлив. Чем чернее была моя кожа, тем блаженнее было ощущение чистоты тела, ко-

<sup>1</sup> Слова китайского поэта Пан Юня, передающие чувство вечности во времени. — Г. П.

гда я смывал угольную пыль. И летом 79-го я первый раз поехал на Кавказ [провел там месяц, не почувствовал гор. Тогда поехал еще раз — на зимовку. И вот когда снеговой покров дошел до полутора метров, я почувствовал горы, я вошел в них]».

Многие молодые люди бросают лестницу образования, профессиональных статусов — и ни о чем не жалеют. Я их понимаю. Сложности современной цивилизации настолько разрослись, что, если не отшвырнуть их, для жизни души просто не останется места. Живешь, как водитель в часы пик, следишь за светофорами, за соседними машинами — и постепенно теряешь цель поездки. Разница только в том, на каком уровне отшвырнуть лишнее. Я отшвыриваю газеты, радио, телевизор. Можно отшвырнуть и побольше. Личное развитие, проигрывая в широте, выигрывает в цельности. Я знаю таких людей, они иногда ко мне приходят, прочитав мою не напечатанную, но пошедшую по рукам диссертацию. Социально — это свободные атомы, но метафизической беспочвенности здесь нет. Никакого пропада в безднах. Никакого плаванья в пустоте. Просто человек настоял на том, что его радовало, и отказался от всего, что мешало.

Автору письма, которое я привел, любовь к красоте дала призвание: научился делать поразительные снимки. Из-за художественной фотографии изменил образ жизни. Теперь семь месяцев сидит на месте, работает в городе истопником, печатает свои фото, а с мая по сентябрь — вольная птица. Снимает не только природу — и людей, тех, которые ему нравятся. О каждом может рассказать целую историю. Попадают удивительно симпатичные лица: женщина, которая после обычной семейной катастрофы шесть месяцев молчала, — пока в ее молчание что-то не вошло (ей показалось, что река, на берегу которой она стояла, течет через нее и вливает в нее силу); молодой мужчина в очках, сфотографированный вместе с женой; оказалось, что она — калека, не владеет ногами, он ее буквально носит на руках, и нигде Сема не встречал такого духа любви, счастья, как в этой семье. Я назвал Сему Античичиковым, охотником за живыми душами. Своими фотографиями он дал мне почувствовать много родников живой жизни, тихо текущих по укром-



ным углам. Но есть и лицо наркоманки, накурившейся до одури, и лицо человека, заикленного на политической страсти... Целый мир.

У опростившегося человека могут быть конфликты с обществом, но в них нет трагической необходимости. Например, на одной из горных зимовок погиб человек (провалился в трещину), и Сему с товарищем обвинили в убийстве; потом отпустили. Могли бы и не отпустить. Многое здесь зависит от случая. Если повезет, гармония вполне возможна. Условие ее — бегство не только от общественных институтов, но и от общественной мысли, от мучительных проблем XX века и всякого века. Опростившийся человек лишен «опасного тщеславия быть спасителем»<sup>1</sup>, он предоставляет шариком вертеться куда угодно, а сам живет поближе к природе и подальше от бездны религиозного и философского сознания. Все страшное отталкивает его вместе со всем искусственным. Легковые автомобили (собственные или такси — все равно), наркотики и громоздкие интеллектуальные конструкции одинаково ему противны. Опростившийся — это здоровый человек, бежавший от чумы.

У беспочвенных все гораздо сложнее и неразрешимее. Чума — в них самих. Развязаны силы, рушащие всякую гармонию — кроме самой высокой, которой не просто достичь. Хочется взлететь, «воспарить», но крылья слабы, не развиты. Падение следует за падением. Наваливается невыносимая тоска, неспособность примириться с обыденной жизнью, с самими собой, нынешним, несостоявшимся. Опростившийся человек неуязвим, как Кандид, возделывающий свой огород. Беспочвенный — раним, как Аркадий Долгорукий (герой «Подростка»). Эта ранимость может быть прикрыта, спрятана, но она всегда прощупывается. Беспочвенные люди знали отчаяние и искушение самоубийства. И в то же время им снятся чудесные сны, то тревожные, то влекущие, похожие на волшебную сказку и на кошмары Босха. Словно во сне им приоткрывается рай и ад. Словно их зовут куда-то, но куда? Непонятно. Это, впрочем, требует особого рассказа — о каждом в отдельности. Сумею ли я это сделать? Не знаю. А пока — вот этот набросок.

<sup>1</sup> Слова С. Цвейга о героях Достоевского.

## Часть II. Воображаемые сцены и истории

### Встреча

— После каждой такой экскурсии,— сказала Аня,— я хуюдею...

Группу никак не удавалось захватить, и только постепенно выделилось несколько пар глаз, от которых она старалась не отрываться. Но иногда натыкалась на другие — лениво холодные, скучающие, насмешливые; и тогда сразу перехватывало дыхание. Когда все кончилось, Аня была близка к обмороку. Делать свое дело профессионально, чуть отчужденно, не раскрываясь до конца, не выкладывая душу и не подставляя ее под плевки, она никак не могла научиться. И это именно захватило Игоря, Руфь и еще несколько человек. Руфь подошла к Ане, обняла ее... Потом Погосовы (дождавшиеся Аню, подписывающую наряд шоферу) повели ее к себе.

— Вы никогда не были на сцене? — спросил Игорь, когда Аня напилась чаю.

— Почти нет. Сыграла одну роль.

— И как сыграла?

— Мучилась.

— Но все-таки получилось?

— Да, в конце концов... Вы видели, как я вожу экскурсии. На сцене было еще труднее.

— И вам никак не хочется к этому вернуться?

— Нет, нет!

— Жаль... Жаль, что я не встретил вас несколько лет тому назад. Когда у меня была студия. Я уговорил бы вас помучиться вместе с нами. А сейчас все отняли. И все-таки я очень хотел бы поставить с вами Настасью Филипповну.

— Настасью Филипповну?.. То есть «Идиота»?

— Ну да, но с акцентом на Настасью Филипповну. В романе слишком много материала для постановки, и надо выбирать. Я видел «Идиота» с упором на Рогожина; играл гениальный актер, и это потрясло. А Настасьи Филипповны, настоящей Настасьи Филипповны еще не было. На самом глубоком уровне не важно, что Настасья Филипповна —

женщина, обольщенная Тоцким и так далее. Это Дева-обида, восставшая в силах Дажьдбожья внука! У Айтматова его идеальный герой, Авдей Каллистратов, сталкивается с мерзавцами, и мерзавцы его распинают. Но Христа травил Савл — будущий апостол Павел. И князя Мышкина довели до безумия не мерзавцы (не Лебедев, не Келлер), а Настасья Филипповна, Аглая, Рогожин. Мир переполнен огромными обидами. Они требуют отмщения. Пострадавшему человеку все позволено, и он это знает и позволяет. Останавливать его смертельно опасно. Мышкин пытался — и погиб. Но если не остановить обиженных, то мы все погибнем. И поэтому — попытаемся с вами еще раз остановить Настасью Филипповну. Вы меня поняли?

— Да, я понимаю. Но... — Аня немного помолчала, — сумею ли я остановиться?

— Не сумеете. Я это угадал. И именно поэтому Настасья Филипповна — ваша роль. Попытаемся сделать невозможное.

— Но она — красавица!

— Не больше, чем вы. Когда душа выплескивается наружу, вы как раз такая, как надо.

— Игорь, это не слишком? — спросила Руфь. — Взгляни на Аню глазами Тоцкого. Что он нашел в Настеньке?

Игорь минуты две молчал, думал. Потом глаза его блеснули: Настенька... Ей 12 лет, 16 лет. Прелестный ребенок. Тоцкий загляделся, как кот на птичку, подкрался и схватил в зубы. А Настасье Филипповне — 25. Выгрызли кусок сердца, но не до смерти, как настоящий кот, поймав ласточку, а по-человечески, духовно. Она живет с полувыеданным сердцем. Ее все время лихорадит. То вспыхивает, то гаснет. У Достоевского красота всегда так: то вспыхивает, то гаснет. И именно эта вспышка красоты, вспышка изнутри должна спасти мир. А постоянная красота — это у Тургенева. Для него Венера Милосская несомненное принципов 1793 года. Статуя: смотри со всех сторон, спереди, и сбоку, и сзади. При любой погоде красива. А у Достоевского — нет. У Достоевского не земля, не вода, не воздух — только одна стихия: огонь! Тоцкий встретился с Настенькой, а от Настасьи Филипповны не знал, как отделаться. Ему огонь ни к чему.

— А Рогожин?

— Рогожин не анализирует красоту. Тоцкий эстет, ему важны линии, пропорции, а Рогожину плевать, что нос кривоват. Он его и не видит. В него воткнулись два глаза, как два кинжала, и он ходит с этими кинжалами в груди, вынуть не может — кровь хлынет. И жить с ножом в груди невозможно. Оострие все время касается сердца, еще миллиметр — умрешь! Тут в самом деле можно зарезать, чтобы окончить муку.

Аня слушала, опустив глаза. Потом спросила Руфь:

— А вы думаете, я не подхожу?

— Нет, что вы! — ответила Руфь. — Но мне хотелось проверить, как на вас — на Настасью Филипповну — будут смотреть люди. Вы ведь в этой роли должны поражать с первого взгляда.

— Ничего, поразит, — снова вмешался Игорь. — Сперва не поразит, а потом как раз и поразит. И все удивятся, как они раньше не видели. Глупые люди умеют только глотать готовую, выложенную на тарелку красоту. А мы втянем их в создание красоты. Мы им покажем, что *становиться* прекрасной — это гораздо выше, духовнее — и реже, чем очевидная красота. Красоту на тарелке можно захватить или купить. А вспышку красоты нельзя вызвать ни за какие деньги. И это, может быть, одно из главных чудес: найти Золушку и обуть ее в хрустальные башмачки. У кого есть в кармане хрустальный башмачок, тому очевидная красота, красота в зеркале не нужна. Ему нужна красота, которую нужно спасать. И когда Достоевский говорил, что мир красота спасет, он имел в виду именно такую красоту, которую самому надо спасать. Именно эта спасенная красота, просиявшая изнутри, спасет. А не красота Одинцовой, которой Тургенев стукнул Базарова, как Венерой Милосской — принципы 1793 года. Очаровывает чудо. До вспышки торчит нос, или скулы, или подбородок — и вдруг ничего этого нет, только целое, смысл лица, жизнь глаз... Мне именно хочется показать, что Мышкин видит внутреннюю красоту, красоту Настасьи Филипповны. А для этого аккуратно красивого лица не нужно. Пусть Аглая будет всегда прекрасной, и зритель подумает: насколько она лучше! А потом озарится лицо Настасьи Филипповны, и куда перед ней Аглае!

— Вы ему верьте, Анна Александровна, — сказала Руфь. — Он даже меня делает красивой...

## Руфь и Игорь

Несколько лет тому назад Игорю Аветисовичу посоветовали Руфь как очень грамотную, даже интеллигентную машинистку. Иногда она приносила работу на дом. Один раз, перепечатавая эссе о Достоевском, задала вопрос: почему Достоевский отдал Ставрогину свой символ веры? Разве человек, для которого Христос выше истины, может — с Матрешей?

Игорь не сразу нашелся, что ответить. Разговор вышел длинный и перешел на стихи, которые Руфь писала. Сперва она попросила разрешения прочесть одно стихотворение как реплику; Игорь захотел послушать еще и потом еще несколько раз...

Потом случилось несчастье. Неожиданно — на операционном столе — умерла мать. В похоронном автобусе Игорь поднял глаза — натолкнулся на глаза Руфи — и целую минуту не мог оторваться, столько там было сострадания. И всю дорогу он возвращался к глазам Руфи, держался за ее взгляд, как за соломинку. Соломинка не ломалась. С этого все и началось. Начались странные вещи. Руфь стала красивой. Игорь моргал глазами, не призрак ли это, но красота снова и снова возвращалась. Она рождалась от его собственных благодарных глаз, не забывших, как лицо Руфи расправилось и засияло там, где слезы смывали краску и женщины становились похожи на мокрых птиц.

Неловкая, скромно одетая, Руфь в иные минуты вся светилась. Потом приходили гости, блестящие, талантливые, и она сжималась в углу. Там она могла весь вечер промолчать, но оказалось, что все она слышала и про каждого могла сказать, кто чего стоит, — только не хотела об этом говорить, ставить человека на место. Зачем? Пусть стоит, где ему хочется.

Как-то Игорь стал объяснять, кто есть кто, — и она его поправила. Блестящие собеседники под ее взглядом оказались голыми, и выходило так, что лучше и не подходить к ним слишком близко, а так и сидеть в углу.

— У вас как будто рентген в глазах, — сказал Игорь. — Не надо перемывать косточки, вы их видите сухими.

Он был так откровенно восхищен, что Руфь отважилась

на целую речь и сказала, что великое всегда нелепо, то есть кажется нелепым. Начиная с Распятия. А то, что блещет... Только сатанинское может свободно воплощаться на земле. Только оно блещет одновременно талантами, здоровьем и красотой. А светлая духовность всегда как бы недооволощена, всегда несет на себе печать страдательности. И эта искаженность, недооволощенность не только телесная, но и духовная...

— Ну, а я? — спросил Игорь. — По вашей теории, все мои работы непременно должны быть запрещены или провалиться. Почти так и было. Запрещали. Ну а если была удача, то не обошлось без нечистого? Так? Зачем же я стараюсь?

Руфь смешалась. Она не могла ответить ни да, ни нет. И пока думала, как свести концы с концами, Игорь Аветисович продолжал:

— А Моцарт? И ему помогал дьявол?

— Я не говорю об исключениях, — ответила наконец Руфь. — У Моцарта была очень короткая жизнь. А потом его похоронили неизвестно где, в братской могиле. И у вас были удачи и будут еще удачи, но такого успеха, которого вы ждете, не будет никогда.

— А у вас никогда не будет счастья?

— **Никогда.**

— А если я очень, очень буду об этом думать?

Руфь взглянула на него и закрыла лицо руками. Когда она опустила их, Игорь сказал: вы правы. Врачи вынесли мне смертный приговор условно. Среди условий есть такие, которые очень мешают счастью. И все равно, больше десяти лет они мне не дают, даже если я буду жить, как премудрый пескарь. А я так жить не хочу.

— И не надо, — прошептала Руфь.

С полминуты или минуту они молча глядели друг на друга.

— Я правильно вас понял? — спросил Игорь.

— Да, — ответила Руфь. И потом, торопясь, добавила: — Но я скорее всего не смогу, я сама очень больна и не хочу быть в тягость. Я один раз уже отказалась от этого...

Они опять посмотрели друг на друга.

— Тогда, наверное, надо было отказаться, — сказал Игорь. — А сейчас — не надо.

Руфь опустила голову на руки и заплакала.

## Сны Руфи

Руфь кричала во сне, и Игорь разбудил ее. Потом они вместе стали молиться. Раньше, когда она молилась, он думал что-то свое, и это ей мешало: она чувствовала, когда он не с ней. Игорь тоже попытался молиться, и это у него пошло: внутри что-то стало раскрываться. Хотя никакой определенной религии у него не было, так — какое-то интуитивное чувство, что там что-то есть, что-то совсем другое, не лезущее ни в какие слова. Но почему-то некоторые слова раскрывали это что-то, и Руфь немедленно чувствовала его (хотя он никогда не молился вслух). Какие-то слова, какие-то заклинания настраивали душу. Иногда одни слова, иногда — другие. Но когда в сердце что-то начинало расправляться, Руфь почти всегда это чувствовала, и он помогал ей лучше всяких лекарств. А без Руфи, независимо от желания помочь ей, Игорь редко молился. Разве на кладбище...

На кладбище почему-то всегда хотелось молиться. Кого бы ни хоронили. На кладбище, на отпевании, на поминках. И иногда сразу за всех мертвых. А в обыденной жизни, без прямого столкновения со смертью, его заставляла молиться Руфь, то есть не то чтобы она сама, а ее состояние, из которого выводила молитва. Молитва и присутствие Руфи помогали друг другу и как-то окрашивали друг друга.

Утром Игорь пошутил: черти мучают по ночам людей, которых им не удастся водить за нос днем. Например, святого Антония. Чем больше святости днем, тем больше чертей ночью. От этого, наверное, святые чувствуют, что они хуже всех.

— Не знаю,— сказала Руфь.— Нет, наверное, не в этом дело. То есть главное не в этом. Когда я чувствую, что я хуже всех, это правда. Она откуда-то изнутри.

Игорь подумал — и вспомнил свой сон или полусон (это мелькнуло у него при полузакрытых глазах, не в крепком сне). Ночные сны он забывал. А это было как видение: я в раю (вроде большой комнаты), но сижу у самого порога, и все лучше меня; я этому радуюсь и хочу всем служить. Потом мелькнула мысль, что есть ведь и хуже меня. И сразу же стена рая стала раздвигаться, и я чуть не соскользнул в ад...

— Нельзя думать, что есть хуже меня,— сказал он

вслух.— То есть нельзя сосредоточиваться на этой мысли. Если сосредоточишься, то окажешься на дороге в ад. Это я понимаю и чувствую. Но — как бы это сказать? — объективно ничего не меняется. «Я хуже всех, с кем мне хочется себя мерить». Я повернут к тем, кто лучше меня. Я соизмеряю себя с ними. Это моя установка. Не хочу сравнивать себя с теми, кто еще хуже. Это пошлое занятие. Однако для кого-то другого я сам попадаю в лучшие. Это его установка. Это его личная истина. И для меня ты не хуже всех, а лучше.

Руфь молчала.

— Позволь мне задать тебе глупый вопрос. Ты работала машинисткой и тебе дали перепечатать отклик: мы вместе со всем народом клеймим отщепенца Сахарова. Ты схватила пальто и убежала. Другие машинистки тоже отказались печатать. Хотя сами по себе они бы не взбунтовались. Начальство оказалось вынуждено печатать одним пальчиком, и назавтра тебя очень хмуро встретили. Ты подала заявление об уходе...

Руфь улыбнулась. Она вспомнила смешную деталь — несколько лет спустя одна из ответственных дам сказала ей: «Как же, мы помним ваш благородный поступок...»

— А в монастыре? — продолжал Игорь.

— Зачем об этом? Я ведь все слишком помню...

— Нет, позволь, мне почему-то хочется излагать все по порядку, как в суде. У тебя было рекомендательное письмо, и заведующая музеем открыла закрытый собор, осветила фрески. После пошли пить чай к заведующей гостиницей. И тут полилось: «Я ни одного человеческого лица не видела целый месяц, — сказала первая заведующая. — Одни евреи». Ты пропустила это мимо ушей. А они считали тебя своей и совершенно распоясались. Кончилось тем, что ты ушла, сославшись на головную боль, и пешком, не дожидаясь машины, побрела на станцию железной дороги. Теперь объясни мне, кто из вас на самом деле хуже. Отвлекаясь от твоей установки — избегать пошлых сравнений.

— Я вижу прежде всего свою вину, — ответила Руфь, — Мне надо было сразу прекратить этот разговор, а я смолчала. И потом не сумела выйти из положения, которое становилось все более и более фальшивым. Головная боль спасла, я бежала, но это тоже было плохо. Я бежала от своей



задачи, я не обличила подмены любви ненавистью. Будто бы ради Христа. На мне часть вины, что эти женщины все больше погружались в свое искушение... вот то самое, о котором мы говорим: считать себя лучше всех сравнительно с теми, кого они считали хуже. И в конце концов они так жалели, так жалели себя, бедных, что спились. Начали с попытки создать что-то вроде тайного монастыря, а потом заливали вином жалость к самим себе. Я увидела начало всего этого и не подумала о них, а только о своей обиде, и бежала от совета нечестивых. А если бы я не обиделась за себя, я могла бы их спасти. Могла — и не сделала. Убежала.

— И все-таки, кто хуже?

— Не сравнивай,— ответила Руфь.

— Но ведь в словах «хуже всех» есть сравнение. Не просто плох, а хуже всех.

— Главное сравнение — внутреннее...

Игорь задумался. Что же внутри? Божья воля? И мерить надо с нее, то есть степень отступления от Божьей воли? И чем больше в меня вложено Божьей воли, тем больше делается самый малый грех?..

А в самом деле, разве червяк грешит? Он безгрешен. В нем так мало Божьей воли, что и спрашивать нечего. С собаки можно спрашивать, хорошая собака чувствует свою вину. И человек тем больше чувствует, чем он ближе к ангелу. В святом грех делается совершенно невыносимым. Не только для него самого, не в нем дело, а для Бога. И святой чувствует, как он мучает Бога. В этом все дело. Я не чувствую, а он чувствует.

«Что-то похожее и в отношениях между людьми,— продолжал думать Игорь.— Нахамят в магазине, и через пять минут забываю. А самый маленький сдвиг интонации у меня, у Руфи — и нам обоим долго больно. Бог острее чувствует тех, кто впустил его в себя, кому он открылся. И выходит, что больше всего Бога мучают святые...»

Руфь, как будто угадав его мысли, заговорила:

— Мне, сравнительно с этими женщинами, больше дано. Я ведала, я сознавала, что грешу, и продолжала грешить, тянула эту неловкость целый час. А они просто ослепли от гордыни и ненависти, которую принимали за ревность в вере. Мой грех больше. А если мерить внешними мерками, то всегда можно найти другого, который оправдывает твои злые

чувства, твое любование собой, презрение к другим, ненависть...

— Я ведь в детстве ужасно жалела себя,— продолжала она говорить. Ее захватил один из тех порывов, которые перехлестывают через стеснительность и выливаются в бурные вспышки исповедей и обличений.— Меня травили в школе, в пионерском лагере. Я была как чучело. И один раз я даже решила утопиться. Не утопилась, стояла у речки и жалела себя, пионервожатая отыскала и отвела назад. Мне было тогда десять лет. И вот сразу пришли головные боли, кошмарные сны и стихи. Такое было сознание униженности и тайное сознание своей высоты, никому не известной и от этого еще более сладкой...

— А кошмарные сны?

Руфь некоторое время молчала, потом продолжила:

— Я не хотела мстить за обиду. Но это днем не хотела, а ночью... Во сне я хотела мести, до ужаса грубо, хотела терзать своих обидчиков. Об этом много написано, но те, кто писали, сами не до конца все поняли. Больше других понял Достоевский, описывая подростка. Очень многие люди — подростки. Раненые подростки. Подранки. С детства обиженные и не забывающие своей обиды. Так это и остается на всю жизнь, как у Астафьева. Сперва ребенок в тайге, острое чувство красоты (от этого у него все лучшее), а потом обиды подростка. И на старую боль, как по незажившей ране, новые обиды, самые маленькие, все равно мучительно, сразу вспоминается вся цепь, и невозможно забыть, отвлечься. Привык обижаться. Как привычный вывих. Это очень хитрое чувство, оно всегда находит себе оправдание. И даже самые святые. Ты полюбила Христа — и начинаешь обижаться за Христа. Он сказал: «Прости им, Господи...» — а ты не прощаешь. Что-то не так о Нем сказали — и кажется, что надо защищать Бога. Или Россию. Или народ. И умом сдерживаешь себя, хочешь ответить по-христиански, а чувство не сдерживается. И во сне ты устраиваешь Варфоломеевскую ночь. Это мой грех, не чужой. Потому что до самого конца я свой привычный вывих не залечила. И кошмары мне говорят: ты еще не освободилась от своего беса...

— А ведь действительно страшный бес... Не у тебя, конечно, потому что ты его видишь,— сказал Игорь.— Но у тех, кто воображает его архангелом Михаилом. Такое впечатление, что у них мозоли на каждом пальце и их все толь-

ко что отдавили: москвичи, инородцы, женщины в спортивных костюмах... И хочется Варфоломеевской ночи. Это ты поразительно верно...

— Верно, потому что знаю это в себе. В каждой растравленной, незаживающей обиде — призрак Варфоломеевской ночи. И Бог показывает его мне, потому что я Его мучаю этими головешками, этими угольками от костра обид, который горел во мне. А Астафьева... Он, может быть, не так мучает. Если бы мучил — не было бы такой уверенности в своей правоте.

Игорь помолчал, подумал, потом спросил:

— Значит, Гамлет, с Божьей точки зрения, хуже Фортинбраса? Больше мучает Бога?

— А ты не согласен?

— Не то что не согласен... Дай подумать... Видишь, я боюсь, что слишком легко повернуть эту тонкую истину грубо, по-уличному, и выйдет: гнилая интеллигенция. Впрочем, Кальдерон так примерно и думал, и Достоевский думал. Утонченное зло страшнее грубого. Помнишь, в «Записках из подполья», о Клеопатре, которая втыкала булавки в груди своих невольниц?

— Нет, не помню.

— А я помню. Меня в 20 лет поразила мысль, что развитие делает человека хуже, гаже, кровожаднее. То есть — может делать. Все растет, развивается, и добро и зло, наперегонки. И иногда зло первым приходит к финишу. Но мне хочется разобраться в частных случаях, потому что каждый новый случай опять будет частным и опять будет сбивать с толку. Так вот, в случае со статьей против отщепенца Сахарова я не вижу в твоей начальнице святой простоты. Самое развратное двоемыслие. И тоже — один из плодов развития, цивилизации.

— Да, двоемыслие... Но какое-то привычное. Такой же условный рефлекс, как для буфетчицы — положить под прилавок банку югославской ветчины. Тут нет расколотого сознания, потому что нет никакого сознания. Одни рефлексы.

— То есть своего рода почва?

— Не знаю. Почва — еще что-то другое. Что-то цельное и естественное.

— Ну, искусственная почва. Как бывают ведь искусственные спутники. Все-таки почва. На ней можно стоять. Главное то, что никто не виноват. Как лиса, съевшая птичку. Ей

так положено. Помнишь, в «Древе желания», — почвенные люди побивают грязью паршивую овцу? Вот так и в Сахарова бросали грязь. И никто не виноват. А мы с тобой виноваты во всем, потому что сознаем. И то, что сами делаем, и то, что делали другие, — а мы не остановили. Сознание — бездна под ногами. Привычки теряют силу, и каждый день нас искушает... От этого ужаса люди и бежали в Фиваиду.

— Я думаю, что святые по-разному туда уходили... Они вообще очень разные люди. Мы все задуманы святыми, но не одинаковыми, разными.

— А мог быть среди пустынников Ставрогин?

— Не знаю. Кажется, многие великие святые чувствовали в себе способность быть великими грешниками. Как герон Достоевского. Впрочем, что я о них знаю? Только угадываю что-то. По своим слабостям угадываю что-то в них. А знаю про себя:

И с каждым шагом перед ней  
 Все глубже бездна открывалась.  
 Она скользила и срывалась,  
 Сигнальных не найдя огней,  
 И лишь молилась об одном,  
 Вновь равновесье обретая:  
 Чтоб радость чистая святая  
 Не оказалась сладким сном...

— Бездна под ногами, — повторил Игорь. — Нет почвы. И у святых не было почвы под ногами — только Бог. У кого есть почва, тот никогда не уйдет в пустыню, как Антоний, и не будет молиться, как Антоний...

— Не смешивай нас. Он умел молиться, а я не умею. Я вижу бездну — и не могу оттолкнуться от нее. Все время на краю. И просыпаюсь с ужасом, что падаю в мерзость, во тьму. Это не обман, это правдивые сны. Наверное, дети, которые травили меня, чувствовали во мне паршивую овцу и хотели вытолкнуть из стада. Я действительно хуже всех. Я хуже среднего, почвенного человека. И от этого, от сознания, что я хуже, я смиряюсь. И в смирении приходит помощь. Это не моя сила ведет вверх; благодать меня спасает, когда я действительно всем сердцем сознаю себя хуже всех.

— И тогда сразу становишься лучше всех, — сказал Игорь, целуя ее руки. — Мои глупые знакомые удивляются,

почему я на тебе женился; а на небе удивляются — как это ты вышла за меня замуж.

— На небе не удивляются,— ответила Руфь.— На небе одни души. Душа, назначенная стать матерью. Душа, назначенная стать отцом. Там душа видна. Только здесь, на земле, мы ее не видим, как позвоночник без рентгена...

— Действительно, как я ее увидел? — подумал Игорь уже на улице.— Сейчас вижу, потому что люблю, от любви в глазах рентген. А с чего начинается? Что раньше, вера или любовь? Или они растут одновременно? И вообще их нельзя отделить, все равно как ипостаси. У индуистов есть такое слово из трех слов: сат-чит-ананда. Бытие-познание-блаженство. А смысл один. И чувствуешь его, как причастие...

Мысль о причастии потянула за собой другие: зачем нужен миф о зачатии Святым Духом мимо Иосифа? Почему Бог не способен освятить до самого конца человеческое естество — не только рождение?

Как-то утром, когда все это невольно вспомнилось, Игорь спросил:

— Разве ты со мной чувствуешь себя порочной?

Руфь ответила одними глазами, и Игорь продолжил:

— Так неужели Богу невозможно было с Иосифом то, что ему удалось со мной? Ну, не всегда,— но бывает ведь так, что удается? Когда твои глаза, как иконы, и мои глаза ты видишь — я прикасаюсь к тебе, как к иконе... Где здесь грех?

— Иногда бывает чудо,— тихо ответила Руфь.— Несколько раз у нас было чудо. Может быть, и у плотника Иосифа с Марией было чудо. Но оно ужасно редко бывает у людей, и, если людям сказать, что Святой Дух вошел к Марии так, как они входят к своим женам, они не поверят. Им легче поверить в голубя Святого Духа. И Евангелие рассказывает о чуде так, чтобы нельзя было смеяться над ним.

— Все равно смеются. Все смеются, кроме правоверных христиан. И христиане, теряя веру, прежде всего смеются над непорочным зачатием. Парни смеялся, молодой Пушкин смеялся. Евангелия редактировали люди, понимавшие Христа не больше, чем булгаковский Матфей понимал Иешуа... И они нагородили кучу чепухи, а сейчас эта чепуха мешает верить...

— Если читать со Святым Духом, ничего не мешает...

И боюсь я ломать старые слова. Слишком они сплелись с тем, что уже никакими словами не сказать... Боюсь потерять перила, за которые схватываюсь, когда падаю с лестницы. Но, кажется, ни Христос, ни апостол Павел о непорочном зачатии ничего не говорили. И если хочешь, я больше тебя приготовлена согласиться с тобой. Для меня это не только не грех, а скорее наоборот: купель, в которой смываются мои грехи. Вместе с одеждой сбрасывается вся ложь, все, что разделяет сердце от сердца. Остается только сердце, и сердце все подсказывает. Ничего не творю от себя, но только из глубины, из царствия, которое внутри нас...

Игорь замолчал. К словам Руфи ничего не хотелось прибавить. Но потом он несколько раз возвращался к тем же мыслям: разве обожение непременно требует умерщвления, иссушения плоти? И Святой Дух не способен найти другие, более мягкие пути? Можно освятить трапезу и сделать ее причастием; почему нельзя и к близости мужчины и женщины подходить с молитвою? Любовь гораздо ближе к молитве, чем еда. И легче сливается с молитвой. И любовные стихи столько раз уже становились молитвами. Начиная с «Песни песней»...

Может быть, странность — не в его отношении к Руфи (к ней просто нельзя было *иначе* прикоснуться), а во всем другом человеческом опыте. Впрочем, не во всем другом. Для индуиста Шива и Шакти — бог и богиня. Их соединение — святое дело. А христиане попытались выделить химически чистую святость, зашли в тупик и две тысячи лет не могут выбраться из этого тупика. Скорее готовы поверить в кустарное воскрешение мертвых по Федорову, чем в святость половой любви.

Очень уж мерзко выглядела римская чувственность. Очень уж хотелось оторваться от язычества во всем, не оставить камня на камне. Ну и оторвались — и списали в область греха все, что Нероны и Калигулы испакостили. Почти всю культуру. Актрис отказывались хоронить на христианских кладбищах. Все, что доставляет радость, стало грехом. И от этого только выросла сила греха. И чем больше с ним воевали, тем сильнее был грех, становился кошмаром, искушением святого Антония...

Может быть, с какой-то более глубокой точки зрения греха вовсе нет, а есть незнание? Сказано ведь: прости им, Господи, ибо не ведают, что творят. Если *то* не грех, а просто

неведение, то что же грех? Может быть, на нашем, оторванном от Бога уровне злое желание сознается как грех (то есть что-то самостоятельное, реальное). А на самом деле — с уровня Бога, в разговоре Сына с Отцом, нигде нет греха, а только слепота, неведение, и надо освободиться от слепоты, прозреть. И тогда то, что казалось грехом, рассыпется, исчезнет...

Что же все-таки снится Руфи?

То, чего нет?

А может быть, неведение — это образ зла, обращенный к уму; а грех — образ зла, обращенный к сердцу? И иное сердце не чувствует греха, не болит от него, а иное — вбирает в себя образы зла, валяющиеся на улицах, как раскаленные угли, и они жгут его, свои и чужие угли, порывы зла и порывы ответить злом на зло, и сердце заливают зло молитвой, как угли — водой?

### Костер

Это было похоже на обыкновенный пикник: разжиганье костра, бутерброды на шампурах. Аня тихо сидела и ждала, когда начнется настоящее.

Каждый раз, когда она робко звонила Погосовым, ее приглашали. Она приходила, слушала — и очень осторожно раскрывала рот: боялась осрамиться. Откликались только глаза: внезапно, не подчиняясь контролю сознания и выговаривая залпом целые фразы (большей частью — с восклицательным знаком). Впрочем, Игорь находил у нее своего рода дар короткой реплики. К примеру:

— ...А у моих знакомых, если благополучная семья, то никакой духовной жизни. Или черт знает что, но есть духовная жизнь.

Пусть она взглянется в наш мир, подумал Игорь. И вот она сидит, всматривается.

Толя — домашний человек у Погосовых — иногда молча вставал, поправлял огонь. Ничего особенного.

Что-то началось из ничего. Люди молчали, а линии ветвей, отсветы раннего зимнего заката, месяц, высунувшийся из-за осины... Они что-то подсказывали.

— Прочти что-нибудь, — сказала Руфь.

Неловко, как птица, пробующая свой голос, Игорь стал читать Мандельштама:

Я слово позабыл, что я хотел сказать...

Аня вздрогнула. Она вошла в тишину и еще не хотела из нее выходить. Но голос Игоря делался крепче, захватывал, тянул за собой...

А на губах, как черный лед, горит  
Стигийского воспоминанье звона.

Аня подумала: а может быть, мы уже перешли через Стикс? И в этом странном мире из молчанья растут стихи, и из стихов — снова молчанье.

В круг костра вдвигались и вдвигались березы, серп месяца, первые звезды. Потом Руфь сказала:

— Давайте теперь по кругу.

— Без меня! — тихо вскрикнула Аня. Она готова была слушать, но нарушать молчание самой — нет! Слово в ней трудно рождалось. И часто так и не могло родиться.

Остальные стали читать, кто как умел. Толя — глуховатым голосом, но так бережно держа текст, словно в руках был трехнедельный младенец. После Толи Аня расхрабрилась и прочла Цветаевский перевод Бодлера. Слушали ее хорошо — всех хорошо слушают у костра, но потом Толина жена (ее звали Надей) сказала:

— Это не лесные стихи. Они очень хорошие, прекрасные стихи, и вы очень хорошо читаете, но это не лесные стихи.

— А Мандельштам? — спросил Игорь.

— И Мандельштам — не лесной, — настаивала Надя.

Игорь стал читать, одно за другим, стихи Мандельштама, перекликавшиеся с тишиной. Надя настаивала: стихи очень хорошие, но после них остается стихотворение — и она сама, Надя. Такие стихи можно читать в комнате. Они от четырех стен ничего не теряют — и себя в них не теряешь. А после настоящего лесного стихотворения нет ни его, ни ее, но только лес. Это стихи, выросшие в лесу, как деревья, в комнате им тесно, а здесь они дома, и после каждого стихотворения лес делается ближе и глубже, в него входишь, и не остается ничего отдельного.

Игорь подумал, что от Мандельштама у него часто такое



же впечатление, но не стал спорить. Любимые стихи — как любимая икона: у каждого своя.

Помолчав, Руфь прочла:

Камин из пня. Костер — пещера.  
Жар мягкий в воздухе ночном.  
Углей мерцающих химеры,  
И шепот ветра ни о чем.

И шепот ветра, шорох бездны...  
Так неужели вечность — мгла?  
Так неужели я исчезну,  
Уйду совсем, сторю дотла?

И будет свет мерцать, змеиться,  
В безмолвье красном жар тая,  
И будет вечер, будут лица,  
И будет лес... А я? а я?

Огонь погасший, пепла гряда  
И тишь вокруг, и тишь в крови...  
Но я тогда себя забуду,  
Совсем забуду, как в любви.

Когда все сердце — пух лебяжий,  
Не давит больше плоть моя,  
Когда душа уже не скажет,  
Не всхлипнет вдруг: а я? а я?

(З. Миркина)

Потом все молчали — опять читали стихи — и опять молчали. На совсем темном небе разгорелись звезды. Костер догорел. Замерцали — как в стихах — химеры углей.

На обратном пути сперва шли тихо. Толя почти вслепую находил след. Потом, когда вышли на дорожку, Аня спросила Руфь:

— А почему надо читать только лесное? Разве в лесу нельзя вспомнить еще что-то?

— Конечно, можно, — ответила Руфь. — Но желание смерти — не лесное чувство. Лес не устает жить. Он умирает — и живет, живет и снова умирает. Надя права. И я не обижусь, что она стихи про костер ставит выше моих. Мои стихи чаще всего — знак, что я что-то преодолела. А эти ро-

дятся прямо из тишины. Не взлет, а парение. Как у Рильке, у Тагора...

— Я тоже не обиделась, — сказала Аня. — Надя напомнила мне мальчика из сказки про голого короля. Она не боится потерять свое место и прямо говорит то, что видит. А Толя тоже такой?

— Нет, Толя сложнее. Он не уверен в себе, он оглядывается. Но в Елене Аветисовне он уверен, и в Игоре, и, кажется, во мне. Елена Аветисовна знает его лет двадцать, это ее воспитанник. Много других ребят было способнее его, но никто так к ней не привязался, на всю жизнь, как ко второй матери. И когда чего-то не понимает так, как она, как мы, то очень мучается, не может пойти против своей любви, старается дотянуться до нее. Только все у него выходило как-то робко, неуверенно. Слишком неуверенно. А потом его полюбила Надя, полюбили дети — у них двое маленьких, — и он справился.

— А меня жизнь скорее комкала, — сказала Аня. — Я ужасная была мечтательница. И вымечтала себе любовь. А потом каждая попытка счастья кончалась отчаянием и унынием. Приходит отчаяние — и я не помню радости. Сейчас я счастлива с вами, и это чувство унесу с собой на несколько дней... А потом его что-то смахнет, и я снова останусь с пустыми руками. Вы рассказывали о Толе — и я позавидовала: он накапливал хорошее. А я — привычку курить папиросу за папиросой, читать ночами...

В это время Толя говорил Игорю:

— Я чувствую себя неоплатным должником перед детьми. У меня не хватает силы отклика на их ничем не заслуженную любовь. Я копошусь, копошусь в себе... Слишком много мути осталось с самого детства. И эта муть все время всплывает, мешает мне, путается под ногами. Я иногда себя чувствую ангелом церкви Лаодикийской. Всегда, когда читаю про него: ты не холоден и не горяч и потому извергну тебя, — я чувствую: это про меня! И такая тоска нападает...

— Не слушайте его, — говорила Надя. — Он не ангел церкви Лаодикийской. Он просто ангел...

«Слишком напряженно относится он к греху, — подумал Игорь. — Даже сейчас, после костра, это в нем всплыло. Может быть, так и надо? В луче света видишь каждую пылинку? И Руфь все время мучается. А я просто смахиваю с себя «двойные мысли». Я не пытаюсь совсем избавиться от черте-

нят, которые живут в закоулках, я их загоняю в угол, чтобы не мешались, и они меня не мучают. Иногда пакостят, подставляют ножку, но я не объявляю им тотальную войну. Мне кажется, что достаточно просто видеть их, какие они есть, не любоваться их остроумием, не упиваться соблазнами, и они сами по себе, с года на год, будут хиреть».

— Наверное, каждому свое, — сказал Игорь вслух.

### Письмо

Я шла домой и вспоминала стихи из той тетради:

А я тогда себя забуду,  
Совсем забуду, как в любви.

Была ли у меня такая любовь? Скорее нет. Забывалась, но не забывала себя. Забывалась — и падала, как в омут, в **свою** страсть. А потом — в распахнутой душе — чужой. Захваченная, не видела, что впускаю в себя чужого. Что мое подсознание строит воздушные замки и заманивает меня в ловушку. Слишком поздно видела... И разрыв — как смерть. Месяц за месяцем ходишь, как мертвая среди живых...

А ночами снились странные сны. Я была рыбой, птицей... И тешила мысль: может быть, я случайный гость на этой земле, и смерть раскроет ворота тюрьмы, и я очнусь на своей настоящей родине... А иногда снились кошмары. Какие-то гибриды, как на картинах Босха. Когда я сама рыба или птица, мне легко. А когда человек — звериное обступает со всех сторон, загоняет в угол. Что это значит? Что нужно? Слиться со стихией? Или подняться над стихией? И тогда я взлечу? И сны то ободряют меня, чтобы я не отчаивалась, то подталкивают, гонят вперед?

В школе мне все было ясно. И поэтому была воля, была собранность, училась на пятерки, кончила музыкалку. И думала, что так и проживу всю жизнь: волевой, собранной. Буду путешественницей, поеду к дикарям. До одиннадцати лет играла с мальчишками в футбол, в хоккей. Воображала себя мужчинами — героями прочитанных книг — и совершала с ними подвиги... Все детские годы я закаляла в себе мужество, стойкость, разум, гордость. Начавшиеся в одиннадцать лет перемены были бедой, мукой, доводили до от-

чаянья. Я им сопротивлялась, как могла, я старалась почти ничего не есть, чтобы сохранять мальчишескую худобу. Меня пугала наступающая на меня сила — темная, текучая, неразумная, размывавшая мою мужественную собранность. И вдруг, лет пятнадцати, — эта сила стала мной самой. Но героическое, мужественное тоже осталось. Я попеременно чувствовала то за героя, то за героиню, я хотела любви — но тут же смерти; поцеловать Демона и умереть. И ради этой мечты опять хотелось быть сильной, смелой.

В университете все пропало. Поступила туда с золотой медалью, с уверенностью в будущем, а кончила — без ничего. Сразу обмануло замужество. Я вышла по страстной любви, но это оказались не крылья, а «великая низость». Стихия, которой я недаром боялась все свое отрочество. Она держала меня несколько лет в рабстве, мучила ревностью и не отпускала. Я пыталась найти себя в науке, но кафедра этнографии оказалась самой скучной: столько-то метров в поперечнике шатра, столько-то сантиметров в очаге... История? Сегодня — одна ложь, завтра другая. Нести эту ложь в школу? Слуга покорная...

Мне стало все равно. Лишь бы не лгать. Работала библиотекарем, машинисткой. И мечтала о других существованиях. О свободе от времени, которую дает йога. Индия стала казаться мне второй родиной. Воображала себя после внутреннего скачка, после пробуждения ото сна — и жила сонной, вялой жизнью. Главное, собиравшее душу, было потеряно; я рассыпалась на части. Стала беспомощной, слабой, неврастеничной. У меня от природы крепкое здоровье (мои бабушка и дедушка — крестьяне), а теперь ветерком можно переломить. Курю папиросу за папиросой, читаю по ночам. Как будто в меня вошел демон саморазрушения и овладел мной.

В школе был демон самоутверждения, а сейчас — саморазрушения. Останься я такой, как в десятом классе, я бы многое преодолела из того, что потом опрокидывало. Например, в театре-студии — вынесла бы все оскорбления (когда у меня ничего не получалось), вынесла бы, как Ставрогин — пощечину Шатова. Усилием воли, усилием эго. Полюбила бы успех, аплодисменты. И этой ценой я купила бы свое призвание, и, может быть, что-то во мне бы расправилось. Кто знает, что хуже — сила иллюзии или разочарованное бессилие?

Мне припомнилось сейчас, как на одной из последних репетиций, — она длилась всю ночь, — уже на рассвете, изнемогая, в отчаянье, я вдруг вошла в роль. Что-то проскочило между моими глазами и глазами партнерши, мы друг друга почувствовали — и все получилось... Тогда — один раз — получилось. Потому что я не остановилась в отчаянье, а продолжала идти. Может быть, и в жизни мне бы многое удалось, если бы хватило сил — в отчаянье — идти?

Но куда идти? В том-то и дело, что я ни в чем не уверена, хватаюсь то за одно, то за другое, а совершенной внутренней убежденности нет ни в чем. И от этого нет силы. Я жду, чтобы меня кто-то повел, а сама никого не могу повести; даже собственного сына.

Вы спрашивали меня, способна ли я полюбить синее чудовище и превратить его в прекрасного принца? Встретить калеку — и любить его, как своего больного ребенка? Любить попросту доброго, но несовершенного, слабого человека и расправить его своей любовью? Я думала, представляла себе все это — и совершенно представила. Я могла бы замечтаться и в жизни. Но на сколько времени? Не знаю. То один настрой, то другой.

Одной волною накатило,  
Другой волною унесло...

Во мне как будто несколько разных женщин, и то, что одна с увлечением начинает, другая забрасывает. Могу вообразить себя сестрой милосердия, бескорыстной помощницей — а потом снова просыпаюсь страдающим эгоцентриком. Вы ведь это сами знаете... Помните, как Вы разложили на журнальном столике мои книги? Мне хотелось рассказать о себе и не хотелось ничего говорить, и я приносила свои любимые книги. Из которых как бы складывалась я сама. И вот Вы как-то собрали и сложили все это на журнальном столике: «Пустыню» Леклезю и напротив — том Чуковского со статьей о самоубийствах; друг на дружке — книга о Корчаке и том позднего Толстого, а напротив — «Молодец» Марины Цветаевой. Самиздатный перевод книги об Ауробиндо и рассказы Грина (Зурбаган, Лисс...). Вы напомнили, что я говорила о себе «я Лалла» и «я Гамлет» и что это несовместимо. Да, я это знаю, но когда я Лалла, я не помню, что

я Гамлет. А когда Гамлет — не помню, что я Лалла. И в каждый миг это вся правда.

Я действительно Лалла, дикарка, и сейчас у меня сын и мне надо его воспитывать, а я способна выбежать из дому и кружиться под грозой, вымокнуть до нитки и кричать от радости. Я словно слышу голоса стихий, о которых писал Даниил Андреев. И я же — Гамлет, я во всем сомневаюсь. Я не знаю, быть мне или не быть. Для меня как будто сегодня написана старая статья Чуковского «У последней черты». Я читаю Корчака, читаю «Чем люди живы» и ни о чем не могу думать, кроме нравственных задач. Потом — чувствую вместе с Марусей из «Молодца». Я изучила Ауробиндо, читала Вивекананду. Кришнамурти, Раджнеша, Рам Даса — и не сдвинулась с места. Я только мечтаю об освобождении.

Поэтому мне так трудно писать о себе. Я не знаю, что такое «я»? И какая я — настоящая? Или настоящей меня нет, совсем нет, и цельность — только призрак, только захваченность одним до слепоты (честолюбием в школьные годы, страстью в юности)? Знаю только одно: захваченность меня собирала. А очнувшись, отрезвев, — рассыпаюсь на куски. Моему разуму не хватает башни, с которой он оглядел бы все вокруг и все сразу схватил, одним взглядом. Я брожу по улицам и не знаю: какой из этих домов — мой?

Вам трудно было пробиваться сквозь «Сто дней», мешала расколотость, а меня эта вещь согрела, в ней есть надежда на выход из расколотости.

Я повторяла про себя, как поговорку: «Я — не я, доктор; разве робкий шажок к себе. Неверный портрет с еще более неверного оригинала и времени, которое еще более неверно». «Гоняюсь я за самим собой, и знаешь, иногда удается догнать хоть одну из своих ипостасей из великого множества...»

Вы говорили мне, что надо найти в себе точку покоя, точку, из которой как бы Бог смотрит на все перемены чувств и что-то благословляет, а что-то не благословляет — и время это смоев. И тогда, с этой точки Бога, станет ясно, что принимать моей волей и что только созерцать, как оно возникает и проходит. Тогда все ипостаси моего «я» соберутся своими вершинами в одно, и я стану одновременно зрячей и цельной, не поддающейся одному порыву и открытой всем. Но я не нахожу в себе этой точки. Я не могу до нее подняться или углубиться. Мне не хватает чувства вертикали, чувства уровней высоты. Разница между любовью, которая

поит душу, и любовью (или страстью), которая ее разрушает? Это понимаю. Из опыта. Задним числом, но и только. Как заранее их различать — не знаю. Шестое чувство не родилось.

Каждая любовь сперва казалась началом и концом жизни. Я превращала любимого в бога и чувствовала себя на небе. А потом зеркало показывало мне лицо несчастья.

У Онетти есть такой страшный рассказ — «Лицо несчастья». Сюжет его... Мне не хочется его пересказывать. У девушки было лицо несчастья. Слишком открытое. Слишком доверчивое. Оно притягивало к себе несчастье.

Первое мое несчастье Вы знаете. Вторым стал Борис. Мы случайно познакомились — с ним и с Ниной, его женой. Очень хорошая, сдержанно нежная пара. Но как-то раз Борис прочел вслух свой рассказ... Я не могла запретить своему лицу откликнуться. С тех пор мы дружили. Внешне все оставалось, как было. Но внутренне я приняла его всего, всю душу всей душой. И это было какой-то невысказанной, но все больше захватывавшей близостью.

— Нина зовет меня обратно, — говорил Борис, делая большие паузы. Словно точку ставил после нескольких слов. — Мне это нужно... Если вообще нужно жить. Я не совсем уверен, нужно ли, — но, кажется, нужно... Мужайтесь, о други, боритесь прилежно... А тянет меня — не быть.

И станет ясно, что не быть,  
И датский принц ломает шпагу.

Давно стало ясно. И с вами я могу свободно пропадать. Вы летите вместе со мной. Я не один в пропасти. Вы мне, наверное, глубже нужны. Но от нее я тоже не могу отказаться. Да и нечестно это было бы...

Он, впрочем, ничего от меня не добивался. Я слушала его рассказы, мы подолгу разговаривали, рассказывали сны. Или молчали — и молча встречались глазами. Иногда надолго — и тогда я свои отводила. Или он опускал свои... Но как-то раз — я уже уходила — мы нечаянно еще раз встретились глазами...

Потом я плакала (за Нину); а Борис говорил: «Мы оба этого не задумывали. Но разве хочешь свою судьбу? Она — судьба, и все тут. Так случилось. И пусть так будет. Наполовину добро, наполовину зло. Как все в мире. Моногамия —

осколок веры в единство. Не просто быт, я понимаю: в библейском браке есть философия. Один Бог, один муж... Только на самом деле все не так. Нет единого смысла бытия, и никакого смысла нет. Достоевский писал, что игра двух лавочников в шашки — более осмысленное дело, чем космос без Бога; следовательно, есть Бог. Правильнее было бы сказать: следовательно, я не могу без Бога. А космос — какое ему дело, что я могу и что не могу? Пока я жив — есть моя жажда Бога. Пока не началась последняя война — есть церкви. А потом врата ада слопают и церковь, и синагогу, и ислам, и буддизм. И что-то там будет, допустим, — но почему надеяться, что это что-то осмысленнее земной нелепости? Что там добро всесильно и каждому воздается в его меру?

Почему нас так влечет трагедия — Эсхила, Софокла, Шекспира? Очищение страстей? Вздор! Трагедия захватывает нас тем, что она трагедия. Потому что космос трагичен, и вместе с Эдипом и Гамлетом мы заглядываем в глубину космоса и потрясены тем, что мы видим. Потому что истина трагична. Потому что в глубине глубин она расколота в самой себе. И моя душа расколота, и я люблю вас обеих; и вся моя писанина — только попытка единства, которая рождается от невыносимой расколотости; порыв, за которым срыв. Никуда от этого не уйти. Тот, кто попытается стать совершеннее бытия, обречен на бесплодие. Плодоносно только трагическое сознание. Искра проходит между разведенными электродами. И если в самом деле за нашей двойственностью есть единый Бог, Он великий трагик, и Его не смущают груды трупов в финале пятого акта. Он ликует, когда умирает Корделия, когда Отелло душит Дездемону, Эдип выкалывает себе глаза... Может быть, плачет — и все-таки ликует. Я так живу. И ты разделила мою жизнь. Давно разделила. Но сегодня — до конца. Плачь теперь, плачь!»

Это был оживший образ моих школьных лет:

А наказание, муки ада?

Ну что ж! Ты будешь там со мной.

— Честность здесь будет злом, — говорил Борис, — а ложь — правдой. Правда то, что я не могу без вас обеих. И вы совершенно не мешаете друг другу. Нарушено табу? Оно имело смысл, когда человечество рассчитывало на ты-



сячи лет жизни и надо было втиснуть любовь в семью. От прикосновения рождаются дети, поэтому прикоснуться с любовью — табу; хотя глядеть с любовью — не табу. Какая чушь, когда всем нам и нашим детям — всем дорога в золу. Есть только разница между трагизмом и пошлостью. Механическая правдивость — это из романа Чернышевского «Что делать?». Донкихотство пошлой мысли, уверенной, что мир можно устроить без внутреннего раскола...

Я не могла сопротивляться его умственному превосходству, и когда была с ним, у меня не было сомнений. А когда видела Нину — всей кожей чувствовала нарушенное табу. И наедине мучилась и не знала, что делать. Нине, казалось, не было больно. Или она принимала все, как есть, или не догадывалась. Но однажды я натолкнулась глазами на ее взгляд — взгляд лошади, которую бьют по кротким глазам... Может быть, Борис прав. Я не берусь опровергнуть его философию. Но я не могла жить чужой совестью.

Наказанием за разрыв была пустота. Наказанием за что? За грех или неспособность к греху? Этого я не знаю, только все было пусто, до отчаянья пусто.

Я пробовала курить травку; она мне ничего не дала. К счастью. Если бы дала, я втянулась бы. Но нет, не дала. Надо было как-то иначе уходить из времени, в котором для меня не было места. Я читала книги, как изменить свое сознание, освободиться от эго со всеми его страстями и муками. Ходила в кружки и занималась йогой. Но я к ней не способна. Нет сосредоточенности — а без этого ничего не выходило. Впрочем, не только у меня. Почти ни у кого всерьез не выходило. Как-то получалась, хуже или лучше, хатха-йога. Это своего рода лечебная гимнастика. А те, кто шли дальше, к раджа-йоге, к изменению сознания, попадали в ловушки. Большинство отступало. Я знаю случаи, когда сходили с ума, кончали с собой. Учителя вдруг оказывались в кризисе и теряли свои способности. Кружки распадались. Впрочем, я встречала людей, которые освободились от эго. Сравнительно со мной и с такими, как я, это были другие люди, и я невольно подчинялась им. Я чувствовала, что они на порядок, на несколько порядков выше меня. Но в то же время я их боялась. Может быть, не всех. Но многих боялась.

Есть такой термин — левый выбор. Это значит — освободиться от двойственности — и делай, что хочешь. Человек отбрасывает стереотипы поведения, привычки избегать зла.

Он не придает двойственности добра и зла никакой, самой малой ценности и начинает испытывать свою свободу, как Ставрогин. Наверное, настоящий гуру не допустил бы этого, не допустил бы от себя ученика без воли к добру. Но у нас ведь нет таких гуру, у нас самоучки.

Я не могу всего объяснить. Мне трудно разобраться даже в собственных ошибках, а у них ошибки какого-то не моего уровня. Может быть, свобода от эго имеет несколько ступеней, и на первой остается какая-то неуловимая тонкая форма, какая-то аура — у одних светлая, у других темная. Знаю только, что есть люди с темной аурой и огромной силой; как Абай, о котором писали в газетах. И люди с какой-то полосатой аурой — то темной, то светлой. Был у меня один, полосатый. Его звали Геннадием. Он не выдерживал долго на одном месте и то появлялся в Москве, то исчезал. Я испытывала к нему странное расколотое чувство: влечения, страха, презрения к своей слабости и вдруг — резкого отталкивания, в котором была неожиданная сила. Чего я боялась? Не смерти. Боялась черной магии. Боялась за свою душу.

Геннадий намагничивал меня. От него шла энергия — просто от его присутствия, от того, что он рядом. Проходила усталость. Я снова хотела жить. И вдруг страшно.словно ветер, наполнивший паруса, гнал мое суденышко на скалы. Сперва радость, потом страх. И я изо всех сил вцеплялась в рулевое колесо, старалась выйти из бури... И выходила. Но тогда опять тосковала по ветру.

Потом началось что-то новое. Я не боялась Виктора Ивановича; т. е. боялась иначе, боялась осрамиться в его глазах. Высокий, худой, с седой прядью на лбу (он был старше нас всех), с резкими чертами лица и какими-то прокальвающими насквозь глазами. Взглядывал на меня, и я старалась быть сосредоточенной, но чувствовала, что не выходит, что он недоволен. Как-то вдруг пошел провожать, расспрашивал. Я отвечала. Коротко, без имен, без подробностей. Но не лгала. Чувствовала, что не имею права. Он помолчал (мы шли рядом) и сказал: «Я думаю, ваш путь — бхакти. Т. е. бхакти и вместе с этим немного йоги. Но не чистая йога».

Я ответила, что бхакти никто не учит, а сама я не нашла, кому поклониться.

Он молча шел рядом до самого метро, потом достал из бумажника фотографию и дал мне, чтобы я смотрела сквозь

нее каждый вечер, не меньше полчаса. Так и сказал: сквозь. На фотографии было его лицо.

Теперь, когда мы оставались одни, он спрашивал: «Что вы увидели?» Я пыталась объяснить, а он молча глядел куда-то действительно сквозь меня, не задерживаясь на моем физическом облике. Понемногу я привыкла к этому. Почему-то показалось сходство с Борисом. Т. е. не похожесть, а одна общая черта: погруженность в глубину и взгляд из этой глубины. Я стала рассказывать ему о Борисе, о чувстве трагического. Виктор Иванович слушал, потом сказал:

— В Индии нет трагедии.

Я долго думала над этим, справлялась в книгах. Действительно, индийские драматурги избегают трагических концов. Неужели в Индии жизнь не трагична? Я не могла понять. А на Западе в средние века? Полистала хрестоматию по литературе. Трагедий там нет — только мистерии, моралите... Гибель всего земного не сознавалась как трагедия. Значит, трагизм в нашем сознании, и только в нем. Я спросила Виктора Ивановича; он сказал, что трагедия — это дурной сон.

— Тебе снится, что есть «я», и это «я» пытается стать бесконечным и лопается. А проснешься — и ничего нет. Нет «я» — и гибнуть нечему.

— Но ведь можно умереть во сне? — возразила я.

— Да, можно. Но никакой необходимости в этом нет. Умрешь, если не проснешься. А проснешься — и нет трагедии.

То, что в Индии мудрость глубже нашей, — я и сама думала. Но трагических героев любила. Спросила про «Поэму конца». Виктор Иванович не читал. Посмотрел на меня своими сквозными глазами и сказал:

— Пожалуй, прочтите вслух.

Я робела, потом все-таки собралась, стихи подхватили меня... Глаза Виктора Ивановича потеплели и как будто подошли ближе. Что-то из поэмы ему передалось. Но когда я кончила, он обычным своим суховатым голосом, сказал:

— Да, много силы. Если бы она пошла на освобождение... Но ведь все попусту. Не проснулась. Дала себя зарезать любви. Одну зарезало трамваем, другую — любовью...

Я смотрела на него, ошеломленная, и не знала, что ответить. Он помолчал и прибавил:

— Я могу встать на ваш уровень и почувствовать, что вы чувствуете. И что Цветаева чувствует. Но потом я воз-

вращаюсь к себе. И вижу все без эго. И тогда все рассыпается. Отклик на другое эго, как у вас — это тоже эго. Также сон.

Мы опять помолчали. Я думала, и он меня не торопил. Потом я спросила:

— Но это волнение, этот сон — они дают вам что-то?

Виктор Иванович чуть улыбнулся и сказал:

— Хороший вопрос. Да, дают. Я люблю входить в чужие сны и выходить из них.

— Как бы испытываете еще одно существование? — спросила я после паузы.

— Да.

После этого он несколько раз просил меня почитать. Ему нравилась эта игра. Нравилось входить в то, что меня глубоко волновало... и я нравилась, я это чувствовала... а потом возвращаться в свой холод.

Все это казалось мне хорошей школой. Я читала, входила в роль, чувствовала как трагическая героиня в понимании Виктора Ивановича, — принимала сон за действительность, — а потом, вместе с ним, просыпалась. По вечерам, глядя на фотографию, я вспоминала наши чтения и разговоры, и мне казалось, что я становлюсь свободнее от подсознания — и ближе к своему учителю. Я старалась глядеть сквозь него и любить что-то, просвечивающее сквозь. Но это что-то не было отдельным от него, и я постепенно полюбила все: резкие черты лица и какое-то странное выражение глаз (которое теперь кажется мне холодным и безжалостным); во всем я тогда находила высшую силу. И вместе с учителем я заново просматривала свой духовный мир и заново все узнавала.

Потом снова охватывала неуверенность, и я снова задавала вопросы. Мне хотелось понять, где порог, за которым сон становится призрачным и рассеивается? Можно ли совсем проснуться? Проснулся ли совсем Виктор Иванович? Как-то я осмелела и спросила его. Он поморщился и ответил:

— Что значит — совсем? Я не знаю, что значит совсем. Сравнительно с тобой (он иногда говорил мне «ты»), я вышел в новое измерение. Как бы из линии на поверхность и с поверхности могу обойти затор на линии. Я вошел в твой сон, в твою линию, но я сам — на поверхности. Или в пространстве и сверху смотрю на твою квадратуру круга.

Он действительно вошел в мой сон. Я стала все время думать о нем, разговаривать с ним. Он этого не знал. Я застенчива до дикости, я ничего не умею сказать — и потом вдруг себя выдаю. Не знаю, что меня выдало. Глаза были опущены. Может быть, волна пробежала по лицу. Но он вдруг обеими руками взял меня за голову, поцеловал в лоб...

Сперва наступило чувство огромного покоя. Но потом тревога снова всплыла, и опять и опять... Я чувствовала, что он свободнее меня, что я вся в нем, а он может отхлынуть, оставить меня — лужицей на песке.

Как-то он сказал мне:

— Нам снится один и тот же сон. И пробуждение может быть одним и тем же. Если ты сумеешь проснуться.

Я не хотела просыпаться. Я не сказала этого. Но все равно, Виктор понял.

Наверное, глаза меня выдали. Он покачал головой и как-то странно улыбнулся. Тогда мы больше не говорили, он опять заглушил мою тревогу. Но несколько дней спустя я нашла в своем ящике письмо, которое помню наизусть:

«Ты прикоснулась к бесконечности, — писал Виктор, — но есть несколько уровней пробуждения. Может быть, бесконечность уровней. Перейти от точки к линии — пробуждение, но и линия — сон, и поверхность — сон. Я еще не вышел из сна, и мне надо двигаться дальше. Я не могу тебе объяснить, с какой силой меня к этому тянет. Наверное, в твоем сне это выглядит неверностью, но в моем сне — я свободен. Мне надо выйти из твоего сна. А тебе — перешагнуть через смерть той любви, которой ты меня любила, разрушить икону, которую ты полюбила, как самого Бога. Только пройдя через любовь и через смерть любви, ты вступишь в поток, ведущий к свободе. Если сможешь — проснись от своего сна и вступи в Поток! Тогда не будет страдания».

Я и понимала, и не понимала. Я не могла принять его право решать и действовать за Бога... Он стоял выше меня на какой-то лестнице, но в любви мы были на одной ступени. Вся я и весь он. И разницу между линией, поверхностью, пространством — любовь все это стирала. В ней самой была

бесконечность, и перед этой бесконечностью такой уход Виктора был кощунством. Может быть, я неправа, может быть, я чего-то не понимаю и никогда не пойму, но так я чувствовала и не могла чувствовать иначе.

Виктор переступил через меня, как через труп. Может быть, он был прав. Но мое сердце не признавало его права. Я не смогла переступить через Нину, а он переступил через меня. Быть со мной так, как он был, а потом решать мою судьбу, словно он Бог, — это была неправда. Что-то одно могло быть правдой. А то и другое вместе — неправда. Я сужу со своего уровня и не все понимаю, но что-то я все-таки поняла, то есть в чем-то совершенно уверена: или неправда — высшая ступень, с которой низшее — ничто, совершенное ничто, нуль; или любовь была ложью.

Виктор и Борис как-то приснились мне вместе. И я увидела, что они как братья. Оба верны какой-то своей отвлеченной правде. Я принимала эту правду, и сердце оказывалось в ловушке. Я не могла то, что они могут. Они переступали через табу, как через канавку. А у меня табу в сердце. Я не могу жить по их правилам. Может быть, это мое ничтожество; но все равно, не могу.

Прошло много месяцев, прежде чем отчаяние сменилось тихим, вялым, безнадежным унынием. Я не проснулась. Я осталась в каком-то сумеречном полусне.

Нет ни полета, ни размаха.  
Висят поломанные крылья...

Сейчас я думаю, что пропустила тысячу мгновений, когда любовь приходила ко мне иначе — не как Демон, снившийся мне в пятнадцать лет, не как мужчина, а как сегодня — в дымке костра. Может быть, она приходит ко мне каждый день, а я не замечаю ее, не впускаю ее к себе, потому что она не так приходит, как я намечтала; или просто потому, что я не могу прибрать свою душу, очистить ее от обиды и боли, чтобы она вошла и всегда могла входить, когда это нужно, чтобы дверь легко открывалась, чтобы она не была завалена хламом?

Почему мне не достаточно Бога в «розовой заре»? И в «бессмертных стихах»? Что мне мешает быть счастливой — через голову своих неудач? Почему не удерживается счастье, которое приносит каждая весна? Или горы — когда я гля-

дела на снежные вершины, потеряв темные очки и не в силах оторваться, пока меня не поразила снежная слепота; почему не ударжалось счастье от рождения Ивашки? Я вспомнила нежность к растущей во мне жизни — и вдруг, в родильном доме, чудо: какая-то женщина перестала кричать и запищал ребенок. И потом такое же чудо со мной самой. Роды отнимают страшно много сил, измученные роженицы рядом спали, а я не могла заснуть, я смотрела на снежинки и чувствовала: чудо, чудо... Почему это чудо кончилось? Ивашка жив, слава Богу, но почему он перестал быть для меня чудом? И почему не удержится счастье от этого костра? Почему мне недостаточно видеть дерево? Почему я вспыхиваю, как лист бумаги, и сгораю, как лист бумаги, — один пепел, никаких углей, никого не согрею, и самой холодно, и все поет во мне и поет: а я? А я?

### Ночной разговор

Они остались втроем — Аня, Арсений, Ипполит. Заварили свежего крепкого чаю. Ипполит отпил полчашки, Аня и Арсений — до конца. После этого о сне и вовсе нечего было думать.

— Вам понравился Борис? — спросила Аня.

— Да... никогда не гаснет, — ответил Арсений. — Немного чадит, впрочем... Но не гаснет.

— Знаете, что бы он сказал, если бы мы продолжили разговор? Что самая страшная катастрофа — если **никакой** катастрофы не будет.

— Маловероятное допущение...

— А вы поняли, почему — самое страшное?

— Да. Понял. Я знал одну женщину... Она уже умерла. Мы говорили об Оруэлле. Она не верила, что министерство любви, и министерство истины, и министерство изобилия, и ньюспик и все такое может быть надолго, на века. Ей казалось, что человечество скорее взорвется. Даже без войны. Просто от какого-нибудь неудачного опыта. Так ей легче было представить себе будущее.

Опять помолчали. Докурив, Арсений поискал пепельницу, положил в нее окурочек и вдруг улыбнулся, поднял пепель-

ницу, посмотрел ее на свет — синее стекло блеснуло под лампой...

— Что-то вспомнили? — спросила Аня.

— Да. Мальчишескую глупость.

— Расскажите!

В глазах у Ани замелькали искорки. Арсений, улыбнувшись, стал рассказывать.

— Мы собирались в пустой комнате. Я и двое моих друзей. Это была комната бабушки. Бабушка переехала к нам, а ключ от своей комнаты дала мне. Мы клали на большое синее блюдо две алые розы, заводили музыку, читали стихи, что-то пили...

— И все?

— Музыка заводили классическую. Просто из снобизма. Потому что никто вокруг ее не любил. Сперва просто слушали и чувствовали, что непохожи на пошляков. И вдруг я на самом деле стал воспринимать старую музыку. Как если бы нарисовал на полотне дверь — и она раскрылась.

— Хотите я поставлю пластинку?

— Хочу. У вас есть Шнитке?

— Есть. Только будем слушать вполголоса. Из-за соседей.

Арсений слушал, полуприкрыв глаза. Иногда легкая судорога пробегала по его лицу. Как будто музыка сопровождала его собственный текст.

— Вам понравилось? — спросила Аня, дослушав.

— Да. Он все время зовет меня — сделать последний шаг.

— Вы говорите загадками, — сказала Аня.

— Потом как-нибудь расскажу. Это загадка из сна.

Аня кивнула головой.

— Вам тоже трудно рассказывать сны? — спросил Арсений.

— Да, — ответила Аня. — Очень редко удается. Как-то все расплывается. Остается сюжет. Но все выцветает, как синяя птица. А пытаешься поймать красоту, и выходит выдуманно. До конца мне ничего не удавалось рассказать.

— Помолчите, — сказал Ипполит. — И вдруг что-то само скажется. Кто первый схватит кадр, тот начинает. Перестал видеть — молчи. И мы подождем.

Арсений закурил. Аня тоже закурила, откинулась... Постепенно стало выплывать — не сон, а так, обстановка, когда



приснилось. Она тогда занималась в студии. Подошла пасхальная ночь, а студийцы никак не могли разойтись по домам. Коля, поэт, пригласил несколько человек к себе. И вот они все на кухне. Жена и дети его спят, а они полуночичают, слушают стихи. Рано утром Аня вернулась домой, легла и сразу заснула. И приснилась ей та же кухня, те же люди. Вдруг появляется жена Коли, но какая-то другая, не как всегда. Трудно было вообразить ее **такой**. В ней чувствуется большая сила, и все ее слушаются, хотя она почти ничего не говорит.

— Мы молча следуем за нею в комнату, — мысленно заговорила Аня. — И все становятся серьезными, сосредоточенными. Бесшабашность, богемность... Это была маска. Сгущается ожидание. Она подходит ко мне, останавливается. Я чувствую молчаливый приказ, раскрываю балконную дверь, выхожу. Кажется, я сказала: «Боже!» Из сумрака комнаты — в яркий день. Стою на балконе, как на вышке, — вокруг, со всех сторон, бассейн неба... синий океан... и все залито солнцем. Она касается моей руки. Я вспоминаю о ней. Она стоит за мной. Я ее не вижу, только слышу голос: «Смотри, смотри внимательно, ты должна увидеть...»

— Я читаю по вашему лицу, что вы вспомнили, — сказал Арсений. — Это просто видно... Вы подошли к вершине сна, вы увидели. Рассказывайте!

Аня, сбиваясь, пересказала первые шаги сна. Потом голос ее окреп, стал уверенным, звучным. Глаза уставились в потолок. Словно там было небо.

— Я чувствую, как те, в комнате, застыли в ожидании, я понимаю, как много сейчас зависит от меня. Я вглядываюсь в синеву и сознаю, что ждать бесполезно. Ну как среди бела дня, при необыкновенной ясности сознания увидеть то, чего нет? У меня нет такого дара. Я не могу, не могу, простите! Слезы наворачиваются на глаза, но все-таки я изо всех сил вглядываюсь в сияющую пустоту. И вдруг — в небе птица! Так явно — отчетливее не бывает — вижу ее, крупную, сильную. Черное оперение блестит на ярко голубом небе. «Что, что ты видишь?» — как будто издали спрашивает меня женщина. «Вижу птицу», — с трудом произношу эти два слова, но их услышали. В ответ раздается возглас удивления, шепот, гул голосов. Кто-то сказал: «Рано». И другой: «Она не готова...» Но все это быстро исчезает: голоса, присутствие людей, балкон, дом. Есть только небо и в нем пти-

ца. Она парит, кувыркается в синем просторе, и в ней вся радость и свобода со всей земли. И эта птица — я. Внезапно, так же внезапно, как появилась, птица начала гореть. Она горела и падала — одна в огромном небе. Пламя вырывалось в синеву, моя птица погибала, и боль всех утрат в ней одной...

Аня с трудом договорила, схватила папиросу и жадно закурила. Мужчины молчали.

— Последний шаг, — сказал наконец Ипполит.

— Не знаю, — ответил Арсений. — Когда подхватило вихрем, это не шаг. Скорее, полет. А мне надо было сделать только шаг, и я не сумел. Может быть, последнего шага вообще нет, и с предпоследнего надо лететь? Но во сне от меня этого никто не требовал. Только шагнуть...

Он помолчал немного и продолжил: я услышал во сне голос — Христос похоронен не там-то, а там-то. Названия мест звучали как бы на иврите, я не знаю этого языка и не запомнил слов, но я все понимал и пошел туда, где Христос. На перекрестке опять голос: одна дорога — к могиле Марии, другая — к могиле Иосифа, третья — к могиле Христа. Я пошел по средней — и увидел светящегося человека в белом хитоне. Или, может быть, иначе называется эта одежда. Но она светилась. С каждым моим шагом человек медленно поворачивался ко мне, и свет от его лица и одежды проникал в меня. Надо было сделать еще один шаг... Но я не мог сделать последнего шага и проснулся весь в слезах.

— А я тонул, — сказал вдруг Ипполит. — Я плыл в озере света и не видел другого берега и знал, что утону, и мне было очень хорошо.

Аня подумала, что она тоже тонула; вернее, погружалась, сливалась... Но говорить не хотелось. Все молчали, курили. И постепенно она вспомнила, что тогда, в этом другом сне, как бы проснулась... И почувствовала, что страхи исчезли, бессильных мыслей нет больше... В воздухе, которым она дышала, был запах новизны — и сосен. Блестело солнце. Дул холодный ветер...

Она огляделась. Далеко, насколько доставал взгляд, уходят леса. Деревья взбираются на сопки, спускаются в низины и снова карабкаются вверх. Она стоит на открытой вершине, вокруг — высокие сосны. Их стволы покачиваются, облитые золотым светом. Кроны плещутся в синем небе. Сосны поют: «Воля-волюшка!» И смеются. «Воля!» — отве-

чает каждая клетка тела. Она срывается с места, бежит, как обезумевшая, скатывается с высокого берега к реке.

Река. Полноводная, все шире разливающаяся вдали, манит, как дорога. И она знает, куда ведет эта дорога. На север.

«Я всегда любила юг, — подумала Аня. — Но сейчас, наперекор всему, меня тянет на север. Туда, где тоскливые, ошеломляющие своей безмерностью равнины, молчаливые реки — и дальше, где снега, льды и холодное, нечеловеческое величие. Только на мгновение открылось это желание севера, сжалось в тревожном предчувствии сердце — и снова, легкая, счастливая, я брожу по лесу.

Наконец, я оказываюсь в деревушке, почти неотделимой от леса. Избы из тех же стволов и скрипят и пахнут, как стволы. Возле домов высокие, тихие старики. Один из них мастерит что-то. Подхожу к нему.

«Где это все? Где этот край?»

«Далеко», — проговорил старик. И головы не поднял. Потом, помолчав, добавил: «Высокая вода стоит, да скоро уйдет». — «Куда уйдет?» — «Уйдет, да вернется. А ты за ней пойдешь — пропадешь. Да не удержать».

Снова на минуту стало тревожно. Но только на минуту.

Иду дальше. В этой избе дверь открыта, покачивается, приглашает зайти. Вхожу. Люди сидят за длинным столом, сидят и молчат, а на столе — ни крошки. Напротив меня — молодая женщина. Ее лоб прикрыт белым платком, под ним глаза — омуты: манят и смеются, грустят и остерегают. Только эта женщина и смотрит на меня, топит в своих глазах.

Вдруг кто-то вошел и остановился у меня за спиной. Обращиваюсь — рыжебородый, с двустволкой, охотник. Дерзко, не отрываясь, смотрит на меня, испытывает, а говорит не ко мне, ко всем:

— Шум слышите? Вода спадает.

И вдруг я вспомнила то, что предчувствовала.

— Нет! — закричала я. — Не может быть, так рано!

«Всегда рано», — читаю в глазах собравшихся и покорно выхожу за порог. И протест, и покорность — только на миг. С нерассуждающей и безошибочной уверенностью иду, как если бы знала, куда мне идти.

Лес. Как быстро здесь темнеет! Иду в полной темноте, не зная и одновременно зная свою цель и свой путь... Кто-то

бесшумно следует за мной. Конечно — он. Улыбается недобро: «Боишься?»

Отчаянная смелость ударяет мне в голову. Иду, почти бегу к обрыву, прыжками спускаюсь к реке. И вижу: вода уходит, медленно, неотвратно уходит вдаль, где должен быть север.

А он, охотник, легонько подталкивает меня к реке. Вода пенится у самых ног, обкатывает, зовет за собой. Я вхожу в эту холодную, прозрачную, блестящую под луной воду, и она накрывает меня с головой. Он на берегу, печальный, одинокий. А я плыву, я ухожу вместе с рекой. И вдруг замечаю, как меняется мое тело, как начинает оно серебриться в воде.

Неужели **это** я предугадывала, **это** должно было случиться со мной? А сознание не принимает мою догадку, не принимает реальности. Я пытаюсь закричать, но уже не могу...

Оба раза рано, — подумала Аня. — И птицей, и рыбой. А когда же время? — Аня почти воскликнула это. — То слишком рано. То слишком поздно...»

Арсений тоже вспоминал. На этот раз не сон — рассказ, который он написал давным-давно, лет десять тому назад. Помнил когда-то наизусть, как стихотворение в прозе, потом забыл... Сейчас начал вспоминать, еще под музыку. Отдельные слова вставали чуть-чуть иначе, чем тогда, но это было все равно...

Ночь. Я знал: она будет, все утро и весь день и долгий-долгий вечер автомат с моим лицом, моими руками, моим голосом отсчитывает бесконечные рвущиеся минуты: еще не сейчас, еще не сейчас, еще не сейчас...

Я один. Ночь. Стерегущие спят. Мое лицо, голос, руки. По белой эмали раковины сердито снуют черные тараканы. Напрасно, не вырваться: вас ожидает утро!.. Я открываю краны: сильнее, еще сильнее. Нас ожидает утро: не вырваться...

Я не знаю этой комнаты! Комнаты? Держась за стены, иду в темноте, где двери? Скажите мне двери! Я был уже здесь, когда-то я наверняка здесь уже был. Слепые пальцы ранены о знакомые выступы. Это края букв, я нащупываю их, и страх овладевает мною. Я погиб: мне не выбраться, не погчесть предназначенных мне слов...

Бедные, измученные, незрячие пальцы!

Подобравшись к окну, я вижу комнату: горит свеча, в

зеленой вазе мимозы, в пепельнице дымится забытая мной сигарета, я слышу музыку.

Комната, в которую я никогда не умел войти, и теперь она живет вне меня.

Вот сейчас, здесь ударит будильник — я исчезну, уйду: пробудится он — мой безжалостный, неутомимый хозяин, автомат, укравший мое усталое ночное лицо. Минуты мне не хватило, не хва...

— Синее блюдо, алые розы, — сказал Ипполит, думавший что-то свое. — Зачем это?

— Я была на костре с Погосовыми, — откликнулась Аня и не продолжала. Ей хотелось, чтобы Арсений угадал, как она угадала мысль Ипполита: почему не пойти в лес, в поле?

— Выйти в лес — это все делают, — ответил Арсений после паузы. Он медленно выходил из своей комнаты с тараканами. Потом пришла обычная его улыбка. — А нам хотелось отделиться. Сделать что-то поперек, назло. В нашей эстетике был протест... и даже отчаянье, — добавил он уже совершенно серьезно. — В моем, по крайней мере, **было** отчаянье. Я решил, что покончу с собой, если не найду спасения от жизни взрослых. Не что-то одно меня коробило, а все. Всюду пошлость. У нас ее вдалбливают одним способом, на Западе — другим, но всюду человек не справляется, всюду пошлость растет. И уехать некуда. Разве на другую планету. Впрочем, другая планета мне тоже снилась. И там не было никакого выхода.

— Твои сны надо записывать, — сказал Ипполит.

— Ну вот и запиши, — снова улыбнулся Арсений. Потом он рассказал — это было похоже на научно-фантастический роман. Как будто Бог проводил эксперимент. На земле Он оставил человеку свободу, а на другой, совершенно аналогичной планете программировал неспособность творить зло. И вот как раз в наше время подведен итог. И сделан вывод, что опыт свободы неудачен. Землю решено упразднить. Арсений ходил по улицам, заходил или заглядывал в квартиры, в учреждения, на космодромы (ему дана была способность заглядывать под крыши, как Хромому бесу). Он смотрел, как суетится элита, как любой ценой добывается мест в космических кораблях, поддерживающих связь между двумя мирами...

— А тебе не хотелось уехать? — спросил Ипполит.

— Нет. Я не хотел на планету с заданной программой.

Я, как Николай Александрович Бердяев, готов был платить за свободу. И кроме того, я хотел досмотреть до конца здесь, на земле. Я люблю додумывать до конца неприятные мысли. Как в прозе Кафки.

— Не могу его читать, — сказал Ипполит.

— А я люблю и испытываю особую радость от прозрачности и ясности его языка. Чем чудовищнее глубина — тем больше радость: называть вещи своими именами... Для меня это возвращает жизни разум и красоту. — Потом он подумал и добавил: — По крайней мере как мерку.

После перекура Арсений рассказал, что на втором курсе он сделал доклад о Кафке и его выгнали из университета.

— За что? — спросила Аня.

— Тут логика Шигалева. Мне, впрочем, разрешили доучиться на заочном отделении. Авось со временем привыкну и стану как все; а пока — не портить юношества. Я не торопился сдавать экзамены: все равно останусь паршивой овцой. Но в конце концов — кончил, получил диплом филолога — и работаю инженером для отправки в колхоз. Когда работы в колхозе или на базе нет, мне разрешается сидеть в лаборатории и читать философскую литературу; не художественную, чтобы другим не повадно было; а философскую можно. Последнее время назначают бригадиром. Я получил квалификацию полевода.

Разговор на время иссяк. Арсений курил. Аня задумчиво сказала:

— Пошлость. Пошлость и личность. Между ними какая-то сцепка. Как между интеллигенцией и народом. Где интеллигенция, непременно есть народ. А если нет одного, то и другого нет. В молодости я увлекалась примитивными культурами. Там ни личности, ни пошлости. Роевое сознание. Появилась личность — и пошлость есть.

— Пошлость можно понять как отходы эволюции, — сказал Арсений. — На одном полюсе личность, на другом масса. Которая постепенно перестает быть народной массой и становится пошлой. Приходится принять это как плату за собственное развитие.

— Может быть, это полуфабрикат? — предположила Аня. — Я читала что-то такое о полуобразованности.

— Да, если мы идем к светлому будущему. А если тупик? Тогда полуфабрикат и есть конечный продукт истории. А мы — что-то вроде несбывшегося сна.

— И не до конца приснившегося, — откликнулась Аня.

— Личность требует кустарного производства, — продолжал Арсений. — Индивидуального пошива. Художник может противостоять ремесленникам, но не фабрике. Был Пьер Безухов и был Платон Каратаев. А потом пошлость стала сходить с конвейера. И личность не поспевает за темпами истории. Пошлость растет пропорционально квадрату или кубу личностного развития...

Аня вспомнила элои и морлоков Уэллса и представила себе, как морлоки, живущие под землей, питаются утонченными элои.

Арсений опять закурил, неторопливо делая затяжку за затяжкой. Он действительно любил додумывать до конца неприятные мысли. Ясность и логичность вывода мирила с любым итогом. Допустим, нынешняя администрация добьется успеха — на своем уровне. Американцы нам поверят, китайцы сохранят благоразумие, войны не будет. Просто растет население Земли. Четыре миллиарда, шесть миллиардов, двенадцать миллиардов. И пошлость растет — пропорционально квадрату численности. Личность тонет в массе. А масса не ориентируется в переменах, запутывается, ее охватывают страхи, ей нужен вождь, министерство любви, министерство мира и борьба за мир, от которой камня на камне не останется. Масса любит Сталина и хочет нового Сталина, Гитлера, Муссолини, Насера. Масса плачет, когда Насер подает в отставку. Пусть вождь думает за нас. А нам это непривычно и не нужно. Массе плевать на перестройку. Ей водка нужна. Волнуются писатели и тащут в журналы неопубликованные рукописи. Волнуются читатели: на какой журнал подписаться. А отношения между людьми ни в одном поселке не изменились. Огромные штаты бездельников, и все эти люди, обладающие властью, не хотят ее терять. И не потеряют. А значит, ничего по сути не изменится. И уходить от этого можно только внутрь. Моя комната — моя крепость...

— Всюду одно и то же, в основном, — продолжил он вслух. — В чем-то Запад еще пошлее. У нас тупик, на Востоке порочный круг слаборазвитости, это бередит, приводит в отчаянье... А отчаянье не пошло. То есть оно иногда бывает пошлым, если из-за пустяков, как у городничего. Но у нас не пустяки... А там, на Западе, — свобода, можно протестовать против пошлости — и протест тут же становится

на конвейер, становится пошлым. Стираются все грани. Масса носит элитные штаны. И не поймешь, кто есть кто.

— Царство антихриста, — сказал Ипполит. — Все подмешено. Надо бежать от цивилизации.

— Куда?

— На волю...

— Мне не нужна воля, — сказал Арсений, подумав. — Мне нужна свобода.

— А какая разница?

— Огромная. На воле — значит просто без стен, без забора. Мы говорим: на улице холодно, а деревенский скажет: на воле мороз. Воля — физический простор. Иди, куда хочешь, и только. А свобода... Я не знаю, что такое свобода. Каждый человек свободен по-своему. Если он мыслит.

— Не надо ломать голову. Просто идти, куда хочется.

— Так ты решил. У каждого своя свобода. Есть свобода Диогена, Канта, Ставровина. Надо найти свою собственную. И не повеситься от нее, как Ставровин.

— Какие-то тупиковые мысли, — сказал Ипполит. — Прямоугольные, как стены. У каждого своя кооперативная квартира... В таком вот доме (он ткнул рукой в окно, где смутно мерцали соседние башни).

— Может быть, высший человек действительно может — так, как поток, как ручей, — медленно проговорил Арсений, — без прямых углов... Но его поток течет по небу, там, где углов нет, где сходятся параллельные... А твой течет по поверхности земли и — неизвестно куда. Может быть, в болото!

— Мы все не знаем, куда, — отпарировал Ипполит.

— Не знаем, — согласился Арсений. — Но я **хочу** знать. Я не могу жить без мысли, как ты. Впрочем, и с мыслью трудно справиться...

«Опять загадка», — подумала Аня.

— Вас пугает свобода по ту сторону заповедей, по ту сторону добра и зла? — спросила она наконец.

— Не то что пугает, — ответил Арсений. — Но я ее не хочу. Когда-то, я был почти мальчиком, я испытал искушение чистой красоты поступка, без всякой морали. Красоты полета над всему табу. У меня не было желания доводить девочек до самоубийства или красть получку у соседа, но что-то в Ставровине меня захватило. И в Печорине. Я увлекся тогда одной девушкой, чуть постарше, а она со мной жестоко играла. Ей нужна была только власть надо мной. И



мне тоже захотелось власти. Я сильно чувствую соблазн — искать власти там, где люди ищут наслаждения или нежности или спасения от одиночества. Оставаться одиноким и любить свое одиночество. Одиноким и свободным.

— У вас это могло получиться, — неожиданно для самой себя вслух подумала Аня.

— Нет. Мне что-то мешало. Наверное, дедушка... Когда мне было пять лет, я хотел раздавить паука, а дедушка сказал мне: «Зачем ты это делаешь? Потому что паук не такой, как ты?» Дедушка вложил в меня свое чувство другого как ближнего. Все равно, будет ли это паук, или бабочка, или женщина. Женщина ведь тоже другая, не такая, как ты. Я не могу сознательно сделать зло другому. Я хочу свободы и не хочу зла. Эстетический человек во мне хочет абсолютной власти, а этический связывает его по рукам и по ногам... И я нашел выход: властвовать над собой. Я люблю Бодлера, люблю созерцание зла, созерцание смерти. Но совершенно спокойное созерцание. С отвращением ко всякой экзальтации... Цветаева выбивает меня из равновесия, — продолжал он, обернувшись к Ане. — Я не хочу его терять. Я хочу совершенно владеть собой. Созерцая мои страсти и управляя ими без рывка, без бича, — едва шевеля поводьями. Я как бы перешел от барокко к классицизму. Моими наставниками были Монтень, Марк Аврелий, Сенека, Ларошфуко, Шамфор. «Ничему не удивляться»... Не втягиваться в конфликт. И не потому, чтобы я боялся боли. Скорее от юношеского страха **унижения** болью. От страха некрасивого.

— Зачем узда? — спросил Ипполит, подумав. — Мы все — хорошие люди, и то, что мы хотим, хорошо. Почти всегда. Как вода — почти всегда прозрачная. Подмывает глину, замутилась, а потом глина осядет и снова чистая. Ничего лучше нельзя придумать.

Арсений усмехнулся и закурил. Аня примерила слова Ипполита себе. Что-то не получалось.

— Так, как вы говорите, — сказала она, — хорошо на лыжах. Захотел — направо, захотел — налево. Захотел — одну девушку пригласил танцевать, захотел — другую. А вдруг у вас оборвалось, а у нее нет? Или у меня оборвалось, а у вас тянется, мучает вас — и меня мучает...

— Я живу в потоке, — сказал Ипполит после паузы. — Я не думаю о завтра. Живу сегодня. Попаду в такое положение

ние, как вы сказали, и буду думать. Может быть, хорошо, а может, плохо. Все выходит из трудного положения, если не кончают с собой. И те, у кого правила, не лучше, чем без правил. Правила заставляют двигаться, как стреноженная лошадь. Хочешь одного, а надо другое. И дергаешься из стороны в сторону.

— Вы знаете, чего хотите? — спросила Аня.

— Иногда забываю, — сказала Ипполит. — В городе забываю. Тогда надо на волю. Хочется есть — ищи, как поесть. Хочется спать — ложись.

— А я во всем сомневаюсь.

— И я сомневаюсь, — сказал Арсений. Но меня это не мучает. Сомнение во всем, сомнение без поисков выхода из сомнения — отличная подушка под головой.

— И ты доволен? — спросил Ипполит.

— И да, и нет. Я добился своего. Но боюсь, что слишком толстый панцирь может меня сплющить. У многих панцирь сам по себе, безо всяких усилий, возникает с годами: теряется острота восприятия жизни, наступает ороговение кожи... И панцирь делается саркофагом. Именно от такой защищенности я рвался в юности, от нее уходил...

— Где же выход? — спросила Аня.

Арсений молчал.

— Не в книгах, — сказал Ипполит. — Я в потоке, я плыву, и, может быть, поток меня вынесет. А ты на берегу. Твои ноги сухие, твои руки сухие. Ты никуда не приплывешь.

— И ты не плывешь. Тебя несет, как щепку...

Аня подумала и сказала: «Вы правы, Арсений. Но ведь Ипполит тоже прав. Чтобы победить реку, надо вступить в нее».

— Отчего же вы не переплыли реку? — спросил Арсений. — Вы так хорошо все объяснили.

— У меня не хватает сил. Меня захлестывают волны.

— А у меня хватает силы не пускаться в авантюры.

— А как же последний шаг? — спросила на этот раз Аня, улыбнувшись.

— Не знаю, — сказал Арсений. — Может быть, во сне...

— Сны у тебя хорошие, — сказал Ипполит. — Потому что разум засыпает. И душа выходит на волю. А потом разум просыпается и загоняет душу назад в клетку.

— У меня тоже половина жизни — в снах, — сказала Аня. — «В постель иду, как в ложу, затем, чтоб видеть сны...»

— Теперь опять ваша очередь рассказывать сны, — сказал Арсений.

— Может быть... Но расскажите сперва вы — как во сне сделали последний шаг.

— Я не сделал, — ответил Арсений. — Ангел сделал за меня. Он меня выbral. Я бродил, никому не видимый, по обреченному городу... Вдруг подошел юноша с блистающими глазами и начертал мне на лбу светящийся знак, вроде недописанной шестерки. Я проснулся и стал рыться в пророчествах. И нашел — у Иезекииля, которого я никогда раньше не читал. Ангел накануне разрушения Иерусалима обходил город и чертил на лбу тех, кому назначено было уцелеть, «тов» (хорошо, добро — слово, сказанное Богом в конце каждого дня творения). Теща моя знает еврейскую грамоту. Она подтвердила, что «т», «тов», походит на недописанную шестерку.

— Это душа, — сказал Ипполит.

— Что — душа? — спросил Арсений.

— Душа сказала, что она бессмертна.

— Если сбудется, — прибавил Арсений.

— А как сбуться? — спросила Аня.

— Надо сделать последний шаг, — улыбнулся Арсений.

Наступила пауза. Ипполит смотрел в окно. Арсений и Аня курили. Потом Аня предложила:

— Давайте погасим свет. И будем читать стихи.

Стали читать Мандельштама, Гумилева. В бледном расцветном сумраке яснее прорисовывались двенадцатипятиэтажные, шестнадцатипятиэтажные прямоугольники домов, окружавших лес.

— Это и лес невозможно рядом, — сказал Ипполит. — Что-то должно погибнуть. Или леса и поля, или коробки. Коробки на боку, коробки торчком. Это не среда. Это казармы и свалки. Чем больше будут разрастаться свалки, тем быстрее все погибнет. Пусть погибнут поскорее. И останется лес, море, гора.

— А люди? — спросила Аня.

— Люди в горах, в тайге уцелеют. И постепенно снова населят землю. Не будут строить городов. Не надо будет тянуться к чему-то, выглядеть умнее, чем ты есть. Все это отпадает. Будут сажать картошку, разводить коз, кур. Иногда петь песни. Вспоминать стихи. А это кино, — он ткнул пальцем в сторону видного вдаль кинотеатра, — его не будет. Не будет пленки, электричества не будет, и желания не будет —

ставить фильмы. Я как-то был на съемке. Под гримом, мокрые от пота... Еще раз... Еще раз... Не так плачете — неискренно...

— Рожать тоже нескрасиво, — возразила Аня. — Если смотреть со стороны. А родился ребенок — чудо. И в искусстве — чудо. Если даже завтра все погибнет, все равно.

— Когда родился ребенок, Будда бежал. — Ипполит хотел еще что-то прибавить, но не находил слов. Какое-то время он думал про себя, потом сказал: — Надо жить без цивилизации, без всех «надо». Как будто все уже рухнуло.

— Пока это не случилось, за вами сон, — сказал Арсений.

Аня попыталась вспомнить. Тогда тоже была ночь. Но не такая, как сейчас. Черная бархатная ночь. Серебристый свет — может быть, луны? Нет, непонятно, откуда. Он нарастает, раздвигает пространство. Предчувствие чуда...

Прошло с четверть часа, прежде чем она заговорила вслух: серебристый свет. Он нарастает, раздвигает бархатную ночь. Наша земля летит к звездам. Они становятся все крупнее, все ярче. Во мне нет страха. Только радость.

Я не одна, рядом отец, возлюбленный и друг. Это люди... и в то же время — какие-то сущности. Они могут выступать как трое и как один. Это не метаморфозы — они не остаются в одном образе, они каждый миг переходят друг в друга. Зыбкие, подвижные, насыщенные каким-то смыслом.

При еле уловимом изменении восприятия спутники оказываются продолжением меня самой. Мы до конца открыты друг другу. На пороге чуда исчезли все преграды.

Больше никого не осталось на земле. Сейчас все сосредоточилось здесь, в местах моего детства. Вокруг нас степной простор, косогоры, редкие хаты в садах. Мы бродим, как бы скользим, и беседуем в ожидании. Наши глаза сияют.

Внезапно холмы пришли в движение...

Теперь я одна в хате, раскачивающейся, словно лодка. У меня мало времени. Я подхожу к старенькой этажерке, достаю книгу без обложки. Начинаю читать — и падает завеса. Мне открылась тайна небесной механики. Как все просто устроено. Просто и гениально. Как чудесно мы сопряжены: космос, я, каждый...

Проснувшись, я вспомнила все, кроме прочитанной фразы. А начиналась она словами: «Когда созвездия, подобно рою бабочек...»

— И все? — резко повернулся к ней Ипполит.

— Да. Все.

— Тут что-то очень хорошее. Только запутанное.

— Нет, почему, — возразил Арсений. — Никакой путаницы нет. Просто вы забыли все различия. Вы прикоснулись к порогу царства, заглянули в него. И душа отшатнулась. Не вынесла.

— У вас тоже был такой сон? — спросила Аня.

— Нет. Такого не было. Было наяву искушение броситься в светлую бездну. Она вдруг открылась внутри. Это называется переживанием внутреннего света. Но я отшатнулся.

— Почему? Я бы не отшатнулась.

— Да, вы бы полетели. Вверх тормашками. Но душа ваша умнее: она сознавала, что не готова, не достойна. Еще не распутала своих узлов...

Ипполит смотрел в окно — искал, где начнется заря. Бледная красноватая полоса мелькнула между башнями, потом растеклась над лесом. Там она была виднее: не мешали фонари.

Заря разгоралась все ярче. Сверкающая краска заливала облака по всему горизонту, и уже нельзя было понять, где запад, где восток. Потом это торжество стало бледнеть, таять; облака снова стали облаками.

Небо побледнело. Заря отгорела, солнце еще не взошло.

— Вам никогда не было страшно, что солнце не взойдет? — спросил Ипполит. Все промолчали: они поздно вставали и редко встречали зарю. Разве засидевшись, как сейчас.

— Мне много раз было страшно, — продолжал Ипполит, — вдруг оно не взойдет? Так и останемся без солнца.

— А может быть, сейчас последняя ночь? — спросила Аня. — И почувствовала, как это могло бы быть. Ее иногда охватывали такие провалы в тоску, в мир без солнца, в город без единого близкого человека... И хотя жизнь без надежды была призраком, созданным ее воображением, она надолго попадала ему во власть, становилась его рабыней и месяцами не могла вырваться на свободу. И сейчас она с ужасом почувствовала, что призрак опять схватил ее за горло.

Аня с отчаяньем посмотрела в окно. Там на кромке леса появилась красная полоса восхода.

### Часть III. Голоса

— Как это случилось? — спросила Аня.

— Если сказать простыми словами, выходит глупо, — ответила Руфь. — Из-за передачи. Он слишком ждал этого. Посмеивался над собой, но в душе верил, что увидят эту постановку пятьдесят миллионов человек — и остановят Настасью Филипповну. Когда-то ведь должно произойти чудо... Вдруг — нам потом объяснили, почему: назавтра собиралась областная партконференция, на телевидении наделали в штаны, на ходу вырезали из программы целые куски... И вдруг вместо нашей передачи — Аральское море. Собралась вся номенклатура, нельзя показывать ей мистику. Нам звонят, спрашивают, в чем дело, почему отмена, чуть ли не десять звонков. Мы ничего не знаем, Игорь чувствует себя мистификатором, Хлестаковым, не спит всю ночь...

— Выползли прошлые обиды, — сказала Аня. — Выползли и набросились все вместе. У меня так бывает, — сознавалась она. — Но Игорь Аветисович... он смахивал обиды, как мух...

— Смахнул бы, если бы ждал. Обыкновенно он был наготове. И вдруг поверил, что на этот раз все будет, как в сказке. Сомневался, правильно ли строит передачу, боялся унижить идею (это выражение он очень любил); а что пропустят — не сомневался. Они его сами пригласили, он не напрашивался, и принимали, как дорогого гостя, и время сейчас нежнее...

— Но и не новое! — воскликнула Аня.

Главная трудность, с которой Игорь Аветисович все время бился, — Пролог на небесах. Встреча Девы-обиды с Девой, смывающей обиды. Мария идет по суглинку, в платье, застиранном до сини, а за ней незримо херувимы и серафимы и 400 ангелов (как в хождении Богородицы по мукам, только спуск не в преисподнюю, а в земной ад). Тут сразу вопрос: как показать незримых херувимов и серафимов? И незримые легионы бесов, встающих за Девой-обидой? Даже приходила в голову мысль о мультипликации. Но решил иначе: показать студию мультипликатора, который думает о Прологе на небесах. Художник, его лицо, разговор с режиссером, а на стенах эскизы. И в разговоре — все жгучие оби-

ды XX века. Маленькая Сербия, из-за которой началась великая война. И резня армян в 1915 году. И еще, и еще, и еще. Погромы и расстрелы, расстрелы и погромы, и Майданек, и Освенцим, и Воркута, и Колыма. «И это простишь?» — спрашивают Марию. С воплями, с раздиранием ногтями лиц. Со всех концов — женский крик. Беженцы, дети... А Мария идет навстречу и за ней херувимы, и серафимы, и архангелы, и 400 ангелов (со стены, с наивных рисунков). Алма-Ата, Сумгаит, Фергана, Баку, Душанбе (фрагментами кинохроники). А потом крупным планом встреча Мышкина с Настасьей Филипповной: «Как вам не стыдно... Вы ведь не такая...»

Аня должна была сыграть эту роль, но отказалась, боялась своей застенчивости. Сейчас ей стыдно было перед лежащим в беспомощности Игорем Аветисовичем. Он так ее просил, и она знала, что он хочет вытянуть наружу спрятанное в ней, но не было в ней силы, всегда готовой к действию, а только вспышки, неожиданные вспышки, сразу же гаснувшие, как только она пыталась управлять ими, работать с ними, как актриса. И она еще раз подумала, что ничего не сможет сделать в жизни, а только благодарна за то, что в этом доме ее чувствуют не по сделанному, а по обещанному — и никак не вынимавшемуся.

С этого дня Аня каждый день бывала у Погосовых, помогая Руфи. Иногда Руфь начинала молиться, чтобы помочь Игорю, и Аня тоже втягивалась в молитву. Один раз, очнувшись, он глазами поблагодарил их. Но может быть, просто за любовь? Аня говорила про себя то одни, то другие слова, пока на какое-то слово не откликалось что-то внутри. И тогда повторяла эти несколько слов, как стихи, и сердце расправлялось, успокаивалось, затихало, и на дне его начиналась теплая жизнь, как при беременности. Но потом зачатие расплывалось, и никакого плода не было.

\* \* \*

Игорь Аветисович временами все слышал. Он только не мог говорить. Руфи он отвечал глазами, когда открывал их и видел ее, и Ане отвечал, а этим... Когда они начинали говорить...

Особенно противный голос у Аркадия Аверьяновича. Ка-

кой-то скрипучий и заползающий за шиворот. Он бубнил спокойно, без пафоса:

— Надо ведь, чтобы что-то происходило. А история вся стоит на обидах. Иначе спячка и свинство. Все сейчас обижаются на Россию и правильно делают, обида оживляет. Но надо ведь и России на кого-то обидеться. Обидимся — и встряхнемся, и сорвемся с места, и пойдем... Помните? Deutschland, erwecke, Jude, ericke! <sup>1</sup> Гм... Знаю, что вы об этом думаете — чем это кончилось. Но ведь могло иначе кончиться. Просто технически не получилось. Технически, дипломатически и так далее. Вот генерал Свечин показал, что Германия могла выиграть первую мировую войну. Не надо было строить флот, а всю мощь вложить в армию. Или просто наплевать на Самсонова, не перебрасывать двух корпусов с Западного фронта и взять Париж. И Гитлер мог выиграть войну. Мог взять Москву в октябре 1941 года, просто по глупости не взял. Мог в десятки раз шире использовать Власова, сделать его своим союзником... Когда два человека играют в карты, неизвестно, кто выиграет. Кто не рискует, тот не выигрывает. Надо рискнуть...

Игорь Аветисович молчал, но что-то в нем шевелилось, какое-то нежелание играть на чужом поле. Какое-то припоминание другого. Но оно не ложилось в слова. Аркадий Аверьянович угадал его:

— Вы думаете: любите ненавидящих вас...

Игорь Аветисович так не успел подумать, но когда услышал, испугался: как, Аркадий Аверьянович и это вывернет наизнанку?

— Любите ненавидящих вас, благословляйте проклинаящих вас, — продолжал Аркадий Аверьянович. — Да-да, очень хорошо. Для спасения души. Перед смертью. По-христиански нельзя жить, можно только умереть. Помните? Это ваш Терц писал, ваш Абрам. А народы жить хотят. Они по-своему тоже художники. Художники-язычники (потому что христианских художников не бывает). Народы творят языческую историю. Ну, конечно, под знаком креста. И нерукотворного Спаса. И православия. Но не по заповедям Христа. — Аркадий Аверьянович хихикнул. — Без Христа! Его давно сожгли... Народы ненавидят, воюют, мстят. Или разлагаются, превращаются в кашу. Которую слопают те, кто сохранил злость.

<sup>1</sup> Проснись, Германия, сдохни, еврей! (нем.)



Византию со всеми ее святыми слопали, и раскисшую западную свободу слопают. Либо мы, либо китайцы. Согласитесь, что лучше мы!..

Игорь Аветисович молчал. Ему не хотелось выбирать.

— Мы слопаем, — убежденно сказал Аркадий Аверьянович. — И уцелеет христианская культура. Другого выхода нет. Одна держава должна править миром, вместо этого ба-лагана в ООН. Иначе запустим друг в друга бомбы и все сдохнем... А что экономика наша разваливается, так ведь она не русская. Это западная утопия, пересаженная на русскую почву, и слава Богу, что она разваливается. Пусть разваливается, перетерпим; вернемся к нормальному хозяйству — опять сыты будем. А власть, традиционную русскую власть, сохраним. И будет Третий Рим.

Аркадий Аверьянович продолжал что-то говорить, но постепенно речь его перешла в бормотанье; образ расплылся, и сквозь таявшее лошадиное лицо в очках выплыло другое, круглое, нервно вздрагивавшее.

— Нет, вы прочтите это место... Разве оно не оскорбительно? Не оскорбительно? Не... — Говоривший с трудом удержался, чтобы не повторить вопрос в третий раз.

«Как треснувшая патефонная пластинка», — подумал Игорь Аветисович. Но говоривший расплылся, и снова появилось лошадиное лицо Аркадия Аверьяновича.

— Ну и что ж, что маньяк? — заскрипел его голос. — А Петр Пустынник, который втянул Европу в крестовые походы... Зачем освобождать место, где никто не похоронен? Нелепость... Но без обиды, что гроб Господен у сарацинов, и крестовых походов нет, и не развернулась торговля с Востоком, не выросли итальянские города, нет Возрождения, и нашего с вами разговора нет. Герцен — неглубокий мыслитель, Розанов его верно оценил, но одно сочинение у Герцена гениальное — «Афоризмата Тита Левиафанского»...

И тем же скрипучим голосом стал цитировать наизусть (у Аркадия Аверьяновича была отличная память):

— Разве разум, а не безумие, создал все военные державы, от Ассирии до Пруссии? Конечно, безумие. То самое, о котором говорил Шатов. Стремление к пределу и нежелание его достичь...

На этом сон прервался, на минуту появилось лицо Руфи и снова исчезло. Игорь Аветисович теперь был на какой-то конференции, и коллега, благообразный худощавый мужчи-

на с седоватой бородкой клинышком, предлагал ему присоединиться к какому-то письму протеста. Очки для чтения были в портфеле. Но где портфель? Портфеля нигде не было. И даже невозможно вспомнить, куда он его дел, где оставил. Ужас охватил Игоря Аветисовича. Это конец, это безнадежно далеко зашедший старческий склероз. «Не приглашайте меня больше, — сказал он коллеге с бородкой. — Я стар и болен, безнадежно болен...»

Потом портфель вдруг оказался у него в руках. Он шел с ним по дорожке. Справа и слева большие темные ели. «В сосновом молиться, в березовом веселиться, в еловом удаться», — вспомнил почему-то Игорь. Зловещий лес. Впрочем, глупости. Лес как лес. Обыкновенная дорожка к станции. Сейчас он придет...

Лес расступился, впереди блеснуло солнце. И вдруг его ударили по затылку. Он не слышал шагов. Почему? Его ударил грузный мужик, похожий на Малюту Скуратова с картины «Убиение св. Филиппа» в музее московской Патриархии. Грузный мужик, он не мог идти бесшумно...

Игорь остался на ногах, но портфеля опять не было. Он сделал несколько десятков шагов и вышел на шоссе. Голова кружилась. Портфеля нигде не было. Игорь упал, и мимо него ходили люди, переступая через него, как через бревно. Потом подошли две девушки, приподняли юбки, чтобы не испачкаться в крови, перешагнули и уселись на скамеечке.

— А потом я снилась себе рабыней и меня купил перс, — щебетал девичий голосок. — Перс с крашеной бородой. И потом я была римлянкой, отдававшейся своим черным рабам. Они были совершенно черными, почти лиловыми, с яркими белками глаз; один из них сделал мне больно; я его отправила в тюрьму для рабов. В эргастул...

Тело оставалось лежать у ног щебечущих девушек, а Игорь незримо перенесся в комнату, увешанную коврами, и на всех коврах — ятаганы, сабли, кинжалы, а в центре ковра — топор. Как он этого раньше не заметил? Там, в лесу, у каждой ели стоял топор. Они были накрыты густыми еловыми лапами, и он их не видел. А теперь они блестели на солнце. Он шел мимо них, а за ним мужик, похожий на Малюту Скуратова, с блестящим топором в руках. На этот раз слышен был каждый шаг — тяжелый, грузный. Игорь видел его, не оборачиваясь. Он чувствовал его своим затылком. Мужик быстро его догонял...

Сквозь сон снова мелькнули лица Руфи и Ани, они о чем-то тихо говорили. Игорь Аветисович застонал. Руфь положила руку на его лоб, но он не проснулся. Во сне возникла Аня, читавшая, в экскурсионном автобусе, стихи, наверное, Цветаевой. Да, Цветаевой:

Отказываюсь выть  
С волками площадей...

Снова сознание померкло. Когда он очнулся, рядом были Руфь и Аня. Руфь что-то показывала Ане.

— Как будто ангел это рисовал, — тихо сказала Аня.

— Она и есть ангел, — так же тихо ответила Руфь.

Дальше он не слышал, но вдруг очень захотел, чтобы ему поднесли акварель. Попробовал сказать — и, не сумев, стал с закрытыми глазами вспоминать. Мир истаявал, истончался до духа, до нежности Господа... Как люди боятся оторваться от твердого, веского. А твердое и громкое трещит, рушится. И надо вам — это. И этому никакой опоры не надо. Само на себе держится. Только сбросить все лишнее, и остается беззащитная и бесстрашная нежность... Краски размыты, очертания едва угадываются, но проступает что-то нерушимое, — когда все временное утонуло в тумане, отодвинуто на второй план. Все земное на втором месте. А в тумане царство... к которому остальное прилагается само собой...

Игорь закрыл глаза и забылся. Когда он открыл их, Руфь уже заканчивала свой рассказ о старой художнице: «У нее какой-то фильтр в душе. Не пропускает в глубину боль, обиду — только свет, только красоту».

— Да, фильтр, — подумая Игорь с ясностью сознания, которой давно не было. — Как апостол Павел сказал: несть во Христе ни эллина, ни иудея, ни римлянина, ни варвара. Сквозь фильтр Христа не проходили народные обиды. И никакие обиды. И генерал, затравивший мальчика псами, может быть, после тысячи лет страданий, пришел к матери с Христом в груди, и мать с Христом в груди его простила... И Дева, смывающая обиды, обняла их. Дева в платице, застиранном до сини... Или в белом от стирок балахоне Марьи Сергеевны... Или это та простая деревенская баба, подавшая воду раненому немцу... Мария Галича, Мария Сергеевна и не названная Гроссманом деревенская баба взяли за руки и обнялись, как жены-мироносицы на иконе Дионисия.

Он закрыл слипавшиеся глаза, в которых теснились, сплывавшаяся, образы полусна...

— И с этими тремя Мариями вы надеетесь остановить историю? — забубнил Аркадий Аверьянович. — И выпрыгнуть в вечность, где лев ляжет рядом с агнцем? В вечности, может быть, они и сейчас лежат. А во времени сейчас пять миллиардов людей... с гаком. Скоро будет шесть, восемь, десять, пятнадцать. И все каши просят. Скоро они начнут глотки перегрызать друг другу. А вы им навстречу со своими мироносицами... Ну, один из тысячи согласится умереть без греха. А народы не согласятся. Умри сегодня — я умру завтра. Как на каторге. Достоевский записал эту поговорку, и мой знакомый в лагерях слышал, сто лет спустя. Режимы менялись, идеи менялись, а люди не менялись. Китайцы убивают новорожденных. Страшно, а что делать? Чем убивать своих детей, может быть, лучше убивать соседей? Вот соберутся китайцы и пойдут на Запад. Один миллиард погибнет, а другие захватят Сибирь и расплодятся. Ну что делать? Согласиться отдать Сибирь, а потом Урал, а потом все? Потому что китайцев опять два миллиарда? Подставить правую щеку? Да вся русская культура с Христом и Богородицей держалась на империи. И мы удержимся. Это Европе кажется, что век империй прошел. У них негры за морем, не доплывут. А у нас китайцы под боком и прочие чучмеки плодятся... Или мы их, или они нас.

Внезапно к Игорю Аветисовичу вернулся голос, и он вслух сказал:

— Тройка, семерка...

Аркадий Аверьянович поднял бровь — и пропал. На его месте появился грубо сбитый человек с привычками митингового оратора. Он размеренно говорил, рубя воздух рукой:

— Были римляне, хорошие люди, плохие люди, целый народ, великий народ — и исчезли. Были греки: хорошие люди, плохие люди, целый народ, великий народ. И исчезли. А мы не хотим исчезать!

— Тройка, семерка, дама! — сказал Игорь Аветисович, и апостол Третьего Рима исчез.

Тройка, семерка, десять дней, которые потрясли мир, Перекоп, — и вдруг дама. После победы — Кронштадтское восстание, антоновское восстание... И в самый тот год, когда надо заново все решать — удар, и еще удар, и он видит, как все в руках Сталина. Никогда не считал, что личность так

много значит, и вдруг теория насмарку, и беспомощная попытка вступить в блок с Троцким, и снова удар, и потеря языка, и смерть...

Тройка, семерка, Мюнхен, блицкриг, блицзиг, — и один ложный шаг за другим, сам подставил Сталину фланги, знал ведь, что за вояки румыны, и все разваливается, и дьявол не принимает его жертв...

Тройка, семерка — крестьяне на коленях, партия на коленях, Германия на коленях, замахнулся поставить на колени весь мир — и вдруг удар, второй удар, и откуда-то его тень в судорогах смотрит, как все разваливается, и уже портреты его в сортирах, и имя его навечно погружается в вонючую жижу. Так, как казнили предателей: связав руки, головой вниз в нужник.

Кто это сказал — кажется, Вениамин Львович Теуш, — что дьявол похож на Сталина: он губит свои собственные кадры. Наверное, садисту слаще нанести удар **своему**, преданному тебе душой и телом. Без всяких причин. Без покорности разуму. Иррационально. Потому что бить врагов и строить им козни — это обычное, человеческое зло, в нем нет внутренней бесконечности, оно может исчерпаться, кончиться примирением, миром. А дьявольское зло не требует причин и не знает конца. Оно утверждает себя в своей абсолютной беспричинности. И выкладывает своему клевету вместо туза, даму.

— Да, конечно, — говорил Арсений. Он откуда-то возник вместо митингового старца Филофея. Но он тоже не понимал главного, хотя очень много понимал. — Да, конечно, у них помраченные умы. И можно освободиться от помрачения, от всего этого сора в голове. Только кому можно? Единицам. В этой стране у нас нет шансов. Надо собраться там, где единичных терпят, где масса пошлая, но не хамская, где философов не затаптывают ногами...

— Тройка, семерка, дама! — сказал Игорь третий раз и проснулся. В его уме осталась последняя фраза, и за ней смутно что-то неосознанное. Он прикрыл глаза и стал вспоминать. Тройка, семерка, дама... То есть все рассчитано, дьявол — логик. Но над ним другой дьявол, иррационалист. И вместо туза — дама. Где-то жизнь пошла не по рельсам, не подчинилась расчету. Гениальность — это чувство целого, помимо логики. Кто это сказал? Недавно читал в какой-то книжке... Забыл. Но не в этом дело. В самой мысли...

Игорь открыл глаза и встретил взгляд Руфи.

Руфь долго молчала, и только глядела на него, и вся вошла в глаза. Потом он заснул и Руфь продолжала молитву одна, прислушиваясь к ровному дыханию мужа. А Игорю снилось, что он полетел к солнцу. И с какой-то страшной высоты Земля показалась золотистой, мерцающей, как горстка драгоценностей. Да, кажется, такой ее видят космонавты...

Потом какая-то сила стала спускать его. Стали видны отдельные страны и города и толпы людей, и в каждом сердце обида.

— Выше! — сказал Игорь. И снова Земля стала единой, мерцающей золотым переливчатым светом.

«Кажется, я сейчас совсем оторвусь от Земли», — подумал Игорь. Но ему не было страшно. Свет, к которому он приближался, нарастал внутри его самого. Непонятно, сколько они парили. Игорь ни о чем не думал. Он тонул в свете, как в любви. Потом опять заработало сознание, мелькнула мысль о Земле, и он спросил себя: «Как же это выходит? Надо смотреть внимательнее». Он медленно стал спускаться, и стала видна Мария, шедшая то по Земле, то над Землей и подолом своего длинного платья смахивающая лилипутские обиды. От ее прикосновения рассыпались лилипутские армии, грозно палившие из лилипутских пушек, и стирались лилипутские границы. Но чем больше Игорь спускался, тем меньше делалась Мария, лилипуты — все больше, и наконец они совсем выросли, а хрупкая Мария затерялась среди них. Снова собрались полчища, и над ними выросла, сверкая безумными глазами, Дева-обида...

— Теперь подыдемся! — сказал Игорь. И опять то, что полно было страстной ненависти, с высоты светлело и сливалось в золотое мерцанье.

Подымаясь, Игорь приближался к чему-то, в чем почти исчезал. Одновременно чувство ничтожества и захватывающей высоты.

Вдруг ангельские голоса запели:

Не скажешь ли, сын мой, в раю:  
«Вот она, это — я, это — он»?  
Только в нашем ушербном краю  
Так душа именует свой сон.  
Дух дробится, как капли дождя,

В этот мир разделенный сходя:  
Как единая влага в росе...  
Но сольемся мы в Господе — все!<sup>1</sup>

— Сольемся, — подумал Игорь. — Конечно, сольемся.. И так останемся... «Пока Бог снова не воплотится», — подсказал ему кто-то. И еще одну строку из давно прочитанного стихотворения: «День Браммы длится много тысяч лет».

— День, а за ним ночь и снова день. В вечности нет цели и нет остановки, — думал Игорь. — Круг. Как в рублевской Троице. Правый подымается, левый спускается к людям. Остановки нет. В Божьем круге вечность живет, дышит, приходит через тысячи рождений. Может быть, каждое я — воплощение? И в каждом из нас Бог совершает свое нисхождение в плоть и возвращение к себе?

И неподвижное спасение — призрак, человеческая близорукость. Просто капля Бога, излившаяся в меня и наполнившая мою душу, вернулась в океан. Бог вернулся к себе. Будда молчал, когда его спрашивали, бессмертен ли совершенный, достигший нирваны. То, что есть, непонятно помраченному «я». Сперва — в свет, в Бога. А потом — сильно развитая личность не может не отдать себя всю всем. Страх внизу, а ты летишь над страхом. И радость, как у пловца, оторвавшегося от берега...

Потом ему задавали тысячи вопросов, на которые он не знал ответа; и он признавался, что не знает, но это неважно. А самое важное он знал: то, что ведет к жизни без страха.

...Очнувшись, Игорь Аветисович увидел Руфь, Аню и Арсения, о чем-то тихо говоривших в другом углу комнаты.

— Арсения я видел во сне, — подумал Игорь. — И топор... Под каждой еловой лапой топор...

И вдруг он спросил вслух: «Кого убили?»

Все трое замолчали и повернулись к нему, не зная, что ответить.

### Послесловие

Игорь. А я убежден, что чудо было.

Аня. Куда же оно делось?

Игорь. Растеклось по земле. Не нашлось сосуда. И ма-

<sup>1</sup> Из «Песни о Монсальвате» Д. Андреева.

терия берет реванш. Как на войне: после каждого прорыва — серия контратак.

Толя. А я не чувствовал чуда. Стоял в цепи, потому что надо было. Страшновато. Баррикады слабые. И какая это защита от танков, от «черемухи». Нас немного. В Ереване, в Тбилиси собрался весь народ. А в Москве сколько? Из десяти миллионов (с пригородами)?

Игорь. Весь народ — это ветхозаветное. Один народ вышел на площади Еревана, другой — на площади Баку... И ничего доброго не получилось... Не было выхода в новое измерение. Тот же ветхий Адам с его племенным единством и племенными распрями. А у Белого дома соединились все народы. Как в послании апостола Павла: несть ни русского, ни иудея, ни полуукраинца, ни полутатарина... Впервые в моей жизни эта вселенская идея действовала на площади. И победила государственную силу, государственную материю, оставленную духом.

Арсений. Вселенская или русская идея?

Игорь. Вселенская с русскими причудами. Защитить Белый дом позвал дух свободы. Не то, чтоб не русской, но не обязательно русской. В том числе и русской, но без подчеркивания. А потом этот дух влился в РСФСР против СССР, то есть как бы нации против союза наций. Хотя на самом деле за СССР стояла тень Российской империи, а за РСФСР — общая воля к свободе. И еще: за СССР стояла партия, в которой люди потеряли человеческие лица, стали винтиками, а за РСФСР личность, Ельцин. И войска почувствовали, где настоящий хозяин, и стали переходить к Ельцину, как от Софьи к Петру. Но все оказалось запутано победой России, победой трехцветного флага. Трехцветный флаг подсказал республикам, как поскорее развалить Союз, не дать слишком много воли демократической Москве. Вышла победа хаоса, пиррова победа. Но действовал и побеждал вселенский дух, и капельки этого духа остались — в одном сердце, в другом сердце... Во многих. Но все растеклось.

Аня. Когда же они соберутся?

Игорь. Этого я сам не знаю. Когда выстрадается воля собраться. После нескольких лет обустройства этнических заповедников.

Арсений. Лет или десятилетий?

Игорь. Может быть, и десятилетий. Но на века счета нет. Если мы не переменимся, то разрушим землю и сами



погибнем. Мы — все народы, все люди. В том числе самые благополучные. А наша страна уже сегодня погибает, так что первыми надо нам меняться. И меняться с расчетом на завтрашний день, на цивилизацию, которой сегодня еще нет, но которая будет и на Западе, и на Востоке... Нам осталось очень мало времени, чтобы сперва восстановить саму волю к действию, а потом уже повернуть снаружи внутрь, к довольству немногим во вне и внутреннему росту. Августовское чудо — только утренняя заря, предвестие грядущей огромной, как восход солнца, победы духа над плотью. Она будет — или нас не будет.

А ня. Хотя бы это чудо, или почти чудо, длилось подольше, чтобы мы привыкли к нему, поверили в него. А то оно исчезло, как сон. Как будто его не было.

Игорь. Чудо было... Все идет по духовному закону. Новый уровень никогда не давался без мук. Сперва поманит, блеснет — потом снова тьма, и надолго, и целые годы Антоний или Силуан пробивались сквозь строй бесов, пока научились твердо ставить ногу на следующую ступень. Три дня августа не приснились, они действительно были, и все попытки совершенно рационально объяснить их не удаются. Между тем привычки разума не дают просто принять цель случайностей, давших победу безоружной идее. Такие цепи случайностей бывают только во сне. В привычной дневной жизни одна случайность гасит другую. А тогда — не гасила; нужные пристраивались одна к другой. Чувствуется направляющая рука, но чья? Пытаются вручить роль Провидения Горбачеву, но все эти сценарии шиты белыми нитками. Они держатся только на том, что Провидения нет. Значит, была интрига. По-моему, не надо ничего сочинять. Чудо — направленная высшей силой цепочка неожиданностей, вероятность которой близка к нулю. По этим цепочкам, как по веревочной лестнице, история уже не раз карабкалась на новый уровень... Сперва биологическая эволюция, потом духовная...

Когда семь человек выходят на лобное место, это прекрасно, но чуда нет. Такие флюктуации всегда были. А когда выходят десятки тысяч, даже с котом в кошелке...

А ня. С каким котом?

Игорь. Моя знакомая несла с собой в кошелке кота: «Если с нами будет плохо, кот погибнет в запертой квартире. А так, если будет очень плохо, мы его выпустим...» Рус-

ский вариант спартанского «со щитом или на щите». И вот все это вместе, и кот в кошелке, и «Альфа», которой хватило Вильнюса, и дождик, который помешал пустить «черемуху», и генерал-полковник Шапошников, отказавшийся подчинить ГКЧП авацию, — все вместе слилось в чудо. А потом рассыпалось...

Арсений. Чудо никогда долго не длится. Иначе лежали бы мы на печи и ждали щучьего веления. Серийное волшебство — профессия колдунов. А чудо только показывает дорогу вверх, и дальше надо идти самому... Или чудо поддерживает человека, который изнемог на своем праведном пути. Это все уже было в Библии, и толкователи Библии объяснили, чем чудо отличается от колдовства и волшебства: своей связью с нравственными заповедями. Колдовство может быть злым, чудо — не может... Но меня смущает другое: способен ли целый народ повторить путь подвижника?

*Двадцать лет спустя*

19.XI.73. Мне 55, скоро 56, но «с точки зрения вечности» я остаюсь 17-летним: что-то угадывающим, что-то почувствовавшим, но ничего достоверно не познавшим.

2.XII.73. Литургия — своего рода игра в любовь ко всему на свете, в любовь к врагам, в благословение ненавидящих нас. Хорошо хоть поиграть и представить себе такую возможность... Может быть, подтолкнет и будет продолжать подталкивать, от заутрени к вечерне — к действительно обожению. Но если бы всех подтолкнуло — тогда вся жизнь станет как литургия и особая литургия будет ни к чему. На планете смешного человека нет храмов. Восход — заутреня, закат — вечерня, прикосновение к любимому — таинство причастия.

23.XII.73. Господи, который внутри нас и вне нас! Прикоснись к моей глубине, раскрой мою глубину, пролейся сквозь нее, ороси добром... то что ты можешь достать моими глазами, моими руками...

25.I.74. О Цветаевой в исполнении Ариадны Ардашниковой. Неверно, что Цветаева почти все время возвращается в молодость и красоту. Она должна стареть, жесты должны делаться другими (скупыми, суровыми), внутреннее чувство — более чистым и высоким, пламенем без дыма. Сивилла выжжена. Через трагизм любви к общему трагизму жизни. Кончить по ту сторону зротики. Через «Стихи сироте» — к «Деревьям», «Тоске по родине», «Кусту». Кончить нотой возвращения к вездесущему Богу, а не на сомнительную родину. «Золото моих волос...»

21.II.74. Мне советуют быть скромным, говоря о чужом. Но все, о чем я пишу, — во мне, в печенках или сердце. И я не могу говорить о себе, не говоря об этом. Пусть потом, если хотят, выбрасывают меня из истории.

21.II.74. Что мешает соединению в Святом Духе? Не церковь, сангха и другие общины, не вероисповедания, а гордыня вероисповедания. Если бы церкви стали смиренны, как почитаемые ими святые, различие обрядов не мешало бы духовной близости. Примерно как различие католических орденов или индуистских толков, суфийских братств.

3.III.74. Мои танталовы муки: я могу почувствовать запах, но не могу куснуть Святого Духа. У меня нет зубов системы, дисциплины, йоги. Нет даже привычки молитвы (самого простого), и очень трудно ее на старости лет приобрести. (18.V.93. Именно с этого момента я стал учиться молитве и за двадцать лет сделал несколько шагов, привык к ней. Когда остро осознаешь свою неполноту — начинается наполнение.) Я узнаю, но и только. Как диагност, который сразу схватывает болезнь, но не может ее вылечить. Это, наверное, не только моя беда. Шаманы лечат кое-что лучше врачей, хотя неправильно называют болезнь. А мы правильно называем и беспомощно лечим. В духовной области преимущество шамана перед интеллигентом гораздо сильнее.

Наша цивилизация, может быть, погибнет, если не восстановит привычек аскезы. Массовая культура — это культура массового самоуничтожения. Без аскезы, без инициации (с вышибанием зубов)

## СТИХИ, СТАВШИЕ МОЕЙ ЖИЗНЬЮ

По уставу «Русского богатства» каждый автор должен быть представлен прозой и стихами — хорошими или плохими. К сожалению, хороших стихов я не умел писать (попробовал в 15 лет и убедился, что не выходит), а плохих писать не хотел. Только один раз, по заказу дивизионного капельмейстера, сочинил «под рыбу» (на заданный мотив) гимн 96-й Гвардейской дивизии. Начало его помню:

Чуть вьется степная дорога  
На запад, по следу врага,  
И в каждой извилине лога  
Родная земля дорога.

Действительно, шли и шли весной 44-го по Украине, вслед за немцами, без боя уходящими в Румынию.

Вот и вся история моего стихотворения, короткая и бесцветная. Но я пользуюсь правом опубликовать стихи, *ставшие* моими. С июня 1960 года, когда я впервые их услышал, они заполнили какую-то тоскующую пустоту в сердце, и с тех пор мы не расстаемся с Зинаидой Миркиной. Каждое ее стихотворение непременно читается мне, как только оно написано, и если какая-то строка или строфа не нравится, то сочиняется заново. Иначе стихотворение не переписывается начисто. У Зины, в свою очередь, есть право вето на мои опыты. Таким образом, я несу полную ответственность за стихи Зинаиды Миркиной — если не как автор, то как домашний редактор. Тридцать три года я живу в потоке этих стихов, и без них все, что написано мною, выглядело бы иначе.

Григорий Померанц

Зинаида МИРКИНА

\* \* \*

И почему-то надо мне,  
Чтоб день не шел бесследно мимо,  
Чтоб он оставил след свой зримый  
В моей незримой глубине.

Вот тот таинственный узор. —  
Точнейшее изображение  
Неуловимого движенья,  
Которым создан наш простор.

Мне надо сердцем обвести  
Ту линию, что Бог мой чертит  
В своем неведомом пути,  
Ведущем всех нас в жизнь из смерти...

\* \* \*

Никого... И умолкли споры.  
Равновесие тайных гирь.  
Одиночество — суть простора.  
Одиночество — это ширь.

Это — дали и снова дали,  
Распростертых морей стекло,  
Неисписанные скрижали,  
Ненатруженное крыло.

Это — блюдо с небесным хлебом,  
Это — дом, что открыт, как путь.  
Это — полное духом небо,  
Это — полная небом грудь.

Это то, что всегда бескрайно,  
И — наш край, наша твердь — упор.  
Одиночество — это тайна  
Созидающего простор.

Вот того, кто свой крест выносит  
И растит эту глубь и глушь.  
Одиночество старых сосен...  
Одиночество вечных душ...

\* \* \*

И что-то есть, что не зависит  
От точного сцепленья чисел,  
Ни от судеб всех переплетенных  
Ни от самих земных законов.

Об этом нам напоминает  
Всевластно тишина ночная,  
Деревья, полные покоя,  
И свет, разлитый над рекою.

И все становится неважно  
Вот в этой тишине протяжной,  
И открываются в молчаньи  
Совсем иные расстоянья,

Где путь до сердца так же длинен,  
Как до звезды в ночной пустыне,  
И звезды с сердцем воедино  
Слились и светятся в глубинах...

\* \* \*

I

А Бог в этом мире растет.  
А Бог в этом мире течет.  
А Бог ускользает от глаз,  
Как безостановочный час.

Он нам оставляет свой след,  
Как тайно мерцающий свет.  
И в сердце печатает шаг,  
Огнем проступая сквозь мрак.

Но — ни монументов, ни плит!  
Наш Бог в этом мире сквозит.  
Наш Бог в этом мире всегда  
Проходит сквозь мир, как вода

Сквозь сети. — Насквозь и вперед!  
Наш Бог в этом мире растет  
Сквозь сердце. Завет Его прост:  
Не смей останавливать рост!

Не ешь тот неведомый плод,  
Что семя тебе принесет  
В неведомом. Жив и поднесь  
Запрет: остановка — не здесь!

## II

Воскреснет! Но не здесь, не здесь!  
А там, где соберется весь  
Дух и мириады глаз  
В едином лике вмиг и враз  
Засветятся, как сонмы звезд  
В едином небе. — Кончен рост.  
Нет времени. И нет частей,  
И ты един с душой твоей.  
Всё цело, как немых небес  
Всецелый круг. — Воскрес! Воскрес!

## III

О, Свет, омытый в море слез!  
Воскрес — так значит Он пророс  
Во тьме сердечной, как зерно,  
Что было внутрь погребено.

Его земля — душа моя.  
И в этом тяжесть бытия  
И счастье тяжести земной —  
Мой Бог, смешавшийся со мной.

Владыка, повелевший мне  
Взрастить Свой образ в глубине,  
Мне завещавший тяжкий труд,  
Что вечной радостью зовут.

## IV

И как же можно не трудиться,  
Когда есть смерть? Когда она  
Внутри? Как не растить зерна,  
Что прямо в грудь мою ложится?  
О, этот труд приятья внутрь  
Всего, что есть, всего, что было...

Немое собиранье силы  
В ночи и эта легкость утр,  
Как бы не знающих о ночи...  
Будь вечным и твори, что хочешь!

## V

Будь вечным...

Но ведь это значит,  
Что высыхает море плача  
Что смерть прошла, закрылась рана —  
Осанна, Господи, Осанна!  
Я постигаю Твой закон:  
И Ты и я, и я и он —  
Одно. Ведь Ты сращен со всеми.  
И непосильной жизни бремя,  
Что смертный сам поднять не мог,  
Легко несет всецелый Бог  
Там, в вечности...



А здесь — работа  
Смешение слезы и пота  
Кровавого...

Мольба в ночи,  
Чтобы прозрели палачи  
И вдруг увидели, что плод  
Запретный медленно растет  
На том же Древе и опять  
Бог не велит его срывать.

---

\* \* \*

Не двигаться... застыть...

Дождь за меня идет...  
Жизнь за меня идет, а я еще не знаю,  
Что значит этот шаг, что значит этот ход  
Через меня насквозь... Что значит жизнь иная?..

Дослушать, доглядеть, додумать, домолчать,  
До-быть со дна души живую тайну. —  
Нельзя объять умом, не надо разрывать  
На части и края то, что вовек бескрайно.

Бескраен тихий час успенья моего.  
Мой неподвижный Дух сам у себя на тризне.  
Он видит, наконец, что смерть есть торжество,  
Немое торжество непреходящей жизни.

Он видит, наконец, Он слышит, наконец,  
Что Бог у нас внутри, а вовсе не над нами,  
Что жизнь и смерть сплелись на глубине сердец,  
Где вечность говорит беззвучными громами.

И мертвые живут и действуют в живом.  
Наш Бог есть то, за всех сказавшееся Слово.  
В нем каждый говорит, как колокол, как гром,  
И никогда никто не заглушил другого.

И Дух, как небеса, распахнут над судьбой  
И вписывает в жизнь стираемое имя...  
И если мертвых я не заглушу собой,  
То можно ликовать за них и вместе с ними.

\* \* \*

*Огонь пылает в человеке.*

*О. Мандельштам*

Свобода, Господи, свобода!  
Бескрайность Духа моего.  
Распахнутость немого свода,  
И кроме бездны — ничего!

Волна в гудящем океане,  
Гром соловьев в лесной глуши.  
И ликованье, ликованье  
Освободившейся души!

Весь долг — ни мало и ни много —  
Всю ношу, всю любовь свою  
Лицо приблизившему Богу  
Я безоглядно отдаю.

Простор распахнутого храма —  
Серебряный огонь седин...  
Бог дал Исака Аврааму:  
Пойми, что сын твой — Божий сын.

Что он не твой... О, Боже, Боже,  
Какой ценою благодать  
Дается!.. Неужели сможешь  
Дитя единственное взять?!

О, Бог, горящий в человеке!  
Огонь, сжигающий меня!  
Лишь только отданный навеки  
Вернется вечным из огня.

Сумеет впрямь освободиться  
Лишь долг отдавшая душа.  
И вот — я больше не должница.  
За мной сегодня — ни гроша.

Разорван счет, все цифры стерты —  
О, этот огненный порыв!  
Взять нечего лишь только с мертвых.  
А Вечный умер или жив?

\* \* \*

Размотан дней предвечный свиток  
И в мире снова нет греха,  
Когда душа моя открыта,  
Когда душа моя тиха.

Лес ветром медленным укачан,  
И с дальних звезд идет волна,  
Когда мой дух совсем прозрачен,  
Когда душа растворена.

И нет во мне конца и краю  
И хоры ангелов поют,  
Когда души не закрываю,  
Когда в ней Бог нашел приют...

\* \* \*

Господь велел хранить субботу,  
Господь велел хранить простор.  
Он для предвечного полета  
Крыло незримое простер.

Творящий воли постоянство,  
Как слово, на скрижаль легло —  
Нам велено растить пространство,  
Чтоб было где раскрыть крыло.

\* \* \*

## I

Не спеши говорить... Молчалива река  
И у сосен терпенья хватило  
Промолчать все года, промолчать все века  
И набраться неведомой силы.

Не спеши говорить и молить не спеши.  
Нам ведь надобно всем так немного... —  
Если только хватило бы сил у души  
Домолчаться до Господа Бога!..

## II

Говорить, но с деревьями вместе  
И с ручьем, уходящим в овраг.  
С отголоском немолкнувшей вести,  
Что сказаться не может никак.

Говорить, но без связи обратной  
В слух того, кто заведомо нем.  
Говорить, но о чем — непонятно,  
Говорить неизвестно зачем...

\* \* \*

Тот, кто смог безмолвье слушать  
Час подряд,  
Тот почувствует, что души  
Говорят.  
Это так неоспоримо,  
Будто вот —  
Ароматный запах дыма  
В ноздри бьет.  
Все, что скажут, что опишут —  
Отзвук, след.  
Это или сам услышишь,  
Или нет.

Кто взгляделся внутрь обрыва  
В глубь, в огни,  
Знает — умершие живы, —  
Вот они.  
Нет, совсем не перед нами —  
Через, сквозь,  
Это — прямо в сердце пламя  
Занялось.  
Это — свет зажегся в ране...  
Так в ночи  
Разгорается молчанье  
От свечи.  
Ни лица вокруг, ни тени —  
Сквозь меня,  
Через смерть саму — свеченье,  
Глаз огня.

\* \* \*

И дождь и ветер за окном,  
А в доме — тихо.  
Мой теплый, мой уютный дом  
Укрыт от лиха.

Как вихрь упорен, как давно  
Он бьется в стены!..  
А в доме — малое зерно  
Большой Вселенной.

Дождь хлещет бурною рекой  
Так неужёмно!..  
А я должна растить покой,  
Как мир — огромный.  
Пространство все просквожено  
Сплошной тоскою...  
А мне поручено одно  
Зерно покоя.  
Все дали в смуте и в борьбе.  
А я сегодня —  
Не за себя, не о себе —  
Раба Господня.

## МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

*«Борис, но одно: я не люблю моря. Столько места, а ходить нельзя. Раз. Оно двигается, а я гляжу. Два. Борис, да ведь это та же сцена, то есть моя вынужденная, заведомая неподвижность. Моя косность ... Так, Иегову, например, бы ненавидела. Как всякую власть. Море — диктатура, Борис».*

Из письма М. Цветаевой к  
Б. Пастернаку  
от 23 мая 1926 г.

## I

Марина не любила моря.  
Но кто еще, какой святой  
был так бесстрашен и бесспорен  
глаз на глаз с этой широтой?

Кто мог ответствовать Вселенной,  
как вал, как ветер, как прибой, —  
единым вдохом, мгновенно,  
на каждый вызов — всей собой?

До боли, до крови, до хруста, —  
одним рывком — все существо!  
... Но если — тихо, если — пусто...  
Вокруг и рядом — н и ч е г о?

Ни зова, ни руки, ни взгляда, —  
Пустыня. Без границ и дна.  
И делать ничего не надо.  
Не до тебя. Ты не нужна.  
Все, что ни дашь, все будет мало.  
А надо только, онемев,  
застыть. Так, чтоб тебя не стало.  
Всецелость — это Божий зев  
всепоглощающий. Он черен  
и ненасытен. — Моря гладь...

Марина не любила моря.  
Марина не умела ждать,  
отсутствуя... когда в глубоком  
молчании, уйдя во тьму,  
нас просит Знающее Око  
лишь только предстоять Ему.  
Лишь предстоять... Когда поклажа  
превыше сил и — ветра вой.  
Когда ты обречен и даже —  
не только ты, — ребенок твой.

## II

Благодарю за дар и милость,  
за это воплощение сна!  
О, Господи, — душа свершилась!  
Совершена!

Завершена!?

— Нет завершения. Но эта  
всеполнота и эта страсть!  
Огнь очищения, вспышка света!  
Твой умысел — душа с б ы л а с ь!  
И льется, хлещет — в очи, в уши,  
через края, через века.  
О, только подставляйте души!  
Все мало! Каждая — мелка!

И нет на свете ни единой  
до сокровеннейших глубин  
вместившей всю.

— Пстой, Марина.

Не забывай, — ведь был Один...  
Одна... Одно... (О, вихрь свободы,  
дохнувший разом, вороша  
миры! — Не знать, какого рода,  
какого племени Душа!)  
Есть полнобытие и только.  
И пусть уйдут из сердца дрожь  
и трепет — дребезги осколков!

— А страх и трепет, что убьешь  
кого-то? Страх, что в этой гуще  
толкнешь ребенка? Жизни нить  
заденешь... Трепет, не дающий  
нам двинуться. — Застыть... Не быть...

Тот, кто сомненьями раздавлен,  
по силе сам тебе подстать.  
Ты знаешь, быть боялся Гамлет  
затем, что быть и убивать —  
сродни... О, эта тонкость ткани —  
мы сотканы — сопряжены.  
Дохнуть — уже кого-то ранить,  
не разглядеть чужие сны...  
чужой души... Душа чужая?  
Но у души — ни стен, ни дна,  
ни разделения, ни края, —  
душа на всех, сквозь всех — одна.  
Вот Та, То, Тот — предел накала, —  
Огонь, не сжегший никого.

Все, что любила, ты вмещала  
и обнимала.

А ЕГО?

Того, Кто взял вовнутрь все горе,  
всю смерть, и — жив, не изнемог?

Марина не любила Моря,  
но да ответит только Бог.  
Сам Иову.

Грозы раскаты.  
Блеск молнии и вновь темно.  
А необъятность не объята.  
Есть ты и море. Не одно,  
а двое.

Этот ветер ада!  
Противужизнь. И силы нет  
противустать.

— Творец, не надо  
щедрот. Возьми назад билет!  
Так не бывать конца раздору...  
Как он бездушен, слеп и глух



тот всемогущий вихрь, который  
родит и задувает Дух!..  
Не в пѣтлю если, так с обрыва...

Но зрители, подите прочь!  
Здесь — Бог и сердце, Бог и Иов.  
Резец и мрамор. Огонь и ночь.

### III

*(В книге Разумовской о М. Цветаевой говорится, что Пастернак, провожая Марину Ивановну в эвакуацию, принес ей веревку для перевязывания вещей и сказал ей, что веревка эта такая крепкая, что все выдержит, — хоть вешайся на ней. Каким-то образом якобы было установлено, что именно на ней повесилась Марина Ивановна...)*

Он сам ей дал веревку  
в ту давнюю минуту.  
О, Господи, как ловко  
им черт все карты спутал...

Он сам... О, Боже, Боже!  
Как он любил когда-то  
сей Дух, прожегший кожу,  
бесстрашный и крылатый!

Дух, все веревки рвущий —  
Единым духом живы —  
Он был ей равносущным,  
Она — его прорывом

в себя, где правит гений,  
и — по мандату Бога —  
бескрайность устремлений,  
в неведомость дорога.

Ни цели, ни оплота,  
ни пола и ни кровя —  
энергия полета  
и — ничего другого.

Перейдена граница  
и силы и бессилья.  
Нельзя остановиться,  
не потерявши крыльев.

Но невозможно выжить,  
летя, как ветер в поле,  
и чем вольней, тем ближе  
к заведомой неволе.

И что же, что мне делать  
через года разлуки,  
когда душа и тело,  
когда крыла и руки

разделены, разъяты,  
и каждый — кто что может.  
«Прими же, чем богаты,  
не надо лезть из кожи».

Извечные советы  
всех «кое-что имущих»...  
Но если кожи нету —  
ободранная сущность?

И по законам братства  
— вот час, в который слиться б...  
Но как не испугаться,  
когда пусты глазницы?

Когда одни провалы,  
когда одни крутизны  
у той, что испугалась  
не гибели, а жизни?..

И вот, друг перед другом,  
как будто в рукопашной —  
две правды, два испуга,  
две кривды, два бесстрашья.

Так будем молчаливы  
у края мирозданья,  
дабы расслышал Иов  
Господнее молчанье.

И после всех событий —  
«О, кто мы и откуда?»  
И кто кому хранитель?  
И кто кому — Иуда...

#### IV

И вдруг, отчаявшись искать извне,  
сердцем и голосом упав: во мне!

М. Цветаева. «Сивилла»

Ложь — красные листья:

Здесь свет, попирающий цвет.

М. Цветаева. «Деревья»

Ты всё себе равных искала,  
вся настежь: услышь и войди!  
Но сердце такого накала,  
но солнце в провале груди...  
Но голос подобного звона,  
но этот рокочущий стих  
в мир темный, и вялый, и сонный  
врывался как огненный вихрь.

И вот, камня от взлета,  
среди сотен и тысяч — одна.  
Как крылья раскинув пустоты,  
подходит к тебе Тишина.

Ты знала, ты знала про это  
свидание в месте разлук,  
где цвет, попираемый светом,  
беззвучьем зачеркнутый звук.

Он все ощутимей, все ближе...  
Явь прорвана. Зримость — мала...  
Зачем ты кричишь — ненавижу!  
Тому, кого тайно ждала?!

Зачем испугалась? Не ты ли,  
рванувшись к последней черте,  
в глаза заглянула Сивилле  
и Бога нашла в пустоте?

Ну, вот она — эта Пустыня!  
Твой пламень все тленное сжег. —  
Ни красок, ни форм и ни линий —  
нет внешнего мира — есть Бог.

Зовущая сердце пещера...  
Не ты ль, размывая края,  
высокой нас мерила мерой?  
Так вот она — мера твоя.

Горчайшее высоко-мерье:  
испить Его чашу до дна  
и Божьей единственной дочерью  
остаться, — Один и Одна.

Ни чайний нет, ни посулов.  
Крест — крылья. Крылата, как Он.  
Так что ж ты на мир оглянулась?  
Там — имя ему — легион...

---

\* \* \*

И только лишь глаза закрою —  
Встает морская гладь с горою,  
И всей Вселенной широта  
Сверкает, как одна черта.

И вот мой опыт прожитой  
Вмиг перечёркнут той чертой. —  
Тот Божий росчерк, то мгновенье  
Есть смерть моя и воскресенье.

\* \* \*

Для того, чтоб взглядеться в себя, мне нужна  
Всех морей широта, всех небес высота.  
Нужно мне, чтобы даль потеряла края,  
Чтоб увидеть свое бесконечное «я».

Должен мир этот стать нескончаемо тих,  
Чтобы в сердце открылась святая святых,  
Чтоб священное место в глубинах нашлось —  
Этот вход внутрь себя, этот выход насквозь.

\* \* \*

Как близко Божие дыханье,  
Почти касается лица...  
Мир еле виден, мир в тумане  
Не мир, а замысел Творца.

Да, этот мир, одетый дымом,  
Как бы отдавший богу груз, —  
Напоминанье о Незримом,  
С извечной сущностью союз.

\* \* \*

Туман набросил покрывало  
На горы. Исчезает цвет.  
Осталось только два начала:  
Инь—ян, чет — нечет, да и нет.

Мир нарисован светотенью,  
Не мир, а замысел, намёк —  
Не вещи, а соотношенья  
Чистейшие — есть я и Бог.

\* \* \*

Положить свое сердце в руки Бога и ждать.  
Только, Господи, руки подставь!..  
Положить свое сердце на тихую гладь  
Моря... Что это?.. Сон или явь?..

Этот сизый простор водяного стекла,  
Эта мягкая линия скал...  
Сердце отдано. Сердце свое отдала  
Я Тому, Кто мне мир этот дал...

\* \* \*

А море — это матерьял.  
Дух нас из моря создавал  
И создает до этих пор.  
О, Господи, какой простор  
Для Духа! Трепещи, стена!  
Ты будешь Духом сметена!

Но если стенок больше нет,  
Но если свой последний след  
Ты стёр, из сердца страх исторг, —  
То, Господи, какой восторг!

\* \* \*

И ни времен и ни историй —  
Волна ударит, берег ахнет.  
О, Боже мой, как пахнет море!  
Как пахнет даль, как небо пахнет!

И зародились в этой пене  
Мы все, а не одна Венера.  
Как пахнет жизнь и воскресенье!  
Как пахнет радость, пахнет вера!

И нет с небес на землю трапа.  
Наш Бог приходит к нам отсюда.  
И тот, кто веру знал на запах,  
Тот совершить обязан чудо!

\* \* \*

Паруса блестят под лучом.  
Облака висят ни на чём.  
Нищий Царь небес, соизволь —  
Подари душе чистый ноль.

Ты раздуй мои паруса,  
Подари свои небеса,  
Дай нащупать мне эту твердь,  
О которую бьется смерть.

Твердь небесная — ничего,  
Святость имени Твоего.  
От земных имен — ни следа.  
Ты куда плывешь? — Никуда.  
Ты о чем молчишь? Ни о чем.  
Паруса блестят под лучом...

\* \* \*

Мой райский сад, мой мир родной,  
Простёртый в тишине...  
Моя душа — передо мной,  
А вовсе не во мне.

Вот эти мягкие холмы,  
Окутанные мглой,  
И то восставшее из тьмы  
Свеченье над скалой...

Душа моя, моя любовь  
Всё ближе, всё ясней...  
Я припадаю вновь и вновь  
В великой жажде к ней.

Стою, колена преклоня,  
И так года идут.  
Но чтоб она вошла в меня,  
Мне нужен труд и труд...

\* \* \*

Жизнь на горе совсем другая.  
Здесь больше — ни долгов, ни вин.  
И до горы не достигает  
Разноголосица низин.

Жизнь начинается сначала  
Для тех, кто совершает всход.  
И всё, что выло и кричало,  
Сюда поднявшись, запоёт.

\* \* \*

День гас, но свеченье крыла расплескало  
И стало их ввысь подымать, не спеша.  
Гора оставалась. Заря отлетала.  
От древней Горы отлетала Душа.

Вот в эти часы перед самую ночью,  
Когда распростерся в молитве простор,  
Мы можем внезапно увидеть воочью  
Легчайшую Душу недвижимых гор.

\* \* \*

И что-то в мире есть важней,  
Чем этот мир. Есть в жизни что-то  
Важней, чем жизнь и смерть — работа  
Творца над глиною своей.



Безмолвный час богослуженья,  
Час паузы, пустынный час,  
Когда свершается вторжение  
Всей нашей Сущности внутрь нас.

И Тот, кто нас безмерно боле,  
Кто держит каждого в горсти,  
Склоняясь к нам, смиренно молит:  
— Дай Мне ожить в тебе — вместе!

\* \* \*

А эта чайка над волной  
Летит, чтобы связать со мной  
Всю даль и высоту.

Немая широта морей,  
Ты связана с душой моей  
Мгновенно, на лету.

Вот в тот пустующий пробел  
Легчайший вестник залетел,  
И — линия крыла

Вонзилась блещущей иглой  
В туман над сизою скалой  
И мысль пересекла.

\* \* \*

Туман зовет нас вглубь взглядеться...  
Едва заметны корабли,  
И наше близкое соседство  
Находится в такой дали!..

И мир прозрачный, мир бездонный  
Сокрыл от нас свой внешний план  
И вот становится иконой  
Пространства тающий туман...

\* \* \*

А море было точно глаз,  
Ни разу не сморгнувший, с нас  
Не сведший пристального взгляда.  
Нет, не бескрайняя громада,  
А чьей-то одинокий глаз,  
Вниманьем пронизавший нас,  
И доглядевшийся до малой  
Крупницы — до того кристалла,  
Который не был замутнен  
Рекой промчавшихся времен...

\* \* \*

И руки к небу вознесла  
Неодолимая хвала,  
Остановилась над водой  
И стала горною грядой.

Один порыв, бессменный взлет.  
В одном мгновении течет  
С земли к небесному царю  
Беззвучное — «благодарю!»

\* \* \*

Твой ангел — это только след,  
Лишь след Того, кто был — и нет,  
След от дыханья — абрис крыл,  
О, Господи, так Ты здесь был?..

След... Нет, не только след, а весть  
О Том, который вечно есть,  
Хотя всегда ни здесь, ни там,  
И только оставляет нам  
Все вновь и вновь свои следы  
На глади неба и воды.

\* \* \*

Туман... Морская даль в тумане,  
Как будто мир из дыма ткан.  
И не осталось расстояний. —  
Есть глубина и есть туман.

А там, в тумане... Из тумана...  
О, Господи, да что же там?  
Ушам не слышная осанна  
И шепот, слышный небесам.

Не после жизни, не за краем,  
А на земле, вот в этот час  
Мы небо сердцем осязаем  
И небо осязает нас.

\* \* \*

Из времени выпрыгивать не надо.  
Вот так же, как не надо вон из плоти.  
Век — это конь, везущий нас из ада,  
Душа должна помочь его работе.

За шагом шаг по кручам, по излогам.  
За часом час, как вал морской за валом...  
Какая неизбывная дорога!  
О только бы душа не отставала!

О только бы душа не пропустила  
Ни мига, ни единственного шага!..  
Какая ей потребуется сила!  
Какое же терпенье и отвага!

Чтоб дух нашел все части, все потери,  
Чтоб вернуть к прообразам все лица,  
Все надобно душой своей измерить,  
Ни от чего нельзя ей уклониться.

И вот когда исполнится задача,  
Тогда Господь напомнит нам о Чуде...  
Когда не будет ни мольбы, ни плача,  
Тогда свершится: времени не будет.

\* \* \*

Не на горе и не во храме...  
Все море в блесках серебра.  
Туман над дальними холмами,  
Почти истаяла гора.

А человеческие лица...  
О, Свете тихий, просвети  
Мир, не умеющий молиться,  
Мир, перепутавший пути...

\* \* \*

Укорениться в тишине,  
Укрыться от тревог,  
Чтобы расправился во мне,  
Очнулся в сердце Бог.

И стал наружу прорастать,  
А я б Его ждала...  
Шагов невидимых печать —  
Вот все мои дела.

\* \* \*

Покой, владеющий ветрами.  
Покой, сжигающий, как пламя.  
Покой, который шлет приказы  
Всем мыслям и всем силам сразу.

Покой, что нам пределы чертит,  
Покой, что громыхает в смерти,  
Покой, чьи дальние раскаты  
Доносятся глухим набатом

Из глубины, и внутрь, в глубины  
Зовут отторгнутого сына.  
Покой, не знающий границы,  
Покой, который не боится

Разбушевавшегося ада.  
Покой, в котором нет пощады  
Ко всем губителям покоя.  
О, Боже, что это такое?..

\* \* \*

## I

И наконец-то ничего  
Не надо. Всё остановилось.  
И проступило естество  
Божественное. Божья милость  
Вдруг стала ясной, как кристалл,  
В котором тонкий луч блистал.  
Да, наконец, — ни слов, ни дел  
И ни движения, ни взгляда.  
Всё смолкло. Ничего не надо,  
И дух спокоен и всецел.  
О, эта тишина святая!  
Такой глубокий час настал,  
Что мир на сердце нарастает,  
Вот так, как на кристалл — кристалл.

## II

И что бы ни было, знай — есть  
Покой божественный, — та почва,  
Та твердь небесная, где точно  
Ты сможешь снова жизнь обрести.  
Каким ты ни горишь огнем,  
В какую б ни был втянут битву, —  
Воспоминание о нем  
И есть та высшая молитва,  
Та, возвращающая жизнь...  
Бог есть покой! Остановись!

## III

И каждый день — богослуженье,  
И без молебствия — ни дня.  
Покой, входящий внутрь меня,  
Приводит все миры в движенье.  
Творец не взмахивал рукою,  
А лишь привел Себя к покою  
Неодолимому. И так  
Вонзился первый луч во мрак,  
И хаос рассекло начало  
Начал. И слово прозвучало  
В той первозданной тишине.  
И эхо вздрогнуло во мне.

## IV

Я прикоснулась к Твоему покою,  
На запах ощутила и на вес  
Пространство неподвижное морское  
И тишину раскинутых небес.  
Покой, что не чурался рукопашной,  
Глаз на глаз с безысходною тоской...  
Покой, на дне которого — бесстрашье  
Все страхи перевесивший покой...

\* \* \*

Жизнь вечная есть песнопенье  
Валов в сей храмине морской,  
То бесконечное движенье,  
Внутри которого — покой.

И я узнала, что такое  
Смерть вечная — тот ад, что полн  
Одним движеньем без покоя,  
Одним покоем, но без волн  
Тех внутренних...

(Продолжение. Начало на с. 177)

невозможен новый старт. Как в обществе без аскезы, в обществе неврастеников, истериков, управлять атомной энергией?

Все вероисповедания приходят тут на помощь, предлагают свои испытанные приемы, но что делать с гордыней вероисповедания? Как вернуться в школу молитвы, не вернувшись в школу нетерпимости и религиозных войн?

Мне кажется, один из путей к этому — акцент на том, кто делает, а не как и что. Акцент на глубине личности, на определенном уровне (внутреннего человека), к которому обращается слово и жест. Какое слово, какой жест? Такой, который достигает глубин внутреннего человека, который делает внутреннее постоянно присутствующим во внешнем. Если это достигнуто, то не нужно никакой верхушечной организации, вроде теософской. Достаточно общности духа и взаимного понимания.

9.III.74. Есть что-то общее в рассуждении двух капитанов, совершивших государственный переворот и пишущих «Философию революции» (или «Философию контрреволюции»). Оба одушевлены идеей окончательного искоренения зла.

10.III.74. Г. Соколик с восхищением пишет о Расселе: «Только люди, обладающие, как Рассел, интеллектуальным бесстрашием, способны быть логически последовательными... Понятия, естественно возникающие в процессе творческой эволюции... могут быть отвергнуты в фантастическом мире логического анализа, в котором возможно все, но лишь при условии соблюдения правил вывода. Мы подходим здесь к самому краю представимого, где интуиция — бессильна, но лишь в этой области и могут иссле-

доваться способности человеческого разума к достоверным суждениям...»

Там, где интуиция бессильна, я предпочитаю замолчать. Истина в своей глубине неопределима. Не разложенный призмой свет бесцветен (платоновское тождество следовало бы переписать на буддийский лад, негативно: не истина, не добро, не красота... Как Экхарт о Боге: Бог не добр — и т. п.). Логический вывод может оперировать только с осколками Идеи. И все, чего он достигает, — абстрактное тождество разума с самим собой. Во внешнем эти манипуляции могут быть полезны (там часто приходится разбирать и собирать осколки). Но внутренний человек не имеет где высунуться сквозь решетку логики.

«Отраженное мышление действительно свободно, — продолжает Соколик. — Для него характерен особый полет фантазии (не привязанной к образам, взятым из внешнего мира, типа фантазий Грина)... Мы оказываемся вне «банальной сказки», т. е. «по ту сторону зеркала».

Чтобы взглянуть на числа вполне теоретически, Расселу понадобилось создать нечто подобное «провинции игры», т. е. вполне изъятые из внешнего мира царство, где ничто не апеллировало к интуиции, в котором любое рассуждение можно было довести до конца, не вводя поправок на самоочевидность...»

Этот «дробящий разум» (как отозвался об уме Рассела его противник) знали еще древние римляне: *fiat justitia, pereat mundus*. И наш мир погибнет, если не ускользнет от его железной логики.

14.III.74. Роберт Белла считает своей задачей «пробуждать деятелей от охватившего их транс»

(Bellah R. Beyond belief. N. Y, 1970, p. XVIII).

Но можно ли пробудить Солженицына? И нужно ли? По самому высокому счету, для души его — нужно. Но то, что он выполнил, мог проделать только лунатик. Очнувшись, он свалился бы с карниза. А между тем «Архипелаг» некоторые вполне разумные, не способные к трансу люди считают самым значительным, написанным в России в 60-е годы.

Почти все великое в истории совершали сомнамбулы, лунатики. Пробужденных очень мало (Будда, Христос, еще несколько...). То, что пробудившиеся говорят, одержимые перетолковывают на свой лад, и знаком распятия метят свои латы крестоносцы. Желание преодолеть одержимость реактивного мышления — что-то вроде желания преодолеть историю. История в современном ее значении — это деятельность масс, охваченных трансом, идущих за Великим Лунатиком, как овцы за бараном Панурга. Даже более сильные голоса, чем мой, зовущие проснуться, слышат только одиночки. Остальные, в лучшем случае, переворачиваются с боку на бок (выражение Р. Штейнера). И эти повороты с боку на бок мы называем формациями, эпохами...

*Без даты.* При чтении «Образованщины». Вероятно, 1975. В течение 18-ти веков центрами христианства были города (например, Киев, Суздаль, Москва). Деревенские праведники, тоскуя в своей темноте, ходили искать света в святые города и монастыри. Что касается святых деревень, то, может быть, Александр Исаевич назовет мне несколько? Я не могу припомнить ни одного названия. Монастырь — дело особое; не город, но и не деревня. По средоточию тогдашней образованности — скорее, город-спутник, средневековая Дубна или Обнинск, поверну-

тые к познанию неба, — как и вся тогдашняя образованность; но в смысле книжности — ультрагорода. Троице-Сергиевская лавра более книжный, ученый центр, чем Москва XIV в. И так же в буддийских монастырях.

Только романтики стали искать веру там, куда ее в течение двух тысяч лет несли. Это общая болезнь цивилизаций, потерявших веру в своем духовном ядре. Все они бросаются за религией, солидарностью и добрыми нравами вовне: к пастухам (Феокрит), к варварам (Тацит), к бедуинам (Ибн Халдун). Белла не совсем прав, когда пишет: «Представление об истинной религиозности крестьянина — очень недавняя идея» («По ту сторону вероисповеданий», с. 35). Недавняя — для Европы нового времени. Но вообще это давняя штука, довольно древний симптом упадка...

Здесь о многом можно поговорить, поспорить. Но Александр Исаевич не анализирует моих аргументов; он просто объевляет мою точку зрения (довольно старую и хорошо обоснованную Максом Вебером и его учениками) вне нравственного закона.

17.III.74. Я до сих пор не забыл три беседы с Владимиром Романовичем Грибом, который согласился (весной 1939 г.) быть моим научным руководителем после скандала на кафедре русской литературы. Частностей не помню, т. е. никаких отдельных мыслей, а только целое, т. е. чудо, каждый раз повторяющееся. Владимир Романович принимал меня в своей крошечной комнатке, чуть больше моей (в моей было 7, в его — кажется, 9 кв. м), но очень заставленной книгами. Запомнил одну книгу, лежавшую на столе. Марк Аврелий, издание Сабашниковых. Я начинал излагать свои мысли о Достоевском, а Владимир Рома-



нович слушал и одним-двумя словами, жестом или мимикой показывал мне, когда я начинал врать или говорить плоскости. У него не было никакого желания возразить, т. е. развить свою собственную мысль вместо моей. Он слушал совершенно бескорыстно и просто давал знать, когда я заикался не на ту колею. И вот я ни разу не захотел спорить. Я сразу останавливался и находил другой, более глубокий ход. Владимир Романович обладал безупречным чувством глубины мысли. Во мне оно было не развито, и сам я неделю пробирался бы по ложному пути, прежде чем свернуть на истинный, а с ним я сразу поворачивал, куда надо, и почти пьянел от нарастающей быстроты мысли. Он участвовал в разговоре как мое собственное внутреннее сознание и помогал моей мысли обрести ее подлинную внутреннюю природу, помогал сходиться с рельс элементарной логики на какие-то «воздушные пути», которые потом удавалось и логически подкрепить. Впоследствии я немного научился все это делать сам, но самому это трудно, до сих пор трудно удержаться от возможности сказать что-то остроумное, ловкое — а остроумное и ловкое чаще всего поверхностно, самое глубокое неловко (в юности я очень остро чувствовал эту неловкость Толстого и Достоевского сравнительно с западными писателями. Чувствовал в 15—16 лет с неудовольствием и предпочитал Проспера Мерима. Но чувствовал безошибочно.). О самом глубоком, по словам Василия Великого, можно только лепетать...

Кроме трех бесед с Владимиром Романовичем Грибом (превращенных его смертью в начале 1940 г.), мои занятия Достоевским привели еще к одной бесе-

де, с секретарем вузовского комитета комсомола Микулинским. Это был довольно симпатичный молодой человек с открытым лицом лихача-кудрявича. Впрочем, я не совсем уверен, что волосы его завивались. Увидев меня, он улыбнулся. Он сказал, что думал увидеть какого-то мрачного типа (впоследствии еще несколько человек говорили мне то же самое. Видимо, увлечение Достоевским рисовалось в образе Ставрогина, Кириллова и т. п.). А я, дескать, парень как парень. Такое начало мне понравилось и толкнуло на попытку объяснить, что взгляды мои тоже ничего себе и никакой морально-политической гнили в них нет. Из этого ничего не вышло. Когда я делал ход, казавшийся мне сильным, красивое открытое лицо Микулинского морщилось, и он совершенно искренне восклицал: не путай! По правилам не все пешки могли проходить в ферзи, а только некоторые, особо к этому предназначенные. Или, другими словами, все пешки, разумеется, могли стать ферзями, но некоторые особенно могли, а я толкал вперед пешки, относительно которых не поступило указаний (17 лет спустя, во время юбилея Достоевского, кое-какие указания поступили, и кое-какие пешки были продвинуты вперед, но более дисциплинированными игроками, способными еще 17 лет ждать, пока будет дана команда). Мы поговорили полчаса и разошлись в полном недоумении. В рамках той системы, которую принял и усвоил Микулинский, я действительно путал. Мы играли по разным правилам. По его правилам мысль должна была по возможности аккуратно, непротиворечиво соединять две цитаты, два указания. Противоречие указанию не допускалось и

# АКАФИСТ ПОШЛОСТИ

## *Рождение темы*

Тема эта возникла в 1981 году, при чтении трех томов машинописного журнала «На перекрестке» (редактор и основной автор — о. Дмитрий Дудко). Телевизионное покаяние его я видел и слышал, мучительно чувствуя самого себя опозоренным в глазах атеистов (один из них сидел рядом со мной). Но слабодушие повторника, отсидевшего свой лагерный срок, я понимал (повторный арест дает что-то вроде психической травмы), и отвращение смешивалось с жалостью. Другое дело — 500 страниц, посвященных жалости к самому себе...

Петр Якир, когда спрашивали его, что он думает о своем телеинтервью, коротко ответил: «Я сука». И до самой смерти не пытался оправдываться. По крайней мере — публично. А Дудко оправдывался, оправдывался, оправдывался — потом перешел в контратаку и стал поливать грязью тех, кто его обвинял... Тогда-то мне пришли в голову слова: «Акафист пошлости».

Тема разрослась и в конце концов увела далеко от отца Дмитрия. Но начну с краткого изложения его пятисот страниц. В таком дайджесте они, мне кажется, достойны внимания.

«Тешу себя и тем, что все-таки Бог и Церковь в той прессе, где всегда писались с маленькой буквы, написаны с большой. Главный чекист мне сказал: впервые за все время существования Советского Союза священнику предоставили такую аудиторию, он мне прямо сказал: вы же говорили проповедь. Не на Маркса, Ленина ссылались, а на Евангелие» («На перекрестке», т. 1, с. 5).

«Силы ада вооружились на нас, и мне сейчас муки наших патриархов понятны, как никому. Что делать? Поверьте, что не единственный страх в душе руководствует нами, в нашем

положении мученичество восходит на высшую точку. Как близки слова Христа: все на кресте нас оставили и умираем обесславленными и обесчещенными... По-человечески меня понимают только восторженные женщины, говорят: слава Богу, что я на свободе» (с. 14).

«Пострадать, думаю, всегда успею, страдание от меня не уйдет...» (т. 1, с. 17).

«Божие я им не отдал, только сказал в угоду им несколько дипломатических слов. Лживых, хочу сказать прямо, но мы ведь на фронте, а на фронте стратегия не обходится без лжи. Так и Христос скрывался среди народа, обманывал своих врагов, так и ап. Павел хвалил правителей, чтоб как-то заставить их себя слушать. Так сказал и я» (т. 1, с. 18).

Временами о. Дмитрий прямо сваливает свое предательство на Бога: «Без ведома Его ничего не бывает» (с. 18).

П. Г. Григоренко, в возрасте 8 или 9 лет, примерно так же пытался оправдать свои детские шалости; сельский священник, о. Владимир, строго отчитал его. Мальчику стало стыдно, и он больше таких глупостей не говорил. О. Дмитрию не стыдно. Когда его критикуют, он пишет о бунте духовных детей против духовного отца и против самого Бога:

«Я понял, что это бунт не только против меня, а против Бога и Церкви, и нужно остановить этот бунт, не позволить расточать дело Божие» (т. 1, с. 13 новой нумерации в конце тома).

Читаешь три тома, отпечатанные о. Дмитрием на машинке после его освобождения (заметки, письма, проповеди, стихи), — и думаешь: какой это драгоценный материал для исследователя. Вот человек, несколько лет ходивший в вожжах. Вот (в письмах, в репликах) его духовные дети, обожавшие отца. Вот раскрывается его духовный уровень, нравственный уровень, интеллектуальный уровень. Допустим, нравственно и духовно о. Дмитрий пал, раньше был (или казался) другим. Но ведь ум невозможно переменить. Значит, и раньше рассыпал О. Дмитрий подобные перлы. И все прощалось. Все принималось о восторгом. Лишь бы без гамлетовских сомнений. Лишь бы уверенно, цельно... А самоуверенности о. Дмитрию хватало. Мода на простоту подняла его выше колокольни. И вдруг — бац! Остался мыльный пузырь один — и лопнул.

«Простые люди: «Мы понимаем, что это нужно для вида, иначе ничего не получится. А вы тот же...» — не обращают внимания ни на заявления в печати, ни на выступление по

телевидению. Разговаривают со мной, как будто ничего не случилось, просят совета.

Из образованных, интеллигентов: смотрят с ужасом, как на отказ от Христа и от Церкви. Бог меня, мол, оставил. Стараются поучать, доводов никаких не слушают.

Все женщины (почти все): слава Богу, что освободился, а все поправится как-то само по себе.

Из народа голоса: интересно почитать бы ваши книги, что вы там писали... у этих даже пробудился интерес ко мне» (т. 1, с. 24—25).

Слава Богу, хоть в интеллигенции не пропало нравственное чувство...

Потом жалобы на интеллигенцию сменяются жалобами на евреев. Евреи отказались от о. Дмитрия единодушно. Наверное, опять интеллигенты. Других евреев в пастве Д. Дудко я не знал, да и по логике вещей их не могло быть. Крестились только ассимилированные евреи, читатели Достоевского, Бердяева, Флоренского, без всяких духовных корней в еврействе. Это не ренегаты иудаизма, а неофиты из советско-русского атеизма, начавшие с нравственного отрицания действительности и не способные к вере без нравственных требований. По о. Дмитрий хватается за отход евреев и прячет за ним от самого себя потерю большей части интеллигенции. С этих пор для него неевреи только те интеллигенты, которые выступили в его защиту. К сожалению, есть и такие. Особенно замечательны статьи Виктора Вардомцева. (Фамилия, кажется, псевдонимная.)

«Пророческий дар А. Солженицына открыл нам: путь нашего спасения может быть проложен только через раскаяние и самоограничение. Всей своей пастырской деятельностью о. Дмитрий углубляет эту истину: наше спасение — через раскаяние и самоограничение, но и прощение. *Покаяние неотрывно и невозможно без прощения*» (т. II, с. 27).

«Солженицынское пророческое обличение и святая любовь и прощение о. Дмитрия Дудко — *не противоречат друг другу, а есть отражение антиномизма... христианской истины* (вспомним, что новозаветная истина всегда антиномична: богочеловек, едино и неслиянно, смертью смерть поправ, крест животворящий, в мире сем, но не от мира сего и т. д.). Эти два вида христианского служения всегда были едины: непримиримость пророка-обличителя и кротость, открытость к заблудшим святого и праведника. Русская святость вмес-

тила в себя и жестокость, безжалостность Иосифа Волоцкого, и сострадательность к падшим Нила Сорского. Обличение и прощение — единство, объемлющее весь спектр христианской активности в миру» (т. II, с. 32).

Таким образом, духовное чадо о. Дмитрия, блистая своей философской и богословской эрудицией, сближает телевизионное покаяние с подвигом преп. Нила, и все это вмещается в широкое лоно православной соборности. Я человек нецерковный, но Нила Сорского люблю, и сравнение кажется мне глупым и кощунственным. А каково христианское смирение о. Дмитрия, который печатает этот панегирик?

Святитель, канонизированный Виктором Псевдовардомцевым, поучает нас: «Сказать, что чекист — это тоже человек и его нужно жалеть, говорить ему добрые слова, — вызвать тотчас раздражение. У нас в России слово «чекист» вызывает раздражение, на Западе — слово «русский». Тотчас вспоминают репрессии и террор и не могут простить чекистам. Русские просто неприемлемы западному миру, чекисты неприемлемы нашему обидчивому сознанию.

Не стоит ли задуматься таковым, а не говорит ли эта неприязнь о том, что у чекиста и у русского есть что-то от Христа? Христа тоже ненавидели, и не стоит ли задуматься ненавидящим, а не фарисеи ли они? Вдруг да чекисты и русские первые пойдут в Царство небесное, первые, которые будут прокладывать путь человечеству? Из-под смеха, как из-под ненависти, выходят настоящие люди» (т. I, с. 118).

Воля ваша, мне пришлось высказать много горьких слов по адресу России и русских, но коробит эта настойчивая параллель: русские и чекисты, чекисты и русские. О. Дмитрий считается русофилом. Не поздоровится от такой любви.

Чем дальше от первого тома ко второму и третьему, тем меньше порывов покаяния, тем больше самодовольства и графомании. Появляются нотки совсем гадкие: списать отвлечение, вызванное предательством, по статье происков жидов и масонов:

«Если будет в дальнейшем покушение на меня, то не обязательно это будет со стороны чекистов-безбожников. Ищите виновных с еврейской стороны. Я хорошо почувствовал после своего освобождения, как я им мешаю, как они хотели бы убрать меня или совсем, или хотя бы заключить куда-то. А ведь я к евреям никогда враждебно не относился как к национальности. Видимо, чувствуют они во мне своего

идеологического противника, даже еврей-христиане» (т. II, с. 39).

«Таинственная сила масонства, может быть, таит в себе больше, чем мы знаем. А мы смотрим на это, как на невинную забаву, сердимся на открытых врагов и закрываем глаза на скрытых. Но, как говорят: враг скрытый всегда опаснее» (т. II, с. 108).

Читаешь — и физически тошнит.

Было бы, однако, нечестно искать и находить пошлость только среди борцов с жидо-масонами. Пошлость беспартийна. Она может быть либеральной, радикальной, западной (и западнической), она может быть русской и еврейской, юдофобской и юдофильской... История человеческой массы — это движение от грубости к пошлости. Дикарь груб. Цивилизованный человек, по большей части, — пошл. Дикарь держит в голове всю свою культуру и не притворяется, что он следует Христу, любит музыку Баха и т. п. Он о таких вершинах просто не знает. А средний цивилизованный человек — либо самодовольный пошляк, либо «человек из подполья», мучительно сознающий свою оторванность от святыни, но не способный перемениться... Цивилизованная личность, достигающая подлинной цельности, — редкое исключение. И даже приближение к ней редко.

## *Масса и ее гений*

С этой точки зрения можно подойти к загадке Евгения Евтушенко. Он, несомненно, талантлив, даже очень талантлив. Но талант связан, в моих глазах, с отвращением к пошлости, а у Евтушенко этого отвращения нет. Какое-то катастрофическое отсутствие вкуса — так я думал. И не мог понять — как так можно.

Потом мне пришло в голову объяснение. Евтушенко — гений массового сознания. У него не отсутствует вкус, а какой-то особый вкус, непонятный мне. Вкус, основанный на чувстве аудитории, массовой аудитории, и на желании нравиться ей. Аудитории, в которой подлинное и пошлостное неразличимо перемешаны. Евтушенко — плоть от ее плоти и кость от ее кости...

В конце 50-х годов я жил с Ирой Муравьевой в одном из близких к Москве-реке переулков, по которым Бездомный гнался за Бегемотом, и наша с Ирой комната (немногим менее 7 квадратных метров) обладала свойством квартиры Воланда: когда приходили гости, они все как-то размещались. Собиралось до десятка человек, один раз — даже одиннадцать (сидели тогда на подоконнике, на полу).

Говорили обо всем на свете, как в Гайд-парке (политических табу у нас не было), но чаще всего — о стихах (Ира газет не читала, а стихотворений знала наизусть не менее тысячи). Иногда какой-нибудь легкомысленный гость вспоминал Евтушенко. Тогда один из сыновей Иры произносил:

Постель была расстелена,  
А ты была растеряна...

Несколько голосов сразу же подхватывало хором:

И говорила шепотом:  
«А что потом? А что потом?»

Евгений Евтушенко был для нас символом пошлости. Где-то очень близко к нему стоял и Вознесенский, но пальма первенства, бесспорно, отдавалась Евгению Александровичу. Привычка к объективности заставила меня прочесть пару его сборников. Там были стихи получше, даже совсем хорошие. Только не на общественные темы. От гражданственности Евтушенко меня всегда коробило. Кажется, он с юности привык, что патриотические и т. п. темы требуют наигрыша, и с тем же привычным вывихом хромал на левую ногу. В царствование Никиты рядом с государственным рынком для произведений ума человеческого начал складываться и частный. Евтушенко одним из первых понял возможности этого рынка и потрафлял двум господам сразу. На публику — «Наследников Сталина», «Бабий Яр»; а когда прикажет начальство, Пегас отвозил в заготконтору несколько мешков по госпоставкам. Смелости у Евтушенко хватало, но не было принципов, ради которых стоило бы пойти на костер (это чувствовалось).

Зато читал он свои стихи превосходно. Плохих в его исполнении не было. Только хорошие и отличные. Я с трудом отделял текст от исполнения. Непосредственно Евтушенко захватывал. Такой артистизм невозможен без известной доли искренности. Только не надо смешивать ее с искренно-

стью человека, который так стоит и не может иначе. Бывает еще искренность актера, умеющего вжиться в роль. Сегодня — Алексей Турбин, завтра — Владимир Ильич, послезавтра — Леонид Ильич...

Я не хочу сказать, что все актеры — лицедеи. В исполнении роли может быть и суд над этой ролью, в котором скрывается подлинное лицо. Но профессия прямо требует от актера вжиться в личину, которую надел; и соблазн подмостков, рампы, аплодисментов — более непосредственный, более чувственный, чем искушения пиущей братии. Актеру труднее, чем кому бы то ни было, забыть о зрительном зале. Грешат полуискренностью и поэты, и проповедники, и политические лидеры, но слово «лицедей» собственно и значит — актер, только с отрицательной нравственной характеристикой его ремесла (так же как самовластие — то же самодержавие, но с точки зрения возмущенного им сознания). И Евтушенко — бесспорно, эстрадник. Его вдохновение неотделимо от желания бросить в публику выигрышную реплику и сорвать аплодисменты.

Поставим рядом трех поэтов: Высоцкого, Евтушенко и Коржавина. В Высоцком очень много стихийной силы, у Коржавина больше выстраданной мысли: «Но у мужчин идеи были. Мужчины мучили детей...» У Евтушенко есть и певучесть, и способность к поэзии мысли. В этом его превосходство. Но Высоцкого и Коржавина, решительно не похожих друг на друга ни в чем, объединяет одно: то, что они своим жаром души не жонглируют.

...С середины шестидесятых годов литература перестала быть единственным выражением общественного сознания. Начались движения: демократическое, правозащитное, национальное, религиозное... И сразу появились правозащитные лицедеи, церковные лицедеи... Лицедей следует за истинным деятелем, как тень. Плохих лицедеев легко раскусить. Но есть лицедеи хорошие, отличные.

Петр Григорьевич Григоренко очень просто и убедительно показал различие наигранной храбрости Михайлова от действительного мужества (Васильева, Гольдштейна, Леусенко, Тимофея Ивановича). Портреты фронтовиков в его воспоминаниях заставляют вспомнить Лермонтова (Грушницкий и Максим Максимыч). И в политике Григоренко сразу отсеивал мелких лицедеев (примеры читатель найдет в его книге). А Сталин долго владел его душой, и даже после



XX съезда Петр Григорьевич возмущался: зачем устраивать канкан на могиле великого человека?<sup>1</sup>

В политике все мы ошибались, все мазали, хотя бы в своей профессиональной сфере с ходу угадывали наигрыш, фальшь. В политике все мы дилетанты. И только испытание крестом обнаруживало, кто такой Якир, кто такой Дудко.

У лицедейства тысяча лиц. Есть лицедеи тщеславные — и лицедеи демонические. Я думаю, что Сталин тщеславным не был. Его страсти уходят ниже в глубину ада: «Иметь врага, уничтожить его — и выпить бытулочку хорошего вина...»<sup>2</sup> Якир (судя по книге Григоренко) — противоположный случай. Слабый человек, довольно искренний, но вытолкнутый случаем в исторические лица и не способный расстаться с красивой ролью. Петр Григорьевич угадывал, что Петя испытания не выдержит, и советовал ему отойти от движения. Но для открытого признания своей слабости нужно нечто, для Григоренко естественное и само собой разумеющееся, но совсем не частое: нетщеславное мужество. Петр Григорьевич совершенно лишен тщеславия, и временами он забывает, какая это великая страсть, как она может раздуть малую душу и сделать ее как бы великой — до самых границ подвига и жертвы. Особенно в правозащитном движении, благодаря общей ауре подвига и жертвы, окружающей его. Горегерой отталкивает, когда он решительно надут тщеславием, вот-вот лопнет (Красин). Но если только слегка поддут, если личина сохраняет черты естественного лица, то он может быть очень обаятелен, и к нему привязываешься, веришь, что сила, толкающая его действовать, больше страха (толкало же призвание Мандельштама, пугливого, как ребенок). Веришь, что придет к нему второе дыхание, а оно не приходит, и вместо добросовестного банкротства, вместо честного отказа от роли, оказавшейся слишком опасной, — банкротство злостное, с показом по телевизору...

Опыт последних десятилетий обогатил нас целым паноптикумом мнимых героев, и хочется наметить хотя бы неко-

---

<sup>1</sup> Ср. Петр Григоренко. В подполье можно встретить только крыс. Нью-Йорк, 1961.

<sup>2</sup> По воспоминаниям Г. Серебряковой.

Видимо, надо различать знаменитых людей и людей великих. В величии есть что-то духовное; я признаю величие в Солженицыне. В Сталине, Гитлере этого духовного величия я не признаю. «Человекоорудия», использованные метаисторическими силами, они сами по себе ничтожны. Яростные ничтожества и пошляки. Медузы массовой пошлости.

торые основные типы в этом классе. Вот, например, о. Дмитрий Дудко — священнолицедей. Если бы не тщеславие, он был бы хорошим, добрым, отзывчивым приходским священником. К несчастью, Дудко графоман. Он одержим страстью писать и печатать. В нормальных гражданских условиях ничего страшного из этого не вышло бы (скорее всего, просто ничего бы не вышло). А у нас можно купить право печататься за границей имитацией гражданского мужества, и Дудко входит в роль — а потом шаг за шагом пьянеет от собственной смелости и дани восхищения, вызванного мужественным словом. На проповеди Дудко собирается цвет столицы, и почти никто не видит, что слово Дудко — актерское слово, что он способен играть только перед рампой, под аплодисменты... А наедине, в камере — не было больше контакта с публикой, и дух оставил свой сосуд, а победил смердяковский шкурный страх.

Духовные дети о. Дмитрия обманулись, потому что они очень хотели увидеть подвижника, которого о. Дмитрий играл (и играл искренне: он сам хотел быть тем о. Дмитрием Дудко, которого играл, и до известной черты это у него выходило). Обманулись люди очень образованные, которым слабости мысли Дудко не могли не кидаться в глаза. Но они во многом сомневались, они не были уверены в себе и в своей вере, а Дудко лицедействовал и являл им тот самый образ, которого они хотели. Образ простой, цельной веры. Которой у него не было! Вера, религия — это связь, связь с Богом. Тут стены тюрьмы не помешают. А у Дудко вера была слабенькая, пунктирная, решала связь с людьми, с поклонниками его проповеднического таланта, с публикой. Ловцы душ учли это, использовали его тщеславие, изобразили из себя духовных детей, готовых объединиться с пастырем на почве общего советско-русского патриотизма, — и Дудко пал. А потом пишет, пишет, пишет, оправдывается, обвиняет, написал несколько сот страниц прозой и стихами. Есть что-то мучительное (если и не мученическое) в этой трагикомедии графомана, что-то подобное страсти игрока или алкоголика... Сравнительно с темными лицедеями, лицедеями-провокаторами, гедонистами бесстыдства — это тип лицедея-страдальца. Но — увы! — пошлого страдальца. Страждущего в своей пошлой страсти и пошлого в своем страдании. Тяжело читать панегирик Дудко, который П. Г. Григоренко не успел вычеркнуть из своей книги...

## Человек в царстве химер

Заговорив (в который раз) о воспоминаниях Петра Григорьевича Григоренко, я хочу задержаться на них. Это даже необходимо, чтобы не терять общечеловеческого масштаба, чтобы рядом с подлинным героем рассеялось само собой очарование призраков. Какая-то пружина постоянно поворачивает этого Петра-воина к добру. До всяких идей. Сквозь идеи, вопреки идеям... Какой-то неисповедимой властью Святого Духа. Начиная с прыжка в окно одиннадцатилетнего Пети с высоты полутора этажей (т. е. двух нынешних), в кучу мальчишек, бивших скопом одного, маленького, чужеродного, — кончая ударом ребром ладони по горлу санитаря, избивавшего душевнобольных в черняховской психушке.

Я познакомился с Петром Григорьевичем в споре, ему было больно слушать некоторые мои возражения, но он совершенно не злился; по лицу его пробегали тени страдания, но никогда не злости. И потом, несколько лет спустя, когда наши встречи возобновились, я поражаюсь, как мягко он отвечает своему инвалиду-пасынку, когда тот прерывал разговор своими не очень связными речами. Никогда ни тени раздражения...<sup>1</sup> Тем больше волновали меня при чтении книги сцены, когда Петр Григорьевич взрывался. Всегда — на тех, кто сильнее, на тех, кто хамит, от кого он зависит (а не кто от него зависит). И как Григоренко умел осаживать хамов! И как он прав, говоря, что не было бы и хамства, если бы все умели осадить хама!

Если искать истоки характера в детстве, то две самые замечательные черты маленького Пети: нежность, ласковость — и вспыльчивое чувство собственного достоинства. Был огненно-рыжим, дразнили жестоко, и научился драться, защищать свое достоинство. А отзывчивость заставила драться за всех рыжих — до крымских татар и немцев Поволжья... Что-то было заложено в этом ребенке с рождения. И не зря цыганка так упорно добивалась погадать самоуверенному, отталкивавшему ее комсомольцу (и все ведь нагадала правильно: военную профессию, долгую жизнь, мучительные испытания старости).

<sup>1</sup> Почти все товарищи по несчастью этого инвалида детства умирали в юности. Проф. Эфронсон считает мягкость П. Г. Григоренко одним из факторов, позволивших Олегу выжить и развиться до способности читать книги.

В книге на 800 страниц есть свои длинноты. Но она глубоко поэтична. Все время «есть, кого любить»<sup>1</sup>. Все время испытываешь радость общения с человеком, которого до боли не хватает в жизни. Огромный поток событий, прошедших через ум и сердце. Много фактов, которые поражают, захватывают, рождают новые мысли. А все же главное — не они, а сам Петр Григорьевич. Это история возвращения к вере, неотделимой от нравственных позиций в нашем бренном мире. К вере, которая немедленно рождает дело. К тому, что потеряла историческая церковь и что русская интеллигенция пыталась утвердить без Бога — в революционном действии. И потому это также возвращение к лучшему, что было в подвиге Радищева, декабристов, семидесятников... В жизни Петра Григорьевича это лучшее возвращается на почву веры, очищенную бурями от раболепия и корысти. И пусть рай на земле — утопия и соблазн; но борьба за то, чтобы жизнь не стала адом, — совсем не утопия, все доброе в истории — через эту борьбу, и дай Бог России побольше такой веры и такой борьбы! Со способностью любить свой народ без ненависти к другим народам и без всяких счетов с ними, со всегдашней готовностью пойти против своей толпы, за теснимое толпой меньшинство...

Следуя за рассказом Петра Григорьевича, можно понять, как революционные идеи завладели Россией. Утопия, окрылявшая коммунистов, складывалась сотни лет. Форма, которую придал ей Маркс, — только некое пустое зеркало, в котором витают призраки Мора, Фурье, Сен-Симона. Социализм Маркса — такая же утопия, только не открытая, как у Фурье, а скрытая. Маркс отказался от попыток рисовать будущее, но не отказался от веры, что утопические картины чему-то соответствуют, что-то предвосхищают. Сквозь фигуры диалектики и теории классовой борьбы светится золотая мечта Нового времени. Она не может не вызвать отклика в человеческом сердце, и даже Достоевский, величайший критик утопии, уплатил ей дань в «Сне смешного человека». Я не знаю, был ли Томас Мор святым, не примешивалась ли и к его созерцаниям воля к власти. Но в основе своей утописты — добрые безумцы. И пока их мечты носятся над историей как золотой сон, зла в этом сне нет. Так утопистов чувствовали поэты, так они их воспели:

<sup>1</sup> Выражение одной читательницы.

Если к правде святой  
Мир дороги найти не сумеет.  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой...

Во сне можно влезть на стену и ходить по потолку и испытывать чувство свободы от тяжести. Но как только требуется совершить все это наяву, начинается кошмар. Лезешь на стену, срываешься, злишься. Если не сомневаться в идее, то есть только одна причина неудач: мешают враги, вредители, двурушники... И вот каждые несколько лет новая судорога, новая кампания борьбы с врагами народа. Пока сон утопии не развеется. Или пока к власти не придет палач, которому утопия — только для отвода глаз, а на самом деле лишь бы вешать, раздавливать пальцы дверью, сажать задом на ножку табуретки и проч.

На Западе утопия осталась сном. Левеллеры, Робеспьеры быстро сходили со сцены. Заговоры Бабёфа и Бланки проваливались. Не было на Западе общественного слоя, готового выпрыгнуть из истории в утопию, полезть на стену. Отдельные мечтатели были, отдельные волны сочувствия они вызывали, но не было интеллигенции, выбитой вестернизацией из своей местной традиции и не укоренившейся как следует в западной. Не было народа, помнящего Разина и готового еще раз попробовать то же самое. Не было способности власти к прыжкам — того, что Щедрин назвал административным восторгом, — традиции Грозного и Петра (в России), Цинь Шихуанди, Ван Мана, Ван Аньши (в Китае). Утопия победила там, где в древности были порывы к утопии. И победив, она тотчас себя обличила...

Разобраться во всем этом Петр Григоренко никак не мог. И поток его захватил. Толкнуло к красным отвратительное впечатление от белого террора. И захватила мечта о справедливом строе. Красивая мечта. А потом начались испытания, и Петр мужественно шел через них, не теряя своей веры, и боролся с извращением идеи. А извращения все нарастали. Жизнь в 30-е годы, как она описана в воспоминаниях, — какой-то параноидный бред, поток кошмаров: организация массового голода, истребление собственной армии. И как итог — катастрофа 22 июня 1941 года.

Почти чудо, что Петр Григорьевич уцелел. Ему удастся

дважды сорвать дела о вредительстве и добиться освобождения арестованных. А в 1938 году вместе со старшим братом, красным партизаном Иваном Григоренко, арестованным в Запорожье и через месяц выпущенным без паспорта (чтобы без нового оформления арестовать, если откажется быть стукачом), он выиграл целое сражение с НКВД. Это замечательная история. Иван Григорьевич прямо из тюрьмы, не заходя в квартиру, едет в Москву и (в ванной пустив шуметь воду) рассказывает брату, что он видел и слышал (десятки фамилий и дел, выученных в камере наизусть). Братья договариваются о шифрованной переписке. Петр (майор академии Генштаба) добивается приема у Вышинского и назначения прокурора для проверки. Проверка оказывается липовой; а между тем первая жена Петра Григорьевича случайно прочитывает шифрованное письмо и бежит доносить на своего мужа. Он успевает догнать ее в подъезде, вернуть и убедить в своей правоте. Второй раз идет в прокуратуру и требует назначения новой проверки. Его готовы арестовать, но неслыханное по тем временам бесстрашие, с которым майор спорит с армвоенюристом (четыре ромба), сбивает с толку. Прожженным политикам кажется, что за Григоренко кто-то стоит, кто-то большой и сильный... Григоренко уходит домой, не подозревая, какой опасности он подвергся. Через короткое время Ежова сменяет Берия; злоупотребления, вылезшие наружу, решено было прекратить — и маленьким торжеством справедливости прикрыть большой Архипелаг. В Запорожье был отправлен новый ревизор, и несколько десятков людей вышли на свободу.

Подобного рода маленькие чудеса укрепляют веру, расшатанную большими событиями: что система в целом хороша, что виноваты отдельные люди, не сумевшие постоять за правду. Невольно вспоминается мнение Ключевского, что самодержавие — лучшая в мире власть, если не считать случайностей рождения... И мнение Карамзина, что России нужно только сорок хороших губернаторов... Но безумие нарастает, и пик абсурда — политика Сталина накануне войны. Вплоть до взрыва укреплений вдоль старой границы, которые Петр Григорьевич в бытность свою военным инженером несколько лет строил, вложив в это дело бездну труда, энергии и технического таланта. До сих пор неизвестно, по чьему приказу. Скорее всего — по личному приказу Сталина.

И вдруг, с 22 июня, все меняется. Внешним образом —

становится еще хуже. Но источник зла перемещается на Запад, и страна сплачивается в сопротивлении злу:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой!..

Вместо принципиально невыполнимой цели, толкающей к безумию, появилась трудная, но исторически разумная, выполнимая цель: победить в войне. Выдвигаются разумные люди, и почти из ничего они создают оборону и военную промышленность в тылу.

Война застала Григоренко на Дальнем Востоке, заместителем начальника оперативного отдела штаба Дальневосточного фронта, которым командовал генерал армии Опанасенко. Здесь, далеко от полей сражений, новый дух, принесенный войной, выступает во всей своей чистоте как созидательный, разумный дух. Генерал Опанасенко (тип просвещенного самодура, превосходно описанный Григоренко) получает диктаторские полномочия. Он сдает в солдаты секретарей райкомов, не выполнивших его приказаний по строительству стратегических дорог, он организует переделку учебных винтовок в боевые, производство минометов — и возвращает в строй офицеров и солдат из дальневосточных лагерей; несмотря на сопротивление Никишева (начальника Дальстроя), удается вырвать часть призывных контингентов даже с Колымы. Формируются новые дивизии взамен брошенных на запад, спасти Москву, и удается сохранить в полной силе барьер против возможного нападения с востока. Теряют силы доносы (которые сыплются в Москву — на Опанасенко, на Григоренко, летавшего по поручению Опанасенко в Магадан). Логика кошмара, логика царства химер не исчезает вовсе, но отступает на второй план. Палачей и тупиц, выдвинутых Сталиным, несколько отесняют люди военного времени. Сам Сталин перестраивается, входит в новую роль и приближает к себе генералов, которых не успел расстрелять. Григоренко, попав наконец на фронт, получает возможность действовать так, как ему подсказывают ум и совесть — и за это его не отстраняют, не арестовывают. Наоборот, он даже получает благодарность от Мехлиса (одного из ближайших сотрудников самого Сталина).

Я был на войне, и я знаю, что таких командиров, как Григоренко, с таким выработанным самостоятельным сти-

лем (не сталинским! скорее, антисталинским), — было немного. Но все же в первой попавшейся дивизии Петр Григорьевич находит офицеров, на которых можно опереться, и солдат, полюбивших его и готовых за ним в огонь и воду.

Потом героический эпос снова превращается в сказку о Бабе Яге. И Григоренко, продолжавший службу в Академии им. Фрунзе, начинает свой мучительный одинокий путь — от борьбы с извращениями идеи к борьбе с самим порядком, выросшим из этой идеи. В пятьдесят четыре года он бросает все — не только свое положение генерала, начальника кафедры, ученого, работавшего в области военной кибернетики, автора восьми книг и нескольких десятков статей<sup>1</sup>, — но даже самые привычки мысли, сами аксиомы мировоззрения, и в новой для себя области как бы заново учится ходить (так, как в отрочестве после тифа). Петр Григорьевич пишет, что «прыжок к свободе» (открытое выступление с критикой Хрущева) был для него самым страшным, самым мучительным часом в жизни. В это можно поверить. Но Петр-воин не мог поступить иначе. Он медленно созревал для своего подвига, но созрев — не мог действовать иначе и не мог не действовать и жить в двоемыслии, как живут миллионы.

Дальнейший путь Петра Григорьевича слился с демократическим и правозащитным движением, в котором он занял одну из самых решительных позиций, — отчасти по своему характеру, отчасти по внутреннему убеждению, что подвиг, совершенный им, повторят другие; что гражданское мужество естественно, как мужество на войне, и вот-вот, сейчас, — если не сегодня, то завтра, — за ним пойдут тысячи, сотни тысяч, миллионы. Как шли за ним солдаты.

Эта уверенность в иные эпохи могла бы и заразить. Но мы живем в очень вялое время. И вот Петро Григоренко, украинец родом и русский генерал, входит в современную летопись как вождь крымских татар. Другие народы за ним не пошли.

Все равно! Лир и в степи король. А время, может быть, изменится, и дух, запечатленный в книге, еще дойдет до Рос-

---

<sup>1</sup> О качестве этих работ можно судить по одной, адресованной широкой публике, — в связи с книгой Некрича. Это лучшее, что я читал о начале войны.



сии; речи на банкете крымских татар и на похоронах Костерина не забудутся. Но на наших глазах дело кончилось мученичеством в ташкентской тюрьме и черняховской психушке (я не завидую посмертной славе Черняховского. Думал ли молодой талантливый командующий, убитый при арталете, в какой контекст попадет его имя?).

Петр Григорьевич вышел несломленным. Его жизнь настолько прекрасна, настолько значительна, что простой и бесхитростный рассказ о ней читается, как выдающееся поэтическое произведение. Но есть в этом рассказе некоторые страницы, против которых мне хочется возразить. Совсем немногие страницы, но очень важные. Они касаются Сталина.

Разрыв Петра Григорьевича с советским идеологическим макетом начался в хрущевскую пору, после известного доклада на XX съезде. И в сердце Григоренко остался след возмущения безграмотностью, с которой Хрущев делал все, что он делал: сажал кукурузу, руководил искусством и критиковал военные распоряжения Сталина. Генштабиста там многое могло покоробить. А Григоренко — человек справедливый. Даже после мучительного часа перед телевизором, когда заключенного вывели из одиночки — послушать, как Петя Якир признает его сумасшедшим, Петр Григорьевич считает своим долгом подчеркнуть большие заслуги Якира перед демократическим движением. Примерно так же он относится и к военным заслугам Сталина. Наконец, его возмутила концепция Авторханова, решившего, что реальным главнокомандующим в 1941—1945 годах был Жуков. Григоренко знал Жукова еще на Халхин-Голе — и вынужден был доложить командующему фронтом Штерну о грубых стратегических ошибках командарма, будущего маршала (по докладу Григоренко эти ошибки были исправлены). Концепция Авторханова толкнула Петра Григорьевича на полемику; а в ходе полемики, критикуя жуковскую легенду, он возродил кое-что из легенды сталинской.

Чем был для наших вооруженных сил Сталин накануне войны и в начале войны — это именно Григоренко лучше всех показал. Но Сталин, по его словам, был хорошим учеником событий. И спасая свою шкуру, он быстро вошел в роль главнокомандующего. Поэтому наши победы — это сталинские победы, и они навечно останутся в истории военного искусства. Вот, в нескольких словах, его концепция.

## *Провокатор-генералиссимус*

Я думаю, что Сталин — провокатор. Может быть, не по должности, но по характеру. Его служба в царской охране документами не подтверждена<sup>1</sup>. Но служил или не служил Джугашвили в департаменте полиции — дьяволу он служил верой и правдой. Другими словами, зло было для него не средством ради революции, социализма, России, а целью. Эту психологию описал Оруэлл в своем «1984»; его счастье, его радость — наступить сапогом на человеческое лицо и растоптать, раздавить, превратить человека в дерьмо.

Идеи нужны были как сырье для фабрики пропаганды, для вербовки сообщников. Какие именно идеи — все равно. Со временем идейная захваченность все больше заменялась материальной, и сталинская гвардия превратилась в обыкновенную мафию. Для меня всего этого достаточно. Мне расписки Джугашвили в получении 100 руб. не нужны. Я утверждаю, что у провокатора нет заслуг. Я сказал уже это в своей речи «Нравственный облик человеческой личности», и я готов свою оценку отстаивать. У Сталина не больше заслуг (перед международным рабочим движением? Перед русским империализмом?), чем у Азефа перед боевой организацией эсеровской партии или у Малиновского перед большевистской фракцией Государственной Думы. Можно спорить, что было важнее в деятельности Петра Якира: его диссидентство или его измена диссидентству, — и зачеркнуло ли второе все предыдущее. Но провокатор, оставаясь провокатором, никогда не бывает тем, за кого он себя выдает. Он делает что-то по своей роли, но это только роль, это не лицо, и роль злонамеренная. Все действия провокатора — часть его провокаторской службы. Всякая мнимая заслуга провокатора только увеличивает его влияние и расширяет возможности дальше творить зло (даже посмертно, как показывает судьба сталинского культа). Все заслуги как бы умножаются на минус единицу и становятся отрицательными величинами. Мне кажется, эту общую идею можно доказать и при анализе сталинской деятельности в качестве Верховного Главнокомандующего.

---

<sup>1</sup> Есть только подозрение. Например, Степан Шаумян, погибший в 1918 году, считал Кобу (Сталина) провокатором, выдавшим его в 1908 году полиции.

Я не ставлю под вопрос искренность генерала Вечного, говорившего Петру Григорьевичу после XX съезда: «Я знал другого Сталина». Но я не думаю, что был один Сталин-садист, слуга дьявола, — и другой Сталин, спаситель России. Никакого другого Сталина Вечный не знал, знал только другого личину Сталина и по простодушию принял ее за лицо.

У Сталина был целый набор личин. А что за ними? Не знаю. Мерещится Крошка Цахес, волшеббно присваивающий себе чужие заслуги, Смердяков (лакей идеологии, попирающий идеологов), Тень Ученого и Дракон, с ненасытной жадой зла ради власти и власти ради зла<sup>1</sup>. Этот гад, рожденный от совокупления утопии с административным восторгом, никогда не делал ничего доброго — только обманывал видимостью добра, чтобы завлечь, чтобы было на кого опереться.

Григоренко замечательно рассказывает, как Сталин, оскорбив и унизив Опанасенко, сумел потом внушить любовь к себе и готовность служить до гроба. Но к рассказу нужны комментарии. Сталин, решавший с Опанасенко все вопросы по прямому проводу, снимает командующего, ничего не объяснив, телеграфным приказом и отзывает в Москву. Уполномоченный НКВД по Дальнему Востоку Гоглидзе, начальник Дальстроя Никишев и другие, писавшие на Опанасенко доносы, получили полное удовлетворение: наступил их час. 1943 год. Выиграна битва на Курской дуге. Победа над Гитлером — только дело времени. И Сталин начинает обдумывать новые пакости, новые способы мучить целые народы — без войны. На этот раз готовятся национальные судороги: высылка калмыков, ингушей, крымских татар. Заодно — продолжение прежних социальных судорог с новым штрафным слоем — военнопленными — и новой волной террора против попыток колхозников не умереть с голоду (указы о расхищении социалистической собственности), с добиванием ветеранов Архипелага, имевших наглость выжить. Палачи — на авансцену! Палачам — честь и место!

Но война еще длится. А впереди, может быть, новые войны. Генералами нельзя бросаться. И вот Сталин вызывает к себе Опанасенко и доверительно объясняет, что чрезвычайное положение прошло, война на Дальнем Востоке не грозит, наместник с неограниченными полномочиями там больше не нужен, а Опанасенко пора бы включиться в ту войну, ка-

<sup>1</sup> Из пьес Шварца.

кая есть: не сидеть же ему до самой победы в Хабаровске! Пока — для начала — его назначают заместителем Рокоссовского (служившего раньше под его командой). А там видно будет... Пилюля позолочена, Опанасенко в восторге от сталинского доверия. А между тем, потом никогда не наступило. Самостоятельного командования Опанасенко не получил. До конца войны он остается заместителем, фамилия его не попадает в печать. Генерал, обнаруживший способности быть диктатором, не должен появляться на сцене. И не появляется. Но преданность его обеспечена.

Если у Сталина была особая одаренность, то в одном: он умел видеть в людях их мелкие страсти — и умел льстить самолюбию (часто накануне подножки: самолюбию Зиновьева, Бухарина...). Синявский описал, как Сталин охмурял инженеров человеческих душ. Случай с Багрицким, пожалуй, тоньше охмурения Опанасенко. Для каждого случая подбиралась своя личина. А если номер не проходил, то публика, недовольная представлением, шла в лагерь. Или прямо на тот свет.

Во всем остальном, кроме лукавства и интриг, Сталин был скорее туповат. Своих идей у него никогда не было, и он крал идеи у тех, с кем боролся. Почему же авторы идей терпели поражения, а он побеждал?

Это одна из загадок истории. Даниил Андреев писал, что сталинская энергия шла из глубин ада; что Сталин — медиум адских сил; какая-то высшая справедливость отдала всех умников, решивших переустроить мир, в жертву тупому демону. Этот миф — не ложь, а своеобразное описание истины, которую нельзя вытащить на поверхность и растолковать по правилам разума. Видимо, энергия зла, связанного с воплощением известного рода идей, так велика, что становится решающей силой, и деятель, открыто служащий аду, садист (как Сталин) или поклонник дьявола (как Гитлер), приобретает некоторую фору, некоторые преимущества перед соперниками, сохранившими пережитки буржуазной добропорядочности.

В романе Достоевского ложная идея — неопровержимая в своем теоретическом блеске — унижается пошлым воплощением. Сила дается пошлости (Смердякову). А потом пошлость познает себя и в невыносимой тоске сама же себя истребляет.

Дойдет ли жизнь до эпилога романа — не знаю. Но дух,

бурливший в Сталине, — это какой-то пошлый дух. Мне кажется, что Петр Григорьевич не понимает этого по благородству, присущему его натуре. То, что он любил, ему невозможно совершенно выбросить из сердца. Черта, совершенно противоположная сталинской психике; но благодаря этой именно черте хочется сохранить признание каких-то достоинств Сталина.

Григоренко полюбил Сталина за твердую (будто бы) веру, что можно построить социализм в одной стране (так полюбили Сталина миллионы людей). Потом опыт отрезвил, и любовь рухнула. Но рудиментом веры в Сталина осталась убежденность в гениальности Сталина-полководца.

Во-первых, утверждает Григоренко, Сталин сумел заставить союзников служить своим интересам... Может быть, и так. В Сталине туповатость отлично уживалась с хитростью, и в дипломатии он мог кое-кого надуть. Но не надо смешивать дипломатических способностей с военным гением. Мы ведь не считаем Александра I великим полководцем, хотя он и был хорошим дипломатом. Дипломат, даже очень талантливый, не поэтичен, не захватывает души Пушкина — и народной души. Я не говорю о даровании полицейского, какого-нибудь Жозефа Фуше (к которому Сталин был, пожалуй, ближе, чем к Наполеону). Нет культа Жозефа Фуше, нет культа Талейрана, есть только культ Наполеона. И моя задача — показать, что Сталин ни с какого бока не Наполеон, что он и в военном деле был великим ничтожеством. А вопрос о сталинской дипломатии я оставляю профессиональным историкам.

Я утверждаю, что никаких новых военных идей Сталин не выдвинул — так же как не выдвинул новых политических или философских идей. До самой большой войны гений позволял Ворошилову «крутить хвосты» и придал танковые батальоны стрелковым дивизиям. Только после финской кампании он спохватился, что в России бывают морозы, и ввел теплое обмундирование (одно из решающих условий нашего перехода в контрнаступление зимой 1941—1942 года). Русский кумир задним умом крепок.

Период обучения вождя военному делу длился, по-видимому, не до декабря 1941 года (как полагает Петр Григорьевич), а до лета 1942 года включительно. На этот курс наук не хватило бы никакой страны, кроме России. И после 1942 года Сталин продолжал гробить людей на кубанском

плацдарме и даже в самом конце, при взятии Берлина, — велел брать столицу в лоб (хотя Конев практически показал, что с юга в Берлин можно было войти с ничтожными потерями. Я этому живой свидетель.).

Сталинский стиль военных операций (в конце концов выработанный) был имитацией. Сперва — Жукова. В действиях Жукова на Халхин-Голе вождя привлекло именно то, что оттолкнуло Григоренко: не шадить солдат и расстреливать офицеров. Совершенно естественно, что Штерн, помиловавший всех приговоренных по приказу Жукова к смерти, Сталину не понравился, был отозван и впоследствии расстрелян, а Жуков вознесен до начальника Генерального штаба (должность, на которой он разделил со Сталиным ответственность за отказ воспользоваться данными военной разведки, предупредившей о наступательной группировке немецких войск). Видимо, в декабре 1941 года Жуков, назначенный командующим Московской зоной обороны, получил известную свободу рук, и Сталин чему-то у него доучивался. Это косвенно подтверждается опалой Жукова после конца войны: Сталин не любил людей, которым слишком обязан. Жуков никогда не подменял Главнокомандующего, но стиль генерала-мясника, жуковский стиль, стал важным компонентом сталинского стиля. Однако важнейшим, определяющим было другое: копирование Гитлера. В 1942 году Сталин открыто призывал учиться у своих врагов... Сталинский военный стиль — это сочетание жуковского с гитлеровским. Плюс общие черты сталинского почерка.

Что же собой представляет сталинско-жуковский стиль в целом? Некоторые простейшие приемы, перенятые у немцев, плюс старый способ, описанный еще Достоевским в «Дневнике писателя»: фельдъегерь методически бьет кулаком в затылок ямщика, ошалелый ямщик хлещет лошадей — и тройка мчится...

Петр Григорьевич пишет, что сталинские стратегические решения долго будут изучать. По-моему, гораздо интереснее действия самого Григоренко. Я не видал в течение всей войны такого умения беречь каждого солдата и создать устойчивое ядро пехотинцев, обстрелянных в боях и способных к сложным и стремительным маневрам.

Читая о действиях дивизий Григоренко, я все время сознавал, что автор намного превосходит меня в своей области, а я с трудом могу следить за ним, как за шахматистом,

видящим на девять-десять ходов вперед, с несколькими вариантами ответа на каждый ход. Сталинские же военные решения никогда у меня такого чувства не вызывали. Иногда они были разумны (в рамках здравого смысла), а иногда ошибочны. Конечно, мой опыт (солдата и младшего офицера) недостаточен для суждений о полководце. Но меня вдохновляет пример Раисы Борисовны Лерт, очень хорошо разобравшей книгу штабного генерала Штеменко. Хотя в армии Р. Б. вовсе не служила.

Я думаю, что попытки продолжать зимнее наступление весной 1942 года были ошибкой. Крупные наступательные операции, при абсолютном господстве противника в воздухе, нелепы. Уже в феврале, как только начались ясные дни, наше наступление выдохлось. Я это испытал на собственной шкуре. Ночью с 22 на 23 февраля мы взяли деревню. При лунном свете, в маскировочных белых халатах, солдаты двигались, как призраки. Немцы стреляли из автоматов, не видя цели, авиацию и минометы нельзя было пустить в ход. Наш взвод потерял двух человек (неслыханно мало для наступательного боя). Зато утром... Нас выложили в оборону перед деревней бестолково густо, и по этой массе людей долбили (пикируя) 16 юнкерсов, потом они улетели — и били минометы, потом минометы перегревались — и снова прилетали юнкерсы... Так повторялось несколько раз подряд. Когда я пошел на перевязку, снег был весь в розовых пятнах. Батальонный медпункт в избе разбомбили, раненых завалило бревнами (потом в госпитале я встретил мальчика 16 лет — мы ведь шли в октябре защищать Москву безо всякого отбора по возрасту, — его выкопали сравнительно целым, он лежал за печкой). Меня самого, в другой избе, вторично ранило и контузило. И в госпитале все раненые повторяли: не война, а одно убийство. Это в феврале, когда немецкая пехота, обутая в кожаные сапоги, грелась в избах и не решалась вылезть на снег. Но морозы кончились, немец обнагел, — а в воздухе по-прежнему были только мессера, юнкерсы, хейнкели, фокке-вульфы...

Кто виноват в катастрофе под Керчью? Неужто один Мехлис, получивший за это прозвище Мехлис-Дюнкерченский? Мне рассказывали, что генерал Петров, командовавший фронтом, хотел перейти к глубокой обороне, а Мехлис настоял, чтобы сохранить наступательные боевые порядки (которые и были прорваны одним махом). Неужто такие ответ-

ственные решения обошлись без Сталина? Не был ли Мехлис простым рычагом Сталина? Не потому ли Сталин в конце войны вдруг снял Петрова, что не захотел видеть его на банкете победы? Не потому ли, что фигура Петрова напоминала ему собственную ошибку? А не ошибку Мехлиса?

Потом, кто запретил Власову вывести, через с трудом пробитую брешь, остатки Второй ударной армии? На этот раз Мехлиса не оказалось. Лично Сталин.

Наконец, на юге Украины, уже после Керчи... Отказ Сталина перейти к стратегической обороне был авантюрой. Как бы он ни разговаривал (или не разговаривал) с Хрущевым и как бы Хрущев об этом ни рассказывал на съезде.

Весной 1943 года наша дивизия вышла на речку Мнус (к западу от Ростова) и заняла позиции, оставленные советскими войсками летом 1942 года. Всю оборону пришлось рыть заново. Ходы сообщения, запасные окопы, огневые, запасные огневые, ложные огневые... Наши предшественники за полгода выкопали только ниточку траншей по переднему краю. Почему Сталин, властью Главнокомандующего, не заставил тогда зарыться в землю? Лопат не нашли? А потом приказ № 227: «Сегодня, 28 июля 1942 года, войска Красной Армии оставили город Ростов, покрыв свои знамена позором...». Первую фразу 40 лет помню наизусть. По сердцу ударила. И дальше — основной смысл: по примеру предков наших учиться у своих врагов. Вести штрафные роты и батальоны. Ни шагу назад!

Ничего этот приказ не остановил! За месяц откатились до Волги. Остановила Волга (далее некуда). Остановила «скрытая теплота патриотизма» (о которой вспомнил Виктор Некрасов). И, может быть, символическое название города — со всеми связанными с ним легендами (советский патриотизм совпал с русским патриотизмом)<sup>1</sup>.

Я считаю Сталина ответственным не только за катастрофы лета-осени 1941 года, но и весенне-летние катастрофы 1942-го. Стратегия вождя выростала из его опыта мирного строительства: организации массового голода 1930—1933 годов и репрессий 1934—1939. Привык, что людей можно заставить хоть на стену лезть. И вот, — рассудку вопреки, напе-

<sup>1</sup> Приказ «Ни шагу назад» до самого конца войны давал огромные лишние потери. Например, если фронт застревал в болоте, солдаты месяцами жили по колена в воде; немцы же в подобных случаях отходили на 3—5 километров.



рекор стихиям — вперед, вашу мать! Непрерывный, надрывный мат по телефону... Это не чье-то личное хамство, как его понимал Григоренко<sup>1</sup>, а система, такая же, как мат следователей — методическое доведение людей до остервенения, до слепой злости, в которой потерь уже не считают, и, дорвавшись до немецких окопов, разбивают прикладами головы фрицам, поднявшим руки вверх (немцы наших в плен брали; расстреливали по выбору — известные категории; советские гуманисты убивали всех подряд).

В июне-июле 1942 года этот испытанный метод дал осечку. Немцы прорвали фронт и вышли на оперативный простор — к Волге и к Кавказу.

Но Россия велика. Сами победы создали опасное для немцев положение — растянутый, с изломанными очертаниями фронт. Как только наступление остановилось, этот фронт оказался Ахиллесом, у которого пятка всюду. Одна пятка румынская, другая — итальянская, третья венгерская (венгры — неплохие солдаты, но зачем им Воронеж?). А между тем, низкая облачность приковала немецкую авиацию к земле, и русские танки, раздавив румын (аккуратно поставленных немецкими штабами к югу и к северу от Сталинграда для удобства окружения), соединились у Калача. Немцам пришлось драться в «котле», и они потеряли веру в свою непобедимость. Мы ее приобрели. Пропаганда раздула победу под Сталинградом до фантастической, подавляющей величины. На Миусе дивизия формировалась заново (мы вышли к этой речке в составе одной сводной стрелковой роты), но как-то удалось убедить солдат, что они гвардейцы-сталинградцы. Я сам убеждал и удивлялся, до чего легко верят.

После страшного урока двух летних кампаний Сталин дал теперь приказ зарыться в землю и, опираясь на отличную оборону, уступил Гитлеру первый ход на Курской дуге. Тут он Гитлера действительно переиграл: угадал ход мыслей противника и приготовил ему ловушку. Гитлер, оставаясь самим собой, не мог не искать победы в наступательном бою; а где же наступать, если не под Курском? Если бы дьявол (на которого Гитлер рассчитывал) помог ему, окружение и разгром советских сил, сосредоточенных в центре дуги, дал бы максимум успеха... Но соотношение сил изменилось. На-

<sup>1</sup> Григоренко вел в трубу у входа его на телефонный материал, и приучил генерала к жестокости. Он хотел принимать решения сего злою, безжалостным умом.

ши стрелковые дивизии научились использовать мощь своих огневых средств в обороне, наши танки получили хороший опыт зимой 1942—1943 годов, и наша авиация наконец сравнялась с немецкой. Два года мы воевали под чужим, враждебным небом. Теперь этого больше не было. Мощным контрударом удалось прорвать немецкие наступательные боевые порядки (то, чему немцы научили нас в 1942-м. Опять задним умом крепки.). Значит ли это, что Сталин — военный гений? Или просто оплошал Гитлер, действовал тривиально, так, как от него ожидали? Из двух полководцев, столкнувшихся на поле боя, один всегда выходит победителем.

Простой здравый смысл подсказал Сталину, что без хорошего Генерального штаба войну выиграть нельзя, и он выдвинул на руководящие посты способных людей (так же как раньше, для других дел, были выдвинуты Ежов и Берия). Не все генштабисты, подготовленные Тухачевским, были расстреляны. Мудрый Сталин кое-кого (одного из десяти) оставил в живых<sup>1</sup>. А может быть, просто не подвернулись под руку в минуту гнева. Вполне можно было расстрелять и Василевского. Классово чуждый элемент. Сын попа. Но почему-то уцелел и стал маршалом. В 1930 году Сталин вернулся из ссылок троцкистов — на место бухаринцев, поехавших в ссылку. В 1941 году он вернулся из лагерей Рокоссовского, Горбатова... А потом их победы стали сталинскими победами.

Гениальность Сталина — призрак, созданный при участии самих генералов, которые подсказывали ему свои решения. Но этот призрак воевал, и он победил другой, гитлеровский призрак.

Генералы (русские и немецкие) были искренне благодарны диктатору за тотальный режим, собравший все силы страны на службу войне. Тотальная экономика — это военная экономика. Тотальная политика — это военная политика. Гениальность Сталина была царь-пушкой системы, стрелявшей военными победами так же, как раньше — миллионами тонн чугуна и стали. На самом деле урон противнику приносили другие орудия, царь-пушка только хлопала, но психологически ее выстрел был решающим. В государстве, где Сталин снится детям в яслях, вдохновляет художников и незримо тан-

---

<sup>1</sup> Аналогичную гениальность обнаружил аятолла Хомейни. Он реабилитировал шахских офицеров и с их помощью разбил иракскую армию.

цует па-де-де вместе с Галиной Улановой, военные приказы, подписанные вождем, были непременным условием победы. Непогрешимость Сталина позволила сохранить веру в победу после любых поражений. Она вела нас вперед (так же как немцев — непогрешимость Гитлера). Гениальность Сталина стала краеугольным камнем мировоззрения генералов и офицеров, добившихся победы. Без гениальности Сталина рушится часть их веры в себя. После хрущевского доклада военные были потрясены — это Григоренко очень хорошо описал. Неприятно почувствовать себя подручными бандита. Надо было идти путем Петра Григорьевича — или возвращаться назад, реабилитировать Сталина.

К несчастью, в таком положении не только генералы. У миллионов ветеранов нет позади ничего настоящего, подлинного, кроме войны. Вперед... вашу мать! За Сталина... вашу мать! И подымаются залегшие роты, и идут вперед, летят на крыльях победы, над смертью, над страхом. А потом? Потом опять стена, и опять начальство велит лезть на стену и заниматься социалистическим соревнованием — кто быстрее влезет. И опять (как объяснял в 1941 году наш командир отделения, сержант Сорокин) надо делать вид, что непременно влезем, собирать лестницы, привязывать их друг к другу, — и постепенно начальство привыкает, что довольно одной видимости влезания на стену, и так, в этой пустой возне, проходит вся жизнь. Война была выходом из царства химер в историческую реальность, конец войны — возвращением в мир Кафки. И имя Сталина, и облик Сталина в мундире генералиссимуса связались в умах миллионов не со страшным миром, который он строил, а с коротким выходом из этого мира в национальный эпос. Этот мираж, овладевший массами, от моих однолеток до юнцов, надышавшихся смутным облаком отцовского патриотизма, — одна из величайших трагедий русской истории.

Что же было на самом деле? Было то, что политическая машина, заложенная Лениным и достроенная Сталиным, выдержала весь груз его ошибок. Политический строй, в котором малейшие сомнения в мудрости диктатора есть тягчайшее преступление, — несокрушимая крепость, и Гитлер разбил себе об нее голову. Монархию, в которой можно было сплетничать о царице и Распутине, Гитлер бы, пожалуй, слопал, а сталинским кашеевым царством подавился. Я думаю, что Гитлер разбирался в военном деле лучше, чем необучен-

ный рядовой Сталин. Все-таки ефрейтор, четыре года вертелся посыльным около штаба полка. Но политически Сталин был гибче. Система, в которой он действовал, была жестче фашистской, но сам он был гибче. Система была устроена по логике Шигалова (начинаем со свободы и приходим к рабству). Фашисты и не начинали с золотых снов человечества, они прямо объявляли волю к власти. Фашизм циничнее, преимущество нашей системы — в лицемерии, в способности использовать и добрые порывы.

Дадим отпор душителям  
Всех пламенных идей,  
Насильникам, грабителям,  
Мучителям людей...

Сталин прекрасно чувствовал логику системы и был величайшим лицемером. Часть его победы — это победа советского лицемерия над фашистским цинизмом. Но лично Сталин был циничнее Гитлера. И его победа — это (помимо всего прочего) победа тоталитарного хозяина второго поколения (стопроцентного циника) над тоталитарным вождем первого поколения (циником-идеалистом). Сталин использовал и американскую помощь, и русский патриотизм, и Коминтерн распустил, и погоны ввел. А Гитлер не сделал даже серьезной попытки превратить Власова в своего союзника. Он верил в расовую теорию, он воевал по правилам, которые сам себе установил, и по этим правилам высшая раса должна была покорить низшую. Гипноз идеи сближает Гитлера с другими соперниками Сталина, которых Сталин слопал. Сталин не был пленником идеи. Он протестировал любые идеи. В том числе гитлеровские. И он победил.

Великие вожди обычно сами не сознают, что за идеей, которой они одержимы, прячется нечто более элементарное (воля к власти, мстительность и проч.). Отсюда противоречия в деятельности великих людей. В Сталине таких противоречий не было. Его победа — это победа такой полной, такой пошлой бездуховности, что сравнительно с этим пошлым хам Гитлер, одержимый своим пошлым мифом о белокурой бестии, выглядит героем и мучеником идеи. Ну, пусть пошлая идея, но своя, кровная. У Сталина — никакой своей идеи. Только понимание, как играть лозунгами, сохраняя ударные слова и выворачивая наизнанку их суть.

Впрочем, конкурс гениальных вождей был так устроен, что ад ни при какой погоде не мог проиграть. Не Сталин, так Гитлер; не Гитлер, так Сталин. Единственная возможность гибели обоих — это временное торжество Гитлера и град американских атомных бомб. Гитлер — не Хирохито, с одной бомбы не капитулировал бы... Бог сохранил Европу от радиоактивных осадков. Победа дана была Сталину. Генералиссимус устлал дорогу к Берлину трупами русских солдат и спас Германию (а заодно и соседние с ней страны) от атомной отравы<sup>1</sup>.

Война — продолжение политики, и наша война не могла быть нечем иным, как продолжением сталинской политики. Нас нельзя было сломить, не сломив авторитета Сталина. Поэтому Гитлер, не сумев взять Москвы, рванулся к Сталинграду. Поэтому Сталину непременно надо было удерживать Сталинград. Сталин бросает полумиллионную армию в бой к северу от Сталинграда, в голую степь, наступать при абсолютном господстве противника в воздухе, чтобы хоть на несколько дней отвлечь часть сил немцев, дать возможность организовать защиту города. Несколько месяцев спустя Гитлер оставляет армию Паулюса погибать, цепляясь за развалины Сталинграда. Потому что Сталинград — город-знак, город-символ. Кутузов мог сдать Москву, чтобы сохранить армию. Авторитет царя это не подорвало. А Сталин и Гитлер вцепились в Сталинград мертвой хваткой..

Я не отрицаю политической необходимости нашего августовского неудачного наступления к северу от Сталинграда. Но с военной точки зрения оно все же было бездарным. Дивизии двинулись вперед густыми боевыми порядками, с неизбежностью огромных потерь. Это все равно, что завалить

---

<sup>1</sup> Впрочем, в случае безусловной победы англо-американской коалиции, зло — хлынувшее в мир после мировых войн — нашло бы новые пути. Об этом хорошо говорит философ-эссеист (созданный воображением Хорхе Луиса Борхеса) перед казнью: «Гитлер думал, что он борется за одну нацию, но он боролся за все, даже за те, которые он презирал и на которые напал. Неважно, что его Я не осознавало этого факта; это знали его кровь и его воля. Мир погибает от иудаизма и болезни иудаизма — веры Иисуса; мы научили его насилию и вере в меч. Этот меч нас убивает... Многие должны быть разрушены, чтобы создать Новый Порядок; теперь мы знаем, что и Германия была обречена. Мы отдали больше, чем наши жизни, мы принесли в жертву свое возлюбленное отечество. Пусть другие стонут и кланут. Я нахожу радость в том, что наша судьба завершила свой круг — и что она совершенна.

Наступает непреклонная эпоха. Мы ее создали, мы, ставшие ее жертвой. Что с того, если Англии досталась роль молота, а нам — наковальни, раз царствует насилие, а не христианская робость рабов. Если победа и торжество справедливости и счастья не для Германии, пусть они достанутся другим нациям. Пусть существует небо, даже если наше место — в аду...»

ров трупами. Много лет спустя мне пришлось слышать рассказ одной пожилой женщины, служившей во время войны во фронтовой газете. Самым ее сильным переживанием была передислокация редакции (видимо, в начале 1943 года) по дороге, ямы которой были заложены замерзшими трупами итальянцев. Рассказ не печатали — факт (несмотря на его патриотическую интерпретацию) сочли неприличным. Но мы воевали еще более неприлично. Наша дивизия продвинулась на три километра, буквально завалив свой участок (два на три километра) трупами. Другие дивизии продвинулись меньше или вовсе не продвинулись. Каждый квадратный километр был там завален трупами еще гуще. Над полем висел густой смрад. Я хромал после ранения, больше трех километров не мог пройти и был прикомандирован к редакции, ходил ночами из балки Широкой (КП дивизии) в балку Тонкую (КП полка) за материалом (усталые политработники мне с трудом что-то выдавливали). А в темноте я несколько раз натыкался — то рука торчит недохороненная, то нога. Сваливали в ближайшие ровики и чуть-чуть присыпали. Хоронить как следует некогда было — и некому.

Задним числом мне кажется, что разумнее было бы атаковать ночью (когда авиация бездействует), захватывать отдельные участки вражеских окопов и провоцировать немцев на контратаки, под огонь нашей артиллерии (которой было очень много). Так мы могли бы долго давить на фланг Паулюса. Но приказано было просто: всем фронтам — вперед! Немецкому превосходству в воздухе не было противопоставлено никакой мысли — только груды пушечного мяса! И потом, с начала сентября, когда наступать было нечем, еще недели две или три подымались в атаки обескровленные сводные роты (из totally мобилизованных обозников, кашеваров и проч.). Паулюс превосходно знал (через перебежчиков хотя бы), что нам давить нечем. Что же мы демонстрировали? Только преданность Сталину. И во имя ее дивизии были потрепаны так, что в ноябре для действительно наступления (на румынском участке) пришлось некоторые расформировывать (наша 258-я была сохранена, пополнена за счет 207-й и впоследствии получила гвардейское звание. Следовательно, она воевала лучше других. Между тем, талантливых маневров, наподобие тех, о которых пишет Петр Григорьевич Григоренко, я за два года — с 1942-го по 1944-й — не видел ни одного. Очень квалифицированно вос-

вали артиллеристы. А пехота в военной машине была чем-то вроде колхозов).

Действуя в Карпатах, П. Г. Григоренко по сути вел войну на два фронта. Одну — горячую — с противником, и другую — холодную — по телефону с начальством. Петр Григорьевич выполнял только те приказы генерал-лейтенанта Гастиловича, которые считал разумными, а нелепые — саботировал. Рискаю головой, обманывал, не делал ничего или делал так, чтобы продемонстрировать исполнение с минимумом потерь, а потом решал боевую задачу по-своему. Но, во-первых, он был генштабистом (люди с его образованием командовали армиями и фронтами), а во-вторых, он родился диссидентом (хотя и не сразу это понял). То, что казалось ему борьбой с генерал-лейтенантом Гастиловичем, было по сути борьбой со сталинским стилем: потерь не считать — и вперед, хоть на стену лезь!

Петр Григорьевич хвалил Сталина за то, что тот разрешил не секретить боевой Устав пехоты. Так ведь вождю незачем было перестраховываться! И приказ № 227 он мог писать, не боясь, что за резкие выражения привлекут по статье 58—10, часть вторая. Над ним Сталина (и Берии) не было. В обществе, где все перестраховываются, тот, кто по своему положению может не перестраховываться, — гений. У него есть возможность свободно мыслить, шагать через стереотипы, менять стереотипы. В царстве слепых он зрячий. Но в обществе свободных он кривой.

Когда соотношение сил изменилось в нашу пользу, когда Генеральный штаб интеллектуально овладел положением и стал предлагать эффективные боевые планы, к Сталину повалила козырная карта и он начал бить своими козырными шестерками гитлеровских асов<sup>1</sup> (потерявших козырное достоинство). До середины войны козырная карта шла Гитлеру, и гением был Гитлер. Потом козыри пошли Сталину, и стало казаться, что он еще гениальнее. Хотя невозможно считать заслугой Сталина, что Россия велика, что русский народ привык к сильной власти, что Ленин эту сильную власть обновил и усовершенствовал, что у Америки огромный производственный потенциал, который страны антикоминтерновского пакта обрушили себе на голову, что японцы поперли на юг, а не на запад, что Ежов не успел посадить

<sup>1</sup> А с — буквально: туз — жаргонное наименование первоклассных летчиков.

Василевского или Баграмяна (уже исключенного из партии за мнимую дашнакскую деятельность), что Рокоссовский не загнул в лагере...

Я вижу в сталинских методах войны что-то очень сходное с методами сталинских хлебозаготовок. Лишь бы сегодня взять все сто процентов. И во имя этого разрушались работоспособные колхозы. И во имя этого стрелковые батальоны превратились в проходной двор для маршевых рот — в наркомздрав или в наркомзем. Потери стрелковых рот в наступлении ничем не отличались от потерь штрафных рот. Так же как жизнь колхозников мало отличалась от жизни з/к.

Побеждать, уложив вчетверо больше, чем Гитлер, — на это надо не слишком много гения. Но победа есть победа. В пустой, выпотрошенной Сталиным сегодняшней жизни его собственное время осталось в памяти как время энергии, порядка — и победы.

Война Гитлера со Сталиным — безотрадный эпос. Один вампир погиб, чтобы укрепить власть второго. Но в апреле 1945 года в Берлине память неудержимо выталкивала «Торжество победителей» Шиллера, то в одном переводе, то в другом, — и сердце откликалось на каждый стих. В конце концов, я достал Шиллера на немецком и несколько раз перечитывал — все так перекликалось с тем, что я видел! И толпы троянок, оплакивавших свое царство, и пророчество Кассандры...

Все великое земное  
Разлетается как дым.  
Ныне жребий выпал Трое,  
Завтра выпадет другим.  
Смертный, воле, нас гнетущей,  
Покоряйся и терпи.  
Спящий в гробе, мирно спи.  
Жизни радуйся, живущий.

Огромное напряжение всей страны, закончившееся победой, не перечеркнешь. Что было, то было. Но этот властитель, нечаянно пригретый славой... Его культ надо разобрать по косточкам. Пока еще есть время. Пока тень Сталина не потянула за собой хоровод бесов. Пока дух Сталина не сое-



динился еще с духом Гитлера — духи это могут — и на земле не воплотилась новая, сталинско-гитлеровская химера. (Еще раз повторяю: написано в начале 80-х, опубликовано в «Синтаксисе» в 1984 г.).

## *Провокатор-пророк*

Есть еще одна химера, в перспективе будущего, может быть, самая чудовищная. Это провокатор-пророк. Тот случай, который я знаю, сравнительно мелок и мало известен. Но замечательна сама возможность такого типа, и поэтому Феликс Карелин — довольно мелкий бес, едва-едва влезший на котурны, — достоин исследования. Важен не он сам по себе, а то, что в нем воплотилось (может быть, только на пробу, в ожидании других, более крупных воплощений).

История Феликса настолько плотно укутана в облако легенд, что я не буду допытываться, что в них правда и что ложь. Легенда сама по себе правда, сама по себе свидетельство о духе времени. Поэтому назову героя своей притчи просто Икс (не Феликс, а герой легенды о Феликсе. Не прототип, а тип, мой собственный художественный вымысел).

Не знаю, когда его завербовали. Кажется, в конце войны. (Икс был солдатом, а вероятность полевой вербовки довольно велика: в каждом взводе положен информатор.) Но может быть, он прельстился на положенные сребреники еще до войны, в детдоме<sup>1</sup>, или после войны, в Ленинградском гарнизоне. Икс кончал свою службу в Ленинграде и понемногу стал постукивать по квартирам интеллигентов, пригревавших бедного солдатака. Как он это оправдывал? Идеей? Но по идее надо бы бесплатно, а Иксу платили. Идея прикрывала это плохо. И зада не прикрывала. Помогало желание выслужиться, доказать преданность (биография Икса была не совсем безупречной). Стук, помимо мелочи на карманные расходы, давал надежду на карьеру... И еще помогала ненависть к благополучным (сравнительно с казарменным житьем), устроенным (опять-таки относительно) интеллигентам. Икс был гол как сокол. Отслужив срок, он рас-

<sup>1</sup> Согласно одной из легенд, в этом доме для детей врагов народа стоял памятник Павлику Морозову.

полагал единственной парой штанов и дырявыми ботинками. Другие студенты были так же скверно одеты; но их это не мучило, не язвило, а Икса очень язвило. Он был неограниченно тщеславен... Тайное (и призрачное) могущество стукача давало ему, видимо, какое-то странное удовлетворение.

В эти годы многие стучали: из подражания Павлику Морозову, со страху. Но совесть мучила, и методический стук выходит не всегда. Некоторые вовсе не могли стукнуть, до боли от невыполнения своего пионерского, комсомольского или партийного долга. При всей вывернутости наизнанку такого чувства (Павлик Морозов поступил хорошо, мне надо быть такой же, но я слаба, я не могу) — это признак целомудренной души. Таких завербовать было вовсе невозможно. Из других, давших подписку, при каждом вызове буквально выдавливали показания (с таким несчастным я сидел в камере). Некоторые стучали лихо, самозабвенно, полхлестаковски, а потом спивались (моему соседу по нарам чудилось, в белой горячке, что воробушки прыгают и чирикают: шпик! шпик! шпик!). Долгая безнаказанная работа платного информатора возможна только при некоторых особых чертах характера: нравственном идиотизме, извращенности, гипертрофированной способности к самооправданию и т. п. Что именно поддерживало Икса — не знаю. Скорее последнее. Во всяком случае совесть его не беспокоила. Он работал долго, успешно и небескорыстно. Из этой инерции, задолго до XX съезда, его вырвал один необыкновенный случай.

В 1948 году органы безопасности заинтересовались Толей Бахтыревым, по кличке Кузьма. Иксу поручили познакомиться. Это было нетрудно. Кузьма рано осиротел, двери его комнаты были широко раскрыты. Туда ходили несколько десятков первокурсников и школьники старших классов...

Я впервые услышал о Кузьме от его подельника (а моего лагерного друга), довольно скептического юноши. К мальчикам и девочкам, входившим в кружок, он относился с усмешкой. Очень любил главу «Русские мальчишки» из «Братьев Карамазовых» и цитировал реплики Коли Красоткина наизусть — с иронией к мальчишескому философствованию своих друзей и самого себя. Но когда вспоминал Кузьму, тон совершенно менялся. Кузьма был для него высший человек.

В 1948 году Кузьма бросил работу, на которой чем-то

обидели, лежал на койке и думал. Устраиваться сперва медлил (все равно в армию), а потом и не мог. После первых донесений Икса его вызвали, пытались завербовать, паспорт не вернули. Так, без паспорта, и жил до ареста. Вечером приходили товарищи, приносили поесть, и начинались разговоры...

К 1948 году эти разговоры дшли до Бога и бессмертия души. Впоследствии Илья Шмаин упрекал Кузьму: «Ты не захотел быть Христом» (а захотел бы — и Илья бы поверил, пошел...). Этот один упрек стоит целой повести. Кузьма действительно не хотел быть ни Христом, ни пророком, но у него был религиозный дар. Может быть, дар тоски по вечности? Много позже, после лагеря, он писал: «Бога нет, но есть деревья, и представить себе это невозможно...» Своим «представить это невозможно» он, кажется, и тревожил ум.

В одну из ночей, прозванных кем-то творческими (кажется, это скрытая цитата из Пушкина), Икс вдруг, во внезапном порыве искренности, признался, что стучит и уже настучал на всех. Так вдруг пронзало и осеняло Лебедева или Келлера, а потом они продолжали свои пакости...

На Западе стукач — это стукач, и если имеет отношение к святости, то только по долгу службы: через донос. Но русский человек широк, он делает пакости и молится за упокой души графини Дюбарри, исповедуется Мышкину или — как Икс — становится пророком православного Ренессанса. Потому что на Западе формы определились, а в России они шатки, непрочны. Отсюда тот страх антихриста, о котором писали Н. А. Бердяев и Д. Андреев. Католики боялись дьявола, — размышлял Бердяев, — но нигде не было такого страха антихриста, как в России. Даниил Андреев объяснял это впечатлением от крутых переходов Ивана Грозного (то православный царь, то зверь; то зверь, то православный царь). При близости царя и Бога в народном сознании невольно в глазах зарябит: то Христос, то антихрист, от этого и безумный страх подмены святости, до самосожжений в срубах, и безумная вера Блока:

В белом венчике из роз  
Впереди Иисус Христос...

Тут главное в крутизне переходов. Луи XI не бросался в истерику от попыток к покаянию, не носил монашеских одежд,

не превращал двора в монастырь. Он был рационально жесток. Ему в голову не пришло бы пойти походом на Орлеан (даже не фрондировавший) и топить обывателей в реке. Иван Грозный — явление неповторимо русское, первый русский антихрист. Были потом и другие... Икс — еще одно мелкое звено в антихристовой цепи. Мелкое, но опять неповторимое. Бывает, что прохвост становится провокатором; но чтобы прохвост и провокатор стал пророком? Говорят, что слава Икса уже развеялась. Но лет двадцать ему почти что молились.

Где пророки, там всегда и лжепророки. В Африке не очень давно (лет десять или пятнадцать тому назад) был съезд пророков. Съехались человек тридцать мужчин и несколько женщин. Кто из них действительно пророк, не знаю, но общее число пророков (и лжепророков) измеряет духовное развитие Африки совершенно так же, как производство энергии на душу населения — ее экономическое развитие.

В истории высоких религий пророки постепенно исчезают. Их заменяют святые. Это не только перемена термина. Меняется суть. Святые безгневны, их горение духовное — более чистое (пламя без дыма, говорят в Индии). Отдельные святые могут грешить гневом (а отдельные пророки приближаются к новозаветной святости: Исаяя, например). Но характеристика верна для группы, для религиозного типа. Пророки продолжают в низах общества, в сектах, до которых история как бы еще не дошла. Или секуляризуются, становятся «харизматическими лидерами» (Макс Вебер), «пассионариями» (Л. Н. Гумилев) — т. е. Кромвелем и Наполеоном, Лениным и Троцким.

Харизматические лидеры нужны, когда история петляет и кружит, когда средний человек сбит с толку, потерял ориентиры и может только выбрать вождя, довериться вождю, вождю, который знает, как надо. К сожалению, современные вожди, по большей части, ведут нас из огня да в полымя. Единственное исключение — Ганди.

Однако вечность — по ту сторону исторических судорог. Время петляет, кружит, делает зигзаги (историческое время вовсе не сводится к движению по прямой). А вечность всегда в одном месте: в центре круга, в центре спирали. И поворот к вечности давно известен. Великие религиозные традиции могут обмениваться опытом, учиться друг у друга, как идти в свою собственную глубину, но каждая из религий эту

глубину знает. Ни православие, ни какая-либо другая великая религиозная традиция пророков не требует и, по-моему, даже не допускает. А православный пророк — сапоги всмятку, мыльный пузырь, раздутый отчаянием верующих в своей гнилой продавшей иерархии. На этой почве вырос и пророческий авторитет Икса. Я убежденно оцениваю его как лжепророка, безо всяких внутренних колебаний, но тут же оговариваюсь, что иногда он бывал как бы и пророком в самом деле и в эти мгновения мог совершать сам и побуждать других как бы и на великое. Более того, я убежден, что некоторые из учеников лжепророка могли быть крещены им в истинную веру и вступить на праведный путь; и не отходить от добра поминутно, как их вождь, а утвердиться, в меру личной благодати. Такие случаи, кажется, были.

Возвращаясь к 1948 году, я думаю, что порыв, заставивший Икса признаться, не был игрой. Но была и «двойная мысль», т. е. все же и игра, рискованная, отчаянная игра. Икса поразила и соблазнила атмосфера восторженного обожания, готовности и слепо идти за пророком, — то, что Толя Бахтырев решительно не принимал и впоследствии, в письме к другу, назвал «фашистским культом». Мелькнула — как журавль в небе — возможность карьеры, способной удовлетворить самое фантастическое, самое необузданное тщеславие. Ради этого журавля Икс выпустил из рук советскую синицу и рванул в небо.

Первым следствием был арест (за разглашение служебной тайны) и лагерь. Арест, может быть, спас предателя. Когда Толя сидел, а он еще гулял на воле, двое мальчиков собирались убить его. Но в лагере слава стукача еще больше грозила смертью.

Далее легенда раздваивается. Согласно одной версии, Икс сперва обратился ко Христу, а потом зарезал человека. Согласно другой версии, он сперва зарезал человека, а потом обратился ко Христу. Я выбираю второй вариант, хотя вовсе не ручаюсь, что именно так было на самом деле. Так, по-моему, художественно достовернее. Спасаясь от ножа, защищая свою эковскую честность, Икс согласился убить и убил заведомого стукача, осужденного лагерной мафией. Может быть, менее виновного или вовсе невинного... Потом его охватило раскаяние, и в какой-то миг он что-то увидел..

По словам Кузьмы, Икс «первым реализовал религиозные бредни 1948 года» (см. посмертно собранную книжку Ана-

толия Бахтырева, опубликованную за рубежом под названием «Эпоха позднего реабилитанса»; Иксу там дана условная фамилия Горелин).

Некоторые друзья Толи (Кузьмы) говорили мне, что никаких видений у Икса быть не могло, что он просто выдумывает и артистически входит в роль. Мне кажется, что артистизм вранья и способность к видениям друг друга не исключают. Артистизм мог несколько варьировать рассказы о видениях, но видения сами по себе могли быть. Видения у подлеца вполне возможны. Истерический порыв, заставивший обличить себя как стукача, нельзя отрицать. Отчего же отрицать следующие порывы? А если признать истерию, в сочетании с «себя на уме», то перед нами обрисовывается тип современного шамана. Говорят, что многие шаманы страдают наследственной истерией. Среди них есть и вруны, и корыстолюбцы, но видения их посещают. И африканских колдунов, вдохновленных поеданием человеческой печени, тоже посещают видения.

Низость Икса сказалась не в самих видениях, подсказанных христианской культурой (а какой же интеллигент, читавший Толстого и Достоевского, не тронут ею?). Низким был вывод Икса: огромное чувство своей избранности, своего призвания. Убийство было прощено себе мгновенно (так же, как раньше стукачество). Икс уверовал, что Христос принял на себя все его грехи и наделил пророческим даром. Раньше для самооправдания шли в ход идейные аргументы, теперь пошли мистические, но низость осталась низостью. Подмененный Христос оправдал все грехи — прошедшие, настоящие и будущие. Путь к преображению был оборван с первого шага; лукавая душа вывернулась, усыпила видениями чувство ужаса от себя самой, избежала назначенного ей страдания. У Галича даже черт знает, что за грехи придется платить (потом, правда, но все-таки придется), а Христос Икса все на себя взял и все списал.

Выйдя на волю, новый пророк с энтузиазмом проповедует своего подмененного Христа. Пуще всего ему хотелось увлечь подельников. Перед одним из них, встретив на улице, он бросился на колени: «Не встану, пока не простишь!» — «Пошел к е... матери!» — ответил тот. Икс постоял, постоял на тротуаре — и встал непрощенный. Вернуться победителем в Мекку не удалось. Зато перед лжепророком широко раскрылись другие сердца. Проповедь Икса нашла востор-

женный отклик среди молодежи, о которой я писал в эссе «Три клинических случая» (прямо от соски — к бутылке). В этом Ясрибе<sup>1</sup> даже пороки Икса шли ему на пользу. Например, склонность приволакиваться за первой встречной юбкой. Пастве, тронутой сексуальной революцией, такое поведение пророка решительно нравилось.

Шаманский дар Икса вызвал массовый энтузиазм. Толпе хотелось такого именно Христа, с которым все позволено — и все свято. Гармонии между попом и приходом не смогло нарушить даже несостоявшееся светопреставление (хотя этот анекдот попал в газету). Дело было так. После нескольких бессонных ночей Икс увидел, что шестая печать будет снята летом 1968 года. Спасти можно будет только на Афоне. Очнувшись, Икс тут же подменил греческий Афон Новым Афоном (в Грецию визы не дали бы). Верные уговаривали скептиков: бросайте все, спасайтесь! Сам пророк оформил себе на время светопреставления очередной отпуск; другим пришлось туго. Все же несколько человек уехало. Купались, пили сухое вино и ждали конца света... Потом Икс, со своей безграничной способностью самооправдания, вспомнил пророка Иону. Оказывается, Бог пожалел Москву.

То, что меня поражает, это не способность пророка ошибаться (по-моему, все люди могут ошибаться. Ап. Павел и другие апостолы ошибались, ожидая скорого пришествия Христа; но вера их была истинная). Поражает легкость, с которой Икс поверил, будто ему ведомы времена и сроки, и такая же легкость, с которой он простил себе ошибку, сохранив полностью веру в себя. Видимо, этой верой он и заражал и захватывал.

Кое-кто тогда отошел. Но вместо одного отошедшего набегал десяток неопитов. Слишком многим хочется найти в другом (а не открыть в себе) силу веры и знание правды. Разумные люди в наш век не знают, что будет завтра; время переломное, что-то кончилось, а что начинается — не поймешь. И вот безумцы и наглецы становятся вождями. И целые народы бросаются за наглой самоуверенностью: за Гитлером, за Хомейни...

Скандал с шестой печатью ничуть не уменьшил славы Икса. Он обличает неправославие, бичует ереси...

---

<sup>1</sup> Ясриб — город, в который Мохаммед бежал из Мекки. Впоследствии — Медина.

Постепенно лжепророк становится все респектабельнее, все церковнее. Начав с обличения Московской патриархии, он теперь обличает церковных диссидентов (его же духовных детей). Перестав быть провокатором по должности, Икс остался провокатором по характеру. Он сочиняет тексты — подписывают другие. Он не дает порочащих показаний, но предлагает вызвать других (а они уже говорят то, что нужно).

Когда вернулся Толя Бахтырев, отсидев шесть лет из десяти и реабилитированный за отсутствием состава преступления, Икс пытался вернуться в старый круг, но никто не захотел подать ему руки. Даже снисходительный Толя задумчиво сказал: не то беда, что он предал, а то беда, что он пошляк...

Теперь этот пошляк, с которым Кузьма не захотел больше знаться, стал исторической личностью.

## *Пошлость*

Пошлость — решающее слово нашего времени. Имя иксам — Легион. Имя иксам — тап (первое лицо неопределенно-личного предложения и экзистенциальная категория у Хейдеггера). Есть пошлость либеральная, пошлость марксистская, пошлость христианская (недавно я прочел, что об этом уже думал — и писал — В. В. Розанов). Не вся пошлость вместилась в одного Икса. Он просто колоритнее других. В безличности его (свойственной всякой пошлости) больше личного. Он, на свой лад, значителен — как художник И. Глазунов, как о. Дмитрий Дудко.

Пошлость — слово русское, не вполне переводимое, европейской наукой не отшлифованное. Объяснить его трудно. Где-то по соседству с пошлостью низость, но низость — непременно минус, а пошлость — скорее нуль. Точнее: нуль личности. Потеря родовых образцов (с которыми можно и не быть личностью: достаточно твердости в обычае) и попытка нуля функционировать как положительная или хоть отрицательная величина. Отсюда неуверенность и наглость (смирение Опискина, храбрость Грушницкого). Отсюда влечение к эффектной позе и культ героя сиюминутной позы, власть пустого времени, моды. Пошлость тянется к позе бы-



тия — и тотчас облепляет его, опошляет (даже если это бытие — не только поза: пошлое обожание знаменитостей, пошлая образованность, пошлая церковность). Пошлость приходит в восторг и в исступление, когда находит себя саму, одаренную харизмой (наверное дьявольской). Я помню речь Гитлера (слышал по радио, в 1940 году; заклятых друзей не глушили). Какие ничтожные аргументы! Какие дешевые приемы! Сгореть бы от стыда, если хоть раз пробьется такая интонация! Но как подвывала этому шуту восторженная толпа, бывший народ Гете, Шиллера, Канта...

Душа, не чувствующая пошлости, создает темное облако, в котором выстраивается сказочный дворец диктатуры (Сталина, Гитлера, Хомейни). Пошлость может сохранить свободные учреждения только по инерции. Ей нужен вождь, дуче, фюрер. Ей нужен Великий инквизитор, а не Христос. И если вся наша цивилизация обрушится — то в яму пошлости (строим большую вавилонскую яму, — говорил мой приятель). Яма растет со всех сторон, на всех континентах. Запад сохранил еще привилегию личности твякать на пропасть; у нас и это не дозволено. Мы обязаны сползать по наклонной плоскости, сохраняя бодрую советскую улыбку. Отказ повторять пошлости — государственное преступление. Что же означает у нас раскаяние государственного преступника? Акафист пошлости.

## *Волна и пена*

Там, где развитие было стремительным, как в России и других незападных странах, разрыв между требованиями, предъявленными личности, и ее действительной силой был особенно велик. Там разрушение предписанных образцов имело катастрофические последствия, дало катастрофический рост пошлости (и ее брата — хамства). Иногда эти цифры, если бы удалось их сосчитать, могли бы приблизиться к квадрату скорости развития. Разумеется, это интуитивная оценка.

В разных углах как бы идут одновременно два процесса. В одном углу предательство — смертнейший грех. А в другом человек предал, съел слоеный пирожок и утешился.

В одном углу складывается одиннадцатая заповедь: не предай! А в другом шевелятся разнообразные попытки оправдать Иуду. Тем, что без воли Всевышнего и волос не упадет с головы. Или тем, что Иисус Христос принял на себя все наши грехи. Или еще чем-нибудь.

## *Между пошлостью и хамством*

Я обмолвился, что пошлость — сестра хамства. И сразу вопрос: почему? Потому что происходят они от одних и тех же родителей — от одних и тех же обстоятельств. Начало пошлости и начало хамства — потеря предписанных норм и неумение приобрести новые, внутренние нормы. Пошлость приспособляется к прогрессу, выдает себя за то, чего ей не хватает. Хамство откровенно бунтует. Но генеалогия у них сходная.

Одна из тенденций исторического процесса — движение от племенной и сословной индивидуальности к личности, определяющей себя целиком изнутри, к «сильно развитой личности» (Достоевский). Но личность складывается медленно, а пошлость и хамство — как автомобили с конвейера. Если прогресс идет сравнительно гладко, индивидуальность всего только пошлеет. Если коряво — больше прорывается хамство. Модель нарисована М. Цветаевой в «Крысолове». Господство пошлости — Гаммельн. Хамство обрушивается на переполненные закрома, как нашестные крысы. Пошлость — черта сравнительно благополучной жизни. При неблагоприятии пошлость легко уступает дорогу хамству. Пошлость — вялая форма лихорадки прогресса, хамство — острая (иногда летальная). В некоторых странах гаммельнское и крысиное чередуются, как день и ночь (взрыв Тридцатилетней войны, два века мешанства, взрыв имперского шовинизма, Веймар, Гитлер, ФРГ). Пошлость сравнительно миролюбива и допускает развитие гения (Веймар Гете и Веймар братьев Манн, ФРГ), по мере сил опошляя его. Хамство вырезает Цицерону язык<sup>1</sup>. Но выбор между пошлостью и хамством — ложный выбор. Пошлость не спасает от хамства, так же как хамство не спасает от пошлости. Пошлость — мнимая ста-

<sup>1</sup> Ср. «Бесов» Достоевского.

бильность, хамство — мнимый динамизм (мы к этому обстоятельству еще вернемся).

Пошлость комфортабельнее. Это болезнь, с которой можно ездить на курорты... Так болеют цивилизованные люди. Не то, что дикари, вымирающие целыми деревнями от туберкулеза или сифилиса. И все же болезнь остается болезнью и подтачивает организм. Глядя на корчи России или Китая, Запад видит не только свое прошлое (отсталость, слаборазвитость), но и свою агонию, свое возможное будущее. Видит своих «бесов» как в гипертрофирующем зеркале романа Достоевского. В конечном счете различия между странами условны и недолговечны. Общая катастрофа может все сравнять.

Запад играл первую скрипку в распространении прогресса. Сейчас Восток первенствует в распространении кризиса прогресса. Этот кризис обостряет все болезни западного происхождения и прибавляет к общему чувству бездомности, утраты лица, захлебывания в сверхзвуковых и сверхмыслимых темпах<sup>1</sup> еще одну особенную, незападную болезнь: чувство неловкости в чужом культурном кругу. Отсюда два синдрома (западнический и почвеннический), две болезненные односторонности мысли. И западники, и почвенники говорят о потере лица, и они правы. Но в своих рецептах врачи расходятся. Западники предлагают найти лицо в современном окружении, почвенники — в собственном прошлом. Они оба как-то упускают из виду, что культура живет на перекрестке, в *одновременном* диалоге с прошлым (вертикальная ось) и современным окружением (горизонтальная ось), что и прошлое, и окружающее — не свое, а только могут стать почвой, опорой первого лица, я, совершающего выбор, что потонуть в прошлом — значит потерять себя так же, как уйдя с головой в современность.

При медленном развитии повороты истории ощущают только немногие; они и мучаются, и вырабатывают ответ на вызов; мучается Пьер Безухов, Андрей Болконский, а Ростовы не мучаются. Но при ускоренном развитии нельзя не заметить сдвигов. История входит в частную жизнь и требует от маленьких людей того, что и большим трудно: решить, что здесь, теперь хорошо и что плохо.

<sup>1</sup> «Мы так давно обогнали медлящих проводников в вечность...»

Нельзя освободить слаборазвитую личность. Сколько бы ни выстроить электростанций, заводов, дорог, слаборазвитая личность не выдерживает свободы, отказывается от нее, приносит в дар Великому инквизитору. Легенду о Великом инквизиторе создал не англичанин, не француз и даже не испанец, а русский — Федор Михайлович Достоевский. Он чувствовал вокруг себя ауру незавершенных, шатких, не подготовленных к свободе душ. Отчего они такие, кто их испортил, можно спорить (и даже приписывать все зло жидо-масонам), но факт сам по себе неопровержим. На Западе средний человек покрепче.

Теперь разберем, почему. Напомню еще раз, что развитие цивилизации расшатывает табу, заповеди, предписания. И вот на одном полюсе складывается личность, которая постигла дух заповедей, держит закон в сердце и может найти выношенный в сердце ответ на каждый вызов, а с другой стороны — пошлость и хамство. Происходит что-то вроде преломления луча или (более грубая модель) перегонки нефти. Вверх бензин, вниз мазут. Есть народы, совсем мало преломленные; в них господствует белый свет. Они остаются на периферии истории. В терминах перегонки нефти они еще сырые. Есть народы умеренно преломленные (или перегнанные). Крайности в них не слишком далеко разошлись, остались рациональными (например, типы фанатического аскета и жизнерадостного скептика во Франции), не дошли до бездны иррационального (как самодур и юродивый в России). Такие народы здоровее, жизнеспособнее. Один англичанин — сплин (шутили в 30-е годы), два англичанина — бокс, три англичанина — парламент, много англичан — цивилизация, т. е. один англичанин — не Бог весть что, но много англичан — цивилизация.

А есть народы слишком сильно перегнанные, поражающие то сияющей высотой, то мерзостью. Это мутанты истории, в них возникают новые духовные движения, но плоды движений пожинаяют другие, а сами мутанты теряют равновесие и проваливаются в бездны, которым слишком открыты.

От евреев пришел свет в усредненный Рим, и Рим, подхватив фонарь апостолов, начал новую жизнь, а евреям досталось разрушение храма; Лютер начал реформацию: плоды ее победы пожали англичане, голландцы, скандинавы, немцам — Тридцатилетняя война. Очень может быть, что классическая русская литература пролила новый свет миру;

но жизнь в России от этого не стала лучше. Великие вспышки света, рождаясь в нестабильности, увеличивают эту нестабильность, доводят ее до катастрофы...

Увы, география духовных глубин совпадает с географией мерзости. Где чистая духовность нагорной проповеди, там и грязная суета рынка. Где Иисус, там Иуда. Где Экхарт и Бах, там Гитлер и Гиммлер. Где Мышкин, там Смердяков. Образцовые нации не доходят до такой мерзости, как наци-мутанты. Но без духовных вершин, подымающихся рядом с черными ямами, нельзя было бы построить нашу общую культуру. Время от времени нужен «свет с Востока». Дело «Востока» и (т. е. мутантов) выдвигать духовных гениев, а дело «Запада» (образцовых, уравновешенных наций) что-то из опыта гениев вносить в повседневную жизнь, усреднить, довести до среднего человека и распространить по всему миру как закон.

Мутанты сами по себе никогда не станут вождями человечества. Им не хватает равновесия. Их история — это история смут, 30-летних войн. Не дай Бог втянуть в этот хаос весь мир! Ошибка почвенников не в том, что Россия может рождать свет (может!), а в переоценке русской способности просветить среднего человека и создать светлый порядок. В самой России Мышкины и Безуховы слишком исключительны. Их реже можно встретить, чем Гикквиков в Англии; а Смердяковых — хоть пруд пруди.

Мутантам все время грозит падение, развал, разгул хамства; уравновешенным нациям — банальность, стереотипность. Поэт — не с гаммельнцами и не с крысами. Поэт — с Крысоловом.

Хамство возникает всюду, где норма расшатана и опошлена. Хам, на первый взгляд, древнее пошлости, но, может быть, его только легче разглядеть, а пошлость, пока она не разрослась, незаметна и долгие века могла действовать потихоньку, не обращая на себя внимания.

Хама сразу запомнили и встроили в миф. Пошлость осталась без имени собственного. Мне хочется исправить эту историческую несправедливость. Может быть, у Сима, Хама и Яфета была еще такая незаметная сестра — Пошлость? Может быть, почтительность Сима и Яфета немного опошлялась, и Хам был своего рода сердитым молодым человеком, новым левым, Владимиром Маяковским, восставшим против опошленного старого символизма? Без опошления норм мне

трудно представить себе взрыв хамства. Без опошления Веймарской свободы я не могу себе представить поэта, сочинившего «Дрожат старые кости». У этого несчастного человека быстро наступило разочарование. Хамство не было его родной стихией. Тем более замечательно, что оно захватило его. Или что Блок, который не был хамом, писал (чувствуя диктовку гения, водившего его пером):

Уж я ножичком  
Полосну, полосну...

Без господства безличности, гениально описанной Хайдеггером, я не могу себе представить преклонения Хайдеггера перед Гитлером. Без превращения всех идей и ценностей в заигранные патефонные пластинки не могу себе представить нынешний взрыв террора.

Истина сперва становится банальной, стирается, как монета, долго ходившая по рукам. Еще можно разглядеть, где орел, где решка и чего монета стоит. Стершиеся 2 копейки стоят не меньше, чем новенькие.  $2 \times 2 = 4$  остается истиной. Банальной, потерявшей остроту первого открытия, но истинной. Не прелюбы сотвори остается истиной. Но потерян внутренний смысл: не давай полу власти над умом, минуя сердце. Держи Бога в сердце и сердце в Боге. Держи невесту в сердце, как образ Божий... Осталось предписание, на которое сердце перестало откликаться. Монета стерлась, не видно ни орла, ни решки. Безличность, пошлость. И поэзия восстает против пошлости (ср. «Поэму Горы»).

Ах, Господи, если бы Хам от рождения был черным! Но от рождения он бел, и только постепенно чернеет. Хам — сын беззаботного пьяницы, забывшего, что истины надо рождать заново, не надеяться, что они и без нас пребудут. Без нас, если не перечеканивать монету, все сотрется. Все станет сперва банальным, потом пошлым — и откроется дорога хамству. Одна из самых важных задач воспитания — обновлять заповеди, рождать заново «не убий», «не лжесвидетельствуй», «не предай»...

Пошлость и хамство — цена на взрывное развитие личности. За философию Сократа. За речи Демосфена. Личностью становятся единицы, хамами — десятки, пошляками — сотни. И в конце концов пошляки попадают под власть хамов и создают культ величайших, гениальнейших хамов. В сво-

бодных странах пошляки обожают певцов и кинозвезд. В тоталитарных они обожают своего дуче, вождя, фюрера.

На Западе опошленная добропорядочность еще удерживает взрыв хамства. На Востоке — непобедимый блок пошлости и хамства. А личность — непобедимый блок пошлости и хамства. Личность всюду в обороне — и едва хватает сил сопротивляться. Стоит ли игра свеч? Держать ли нам еще знамя свободной личности или бросить под ноги торжествующим свиньям? Где гарантия, что общая свобода не приведет к новым взрывам низких страстей, что чувство ответственности вдруг вырастет, расширится и все спасет? Что новый шаг вперед ничтожно малой кучки не вызовет новых неожиданных последствий похуже прежних?

Остается одно — верить. И я верю, что сильно развитая личность стоит выше всех издержек, что она сама — смысл и свет. И свет во тьме светит, и тьма не объемлет его.

*Время работы 1981—1982 гг.  
Первая публикация: 1984 г.  
Главы 1-2 заново переделаны,  
в дальнейшем текст почти без  
изменений.*

# ЖАЖДА ДОБРА

## Сотворение мифа

«Величайший русский писатель»... Когда мне было 20 лет, я хотел озаглавить так свою работу о Достоевском. Отсоветовал товарищ; но в тоне написанного (и чудом уцелевшего) превосходная степень — на каждом шагу. Сейчас так пишет о Пушкине Валентин Непомнящий: «величайший русский писатель»... Автору уже не 20 лет. И вдруг — такая молодая, горячая, страстная работа...

«После плоской «метафизической горизонтали» вольтерьянства Кавказ (в два этапа — 1820, 1829) дал ему объем: своей природой, «дикими» нравами, бурлящей жизнью, идущей по иным нормам. Кавказ дал ему вертикаль — главным образом, физическую (особенно в молодости). И он на деле убедился в том, что существует *высота*...»

Такие мысли хочется выписывать. Книга «Поэзия и судьба» (М., 1983)<sup>1</sup> во многом показалась мне лично близкой. Но чем ближе, тем больше хочется спорить, когда что-то царапает. Кажется, что спор не бесплоден, что можно добиться согласия (хотя это, скорее всего, иллюзия. Но она необходима, чтобы заговорить.).

Мне досадно и больно, что человек, живущий внутренними ключами, хватается за внешнее, за чужую руку, за общие места славянофильской доктрины. Не потому, что я западник; я не западник, как и не славянофил. Хотя вместе с западниками тоскую по глотку свободы и вместе со славянофилами готов кричать, что свобода — без чувства духовной иерархии — отравя. Попытка анализировать Пушкина эвклидовским разумом не вызывает у меня даже желания спорить. С В. Непомнящим мне хочется спорить.

С чужими я не спорю. Просто отхожу в сторону. Спорю только с авторами, которые захватывают душу или, по край-

<sup>1</sup> Статья написана сразу же после выхода книги. Но позиции В. Непомнящего остались неизменными. Ср. «Новый мир», 1993, № 4.



ней мере, ум. Но особенность нынешнего спора — то, что на последней духовной глубине я не чувствую решительно никаких расхождений. Мы служим одному Богу — только поразному понимаем Его (либо путь к Нему). Меня тревожит слишком нетерпеливая, слишком горячая жажда добра. Не только в Непомнящем. Но и в нем.

Одно из эссе, вошедших в книгу, — «Народная тропа» — начинается с двух постулатов: «...доподлинно ясно: подобно тому, как, предположим, существует при всех, порой поражающе резких, отклонениях некий несокрушимо общий национальный тип — так равнодействующая различных и подчас противоположных культурных тяготений устремлена к Пушкину. Это можно не видеть простым глазом; но ведь и душу тоже, в отличие от тела, не увидишь» (с. 39).

О первой аксиоме я еще поговорю. У меня есть против нее некоторые возражения. Что касается второй, то я просто не понимаю, зачем она нужна? Т. е. нужна зачем-то в 20 лет, но в 40 уже была мне не нужна. Зачем она Непомнящему?

Движение к Пушкину несомненно есть; это одно из многих нынешних движений к святыням культуры. Но зачем нужно, чтобы именно это движение было самым-самым-самым?

Пусть мне докажут, что оно важнее других (ну, хотя бы потому, что особенно не хватает гармонии, а Пушкин — символ гармонии). Или что к Пушкину идет 10 000 000, к Достоевскому 1 000 000, а к Мандельштаму — 100 000... Какое мне дело до всего этого? Я все равно иду своим путем, потому что другим идти не могу, и обращаюсь к тем, которые иначе тоже не могут. Пусть я останусь один, все равно не отступлюсь от своего:

Я получил блаженное наследство —  
Чужих певцов блуждающие сны...

Или от стихотворения, из которого взял когда-то эпиграф:

Но не отсюда наше семя,  
И потому туман вдали  
Роднее нам, чем род и племя,  
И внятней голосов земли...

Я люблю Достоевского, и лекции Непомнящего слушал с любовью, но мне кажется, что их стремление опереться на несокрушимо общие национальные черты и на равнодействующую, ведущую к Пушкину, возникло не без страха одиночества и не без испуга от того, что иногда называлось «русскою широтой» или «русским размахом». И потому хочется уверить себя и других, что настоящая русскость тихая, кроткая, совестливая, а буйство и мерзость — это какие-то вывихи и наплывы. В таком духе написана была статья Д. С. Лихачева «О русском» («Новый мир», 1980, № 3), на которую В. Непомнящий несколько раз ссылается. Разница только в том, что миф Лихачева основан на древних источниках, т. е. иконе и житии (остальное подбирается приблизительно и не очень убеждает). А икона, со всем ее светом, слишком далека от будней. Чтобы летать вместе с ангелами Феофана Грека и Андрея Рублева, надо иметь крылья. С Пушкиным кажется проще. Можно идти, не мудрствуя лукаво, за Петрушей Гриневым («береги честь смолоду»), за Татьяной («и буду век ему верна»)...

Тут хочется возразить: а за Медным Всадником? За Пугачевым? За Вальсингамом? Это, конечно, поражающе резкие отклонения. Но почему-то именно они захватывают поэта и вызывают из его сердца потрясающие стихи, а Гриневы и Савельичи — только в прозе, да и в прозе не на первом месте (первое — за Пугачевым). Кто царит в пушкинских стихах? Байрон, Наполеон, Петр... В женщине, воспетой Пушкиным, добро и красота сошлись, в герое — нет, не сошлись. Впечатление от пушкинского героя сливается с морем и грозой. Уже здесь начались две бездны, разверзшиеся у Достоевского. Правда, есть Моцарт. И есть рыцарь бедный. Как у Достоевского — князь Мышкин. Но они — как бы с другой планеты, из мира чистой гармонии. За ними так же не просто пойти, как за ангелом с иконы.

«Гений и злодейство — две вещи несовместные», но поэзия выше нравственности или, по крайней мере, совершенно другое дело. Какое дело? Этого Пушкин не рассказывает, а просто взлетает вдруг над всеми противоречиями и в этот миг — пусть только на миг — дает нам пережить реальность вечности, где все временное слито, снято; дает пережить Бога не как заповедь, а как живую светлую бездну. Что из этого следует? Ничего. И все. Все целое, нераздельное и неделимое, живая жизнь, потерянная в нашей рассудочной ци-

визации. Жизнь, без которой заповеди становятся пустыми словами:

Душа моя, Павел,  
Держись этих правил:  
Люби то-то, то-то,  
Не делай того-то.  
Кажись, это ясно.  
Прощай, мой прекрасный.

Как передать живое чувство бездны? Только метафорой, опрокидывающей рассудок. И выходит Гимн чуме или потопление детей (в финале «Крысолова»). Как это понять с чисто нравственной точки зрения? Никак. Поэзия выше нравственности. И жертвоприношение Авраама, или праведник Иов, отданный Сатане, или слова Христа: «Я принес не мир, но меч...» — все это, буквально понятое, безнравственно. Только зачем реализовывать метафоры? «Цель искусства есть идеал, а не нравоучение». Давать уроки — занятие не для поэта и не для Бога. Ответившего Иову всей красотой мира.

Жажда добра заставляет Валентина Непомнящего отбрасывать и силу жизни, хлещущей не по правилам, без правил, заталкивать ее в поражающе резкие отклонения. Так заклинал свои бездны и Достоевский. В предисловии к «Братьям Карамазовым» он уверяет нас, что типичен один Алеша, а остальные почему-то уклонились в сторону. Весь роман — сплошное уклонение в сторону. Типична святость, нетипичны страсти, грех, низость. И даже борьба между небом и адом, расколотость между идеалом Мадонны и идеалом содомским — и это нетипично. Проводить такую точку зрения по романам Достоевского трудно; приходится романы отодвигать в сторону и выдвигать на первое место Дневник писателя, особенно Пушкинскую речь, и, наконец, — самого Пушкина (как он трактуется в Пушкинской речи). С известной точки зрения так и есть: святой — обнаружение истинного народного лица. Грех — отклонение. Но если говорить всерьез, то надо иметь смелость и продолжить: вся история — уклонение в сторону, начиная с Евы, захотевшей яблока с древа познания добра и зла — и потерявшей рай:

Когда б мы досмотрели до конца  
один лишь миг всей пристальностью взгляда,  
то нам другого было бы не надо,  
и свет вовек бы не сходил с лица.

Когда б в какой-то уголок земли  
вгляделись мы до сущности небесной,  
то мертвые сумели бы воскреснуть,  
а мы б совсем не умирать могли.

И дух собраться до конца готов,  
вот-вот...  
сейчас...  
но нам до откровенья  
недостает последнего мгновенья,  
и — громоздится череда веков.

(З. Миркина)

Так и длится история; а как только мы подходим к истории, с «несокрушимо общим национальным типом» не объяснишь ни одного поворота. Ни в истории литературы, ни в политической истории. Только увидев, на каком волоске висит над бездной пушкинская гармония, можно понять Достоевского и Толстого. Только вникнув в антиномии России, в ее про и contra, можно объяснить царствование Ивана IV, Петра I, наконец, революцию. А если несокрушима лихачевская русскость, откуда взялся Ленин? Разве только как нечто, навязанное извне? Но тогда кем же, если все народы по сути своей святы? Или один русский народ свят, а остальные (по крайней мере, западные) осатанели? Но почему бесы, родившиеся на Западе, разгулялись в России, Китае, Камбодже, а на Западе их удалось пока укротить?

Только из «поражающе резких отклонений» Достоевского и Гоголя строятся модели «Духов русской революции» Н. А. Бердяева или моего «Квадриольна», которые кое-что объясняют в недавнем прошлом и в современности. Но что с ними делать моралисту? Не знаю. Разве только указать на путь «нравственного творчества», как говорил Бердяев, развития нравственной личности, способной, не прислушиваясь к массе, самой решать, где сегодняшнее хорошо и се-

годняшнее плохо. А хочется указать на зримый идеал, привлекательный и годный для всех.

И вот из Пушкина выстраивается идеал, создается фигура неслыханного в мировой истории совершенства...

## Кумир

«Дух Пушкина — вовсе не дух эллинской гармонии или ренессансной эстетической гармонии, в которой «естественность» — часто уже не язык, не форма, а сама суть, обожествленное естество. «Естество» Пушкин никогда не обожествлял: в естественных формах он говорил о «сверхестестве», о существе. В его гармонии и объективности нет олимпийской невозмутимости достигнутого, дух Пушкина — это дух антиномичности, когда то, что кажется взаимоисключающим, складывается в одну неразъемлемую рассудком правду: «Унынья моего Ничто не мучит, не тревожит»; «Унылая пора! Очей очарованье!»; «Я вас любил; любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем», — он не хочет ничем печалить и именно этим пронзает.

Это неустойчивое равновесие, в котором каждая чаша весов вечно готова перетянуть, но никогда не перетягивает, — одна из основ его «загадочности», его, по слову Гоголя, неприступности, наконец, его непереводимости...» (с. 56—57).

Здесь собственно о Пушкине все верно и очень хорошо сказано. А все сравнения пристрастны и натянуты. «Естественность» становится обожествленным естеством *часто*, но не на вершинах искусства. Пушкина надо бы сравнивать с вершинами, т. е. с Шекспиром, а не с Клеманом Маро. С усредненным Западом сравнивайте Батюшкова; выйдет опять 1 : 1. И Гете, и Шекспир, и Софокл в естественных формах говорили о существе («Все преходящее только подобие...»). И всякая *великая* гармония есть равновесие антиномий («В твоём ничто я мыслю все найти...»). Олимпийская невозмутимость достигнутого — черта упадка гения, но не в этом его суть и суть гения *любой* культуры. Вообще, *часто* гении не бывают, гений редок, и сравнение гения одной страны с *частым* в другой — недопустимый ход, смешение уровней, невольная подтасовка фактов.

Вернемся, однако, к тому, что у Непомнящего верно сказано, — к внутренней антиномичности пушкинской гармонии: «Это *неустойчивое* равновесие, в котором каждая чаша весов вечно готова перетянуть, но никогда не перетягивает...» (на этот раз выделено мною.— Г. П.). Действительно, неустойчивое и быстро нарушенное развитием русской культуры. Может быть, еще более неустойчивое, чем равновесие духа в иные эпохи, в других странах. Эту мысль мне хочется подхватить и развить, распространить ее на весь жизненный и творческий путь Пушкина и отчасти даже на понимаемые пути России, как она в Пушкине отразилась.

В. Непомнящий пишет (и опять совершенно верно, по-моему, пишет): «Последние годы показывают — а будущее покажет еще яснее, — насколько неверно рассматривать деятельность Пушкина лишь в контексте послепетровской истории, насколько глубоко, прочно (пусть, на поверхностный взгляд, и неявно) связана она с исконным глубоководным течением русского культурного процесса, и как проясняется эта связь, эта «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам», в ходе творческой и духовной эволюции Пушкина» (с. 131—132).

Да, Пушкин соединил петровский, поверхностно и отвлеченно европейский слой культуры с традицией и народностью. Это верно, но верно и то, что совершил он свой духовный подвиг, опираясь на некоторые зигзаги европейского развития, к которому Петр приобщил Россию. Как раз незадолго до Пушкина немецкие романтики открыли ценность средневековой традиции, христианства и фольклора. Пушкин здесь скорее несколько запаздывал (около 1821 года ни один крупный европейский поэт не подражал Вольтеру и Парни). Но раз обратившись к традиции и народности, он нашел традицию решительно не западную и народность, еще не знавшую испытания свободой. Своеобразие Пушкина неотделимо от своеобразия России, от особенностей русского развития. И наоборот: Пушкин впервые дал петербургскому периоду русской истории его лицо, нашел неповторимо русскую форму европейской культуры. Весь XIX век пошел по его стопам.

Тут важны обе стороны дела. В. Непомнящий подчеркивает огромную роль Арины Родионовны, русских песен, русских летописей в становлении Пушкина. Это все верно. Но верно и то, что Пушкин никогда не переставал чувствовать

себя европейцем — и свою музу, Татьяну, европейкой, не уступавшей парижским и лондонским образцам *du somme il faut*. Пушкин никогда не отрекался от Европы, не чернил ее (как это иногда делает В. Непомнящий, проводя прямую линию от рококо к нынешнему обществу масс и минуя гениальные зигзаги). А когда один из современников Пушкина стал чернить Францию, поэт ответил ему («в Современнике», №3): «Можно ли на целый народ изрекать такую анафему? Народ, который произвел Фенелона, Расина, Боссюэта, Паскаля и Монтескье...» Это прямо по адресу будущих славянофилов.

В Пушкине все переплеталось и все уживалось: Арина Родионовна и западное *comme il faut*, классицизм XVIII века и романтизм XIX-го. В. Непомнящий просто отбрасывает взгляд на Пушкина как завершение XVIII века — эта линия ему не нужна. Но ведь факты (даже ненужные) остаются фактами. Пушкин остается *на пороге* романтизма. Он не только сохраняет вкус к рациональной ясности слога, к одическим интонациям (это и у Тютчева было, и у Баратынского). Он прямо провозглашает в программном стихотворении: «Да здравствуют музы! Да здравствует разум!» Какой романтик мог бы это сказать? Пушкинская критика романтизма перекликается с гетевской (есть работы, где это текстуально показано).

Можно найти в пушкинском равновесии на краю бездны аналогию и с Ренессансом, когда религиозный дух средних веков впервые столкнулся с рациональным личностным началом нового времени. В одном стихотворении Пушкин прямо ссылается на Рафаэля («ангел Рафаэля так созерцает божество»). И все его любимые женские образы рафаэлевские: «Чистейшей прелести чистейший образец». Божественное выступает как совершенная женская красота, и красота — как облик божества: «Все в ней гармония, все диво. Все выше мира и страстей: Она покоится стыдливо В красе торжественной своей...» Небесное венчает земное: «И сердце бьется в упоенье, И для него воскресли вновь И божество, и вдохновенье, И жизнь, и слезы, и любовь». И вопреки всей западной и восточной аскезе, бессмертные стихи лепят образ близости мужчины и женщины: «О, как милее ты, смиренница моя!» Образ преображенной, а не отсеченной чувственности.

А великие мужи, воспетые Пушкиным? Не проступают

ли в них, сквозь романтический образ сильной личности, фигуры с плафонов Сикстинской капеллы? Слова Пушкина о Петре (в «Полтаве») звучали как перевод термина «terribilità», созданного восторженными поклонниками Микеланджело; это какое-то единство ужаса, красоты и восторга.

В. Непомнящий цитирует одно из поздних стихотворений Пушкина, проникнутых пуританским духом, и восклицает: «Нет, никак не могу согласиться с идеей о ренессансности Пушкина» (с. 325).

Соглашаться или не соглашаться — дело доброй воли. Достоевский позволял себе иногда не соглашаться и с тем, что  $2 \times 2 = 4$ . «Дважды два пять, — говорит один из его героев, — тоже премиленькая иногда вещичка». Однако в любом случае ссылка на стихотворение 1836 года ничего не доказывает. Никто никогда не утверждал, что *все* стихи Пушкина перекликаются с поэзией Возрождения — или что эта перекличка продолжалась до последнего дня жизни. У позднего Пушкина возникает новая перекличка: с XVII веком.

Речь идет об очень простых вещах. Пушкин (и в Пушкине вся русская культура, хлебнувшая свободы в царствование Александра I) пережил упоение свободой, кризис свободы и поиски духовной иерархии, без которой свобода становится преступным своеволием. В истории Европы это было впервые и с неслыханной прежде силой пережито в XV—XVII вв. Дальнейшие зигзаги так сильно уже не переживались. Поэтому первое русское опьянение свободой, пушкинское опьянение, до некоторой степени аналогично Ренессансу.

Эта аналогия продолжалась в творчестве Лермонтова и Гоголя (современников позднего, «пуританского» Пушкина). Все трое участвуют как бы в двойном ходе времени: общеевропейского времени XIX века и собственно русского, в котором Лермонтов и Гоголь синхронны европейскому XVII. С этой точки зрения становится понятным, почему Просвещение пришло *после* Пушкина и Гоголя (по внутренней логике развития, Просвещение предшествует XIX веку). Я пришел к своей концепции, разбираясь в странностях развития Достоевского, и впоследствии нашел некоторые аналогии в истории культуры вестернизированных стран Азии и Африки. Любой крупный незападный писатель XIX—XX веков живет по двум часам: местным и западным (ставшими мировыми).

Однако Пушкин Непомнящего ни в какой истории не



участвует. Он только раскрывает глубинную суть русского духа, который, в свою очередь, инвариантен и уходит корнями прямо в онтологию (т. е. в Бога). Практически это означает акцент на фольклоре. Все главное в Пушкине, даже интонации в его лирике, выводится из фольклора (ибо фольклор меняется медленно и может рассматриваться как незыблемая субстанция народного духа).

В этом есть своя правда. Фольклорная ниточка вплетается в пушкинскую ковер. Однако вплетается она вместе с другими. И когда находишь новую ниточку, это не значит, что другие (все прочие) теряют значение. Пушкин народный и «онтологический» не перечеркивает Пушкина исторического и европейского. Даже в сказках Пушкина народное — только один из источников вдохновения. А тем более в романе или в трагедии.

Вероятно, без непосредственной, кровной, интимной связи со стихией народного слова и народной совести (через Арину Родионовну) Пушкин остался бы чистым лириком (как Баратынский и Тютчев). Лирик может быть совершенно не народен. Таков, например, Р. М. Рильке, таков же (несмотря на свое славянофильство) Тютчев. Философская лирика его уходит в бездну, где никаких народов не остается, есть только ядро личности и Бог. Другое дело — эпос и трагедия. Без связи с народом, без чувства звена в его истории нельзя было бы написать ни «Бориса Годунова», ни «Капитанской дочки», ни даже «Онегина». Но опять-таки: с одной народностью ни романа (в прозе или в стихах, все равно), ни трагедии написать нельзя было. И роман, и трагедия — органические формы западной культуры, примерно как икона — для византийского православия. Формы европейской литературы живут и дышат под пером Пушкина так же естественно, как византийский канон — под кистью Рублева. Это невозможно без общности духа. А удерживать в единстве европейскую культуру и русскую народность, русскую традицию до Пушкина никто не умел. И с такой неповторимой легкостью! Гений парит поверх противоречий, раздравших время. В какой мере это можно объяснить? Думаю, в очень небольшой. Крылья гения недоступны анализу. Всякие теории заходят здесь в тупик, как Сальери — перед явлением Моцарта. Мы можем вывести Пушкина из истории и из онтологии, из XVIII века и из древности, из западных влияний и песен Арины Родионовны. Но стоит

увлечься любой из этих ниточек — и живой Пушкин исчез.

Достоевский признавал всемирную отзывчивость коренной русской чертой. Это несколько преувеличено. Россия временами круто переходит от периодов отзывчивости к периодам закрытости и опоры на внутренние корни. Сейчас сильнее второе. А Пушкин был и народен, и отзывчив; и трудно сказать, чего в нем было больше. Во всяком случае он был народен без усилий, без почти судорог Достоевского и Толстого. Забота о народности не тяготила его, и после «Годунова» он не написал ни одной трагедии на русские темы. Видимо, западные характеры были ему сподручнее для трагедии, как французский язык — для писем.

После Пушкина народность сразу стала проблемой, общество расколосилось на западников и славянофилов, и все попытки синтеза опять сбивались в западничество или славянофильство. Это относится и к Пушкинской речи Достоевского, и к попытке Непомнящего заново интерпретировать эту речь: «В пушкинской гармонии он (Достоевский.— Г. П.) услышал правду о мире, о том, что мир в замысле своем гармоничен и хорош и все зависит от человека, который должен знать и учитывать, что не вне его правда, не за морями, а в нем самом. Он услышал в пушкинской антиномической гармонии жажду единения — не сплошного слияния, а именно нераздельно-неслиянного, братского единения индивидуального человеческого, национального, вообще раздельного и различного,— в целокупности этого прекрасного мира» (с. 136—137). Да, такая тенденция в русской литературе есть. За что Томас Манн называл ее святой. Но ведь было и другое. Было даже совсем противоположное. И у того же Пушкина — «Клеветникам России»: «Славянские ль ручьи сольются в русском море?» (За счет уничтожения Польши.) И у того же Достоевского, наряду с призывами к братской любви,— шовинизм. И всемирная отзывчивость мыслится иногда как мандат на Третий Рим, на окончательное устройство мира под русской властью.

То, что пишет В. Непомнящий, прекрасно. Но это его собственный идеал. Исторический Пушкин был скорее «певец империи и свободы» (как выразился о нем Г. П. Федотов).

Однако продолжу цитату:

«Эта жажда, породившая, в частности, общинные утопии и соборные идеалы, берет свое начало в том источнике на-

родного сознания, из которого исходили младшие современники Пушкина, ранние славянофилы, разрабатывавшие учение о «ядре» человеческой личности (и соответственно — о самобытности нации, о духе народа) — ядре нерасщепляемом, неуловимом, не поддающемся определению, неповторимо-уникальном, но в то же время своими последними недрами раскрытом ко всеобщему» (с. 137).

Ранние славянофилы заслуживают доброго слова. Ядро личности, раскрытое своими недрами ко всеобщему, непременно надо открыть самому, отвлеченное знание здесь остается на уровне слов. Но образованность заставляет признать, что впервые ядро личности, раскрытое всеобщему, было осознано в Индии (и названо атманом) за несколько веков до Р. Х. (и за тысячи лет до самых ранних славянофилов). А славянофилы следовали не столько «источнику народного сознания» (т. е. Евангелию?), не непосредственно Евангелию, а немецкой романтической философии, повторяя ее ошибку и увлекаясь сравнением народной души с душой или с личностью отдельного человека. Новый Завет этой ошибки не делает. Он утверждает бессмертие личности, а не народа. «Несть во Христе ни эллина, ни иудея». Это решительно противоречит романтической философии, по которой душа народа бытийственно глубже души отдельного человека. Последовательное развитие превосходства народной души ведет к язычеству (и привело, в той же Германии).

Александр Пушкин или Иоганн Вольфганг Гете были личностями в прямом и точном смысле слова. Другое дело — личность Германии или России; это скорее иносказание, метафора, попытка дать образ тому, что прямо никак не опишешь (многое непонятно, а то, что удается понять, плохо укладывается в слове).

## *Несокрушимо общие анекдоты*

Я решительно отказываюсь принять постулат («топодлинно ясно») о «несокрушимо общем национальном типе». Народный характер бесконечно сложен, и наши подходы к нему несовершенны. Один из таких подступов — народный идеал. Характер в нем как-то отразился. Но если идеал и

есть народный характер, то, по-видимому, у всех народов. Тогда, к примеру, истинный немец — Генрих Бёлль, а Генрих Гиммлер — «поражающе резкое отклонение». Истинные евреи — Корчак или Бубер, а известный стукач Эльсберг или Азеф — «поражающие отклонения». С метаисторической точки зрения (как я уже признавал) так оно и есть. И в далеком прошлом (с которого очень многое началось) истинный еврей — Иисус из Назарета, а его гонители «уклонились» (первые христиане так и полагали. Ср. «Послание к Евреям»).

Однако участие немцев или евреев в истории явно не сводится к деятельности праведников и святых. Более того. Люди глубокой и чуткой совести обыкновенно менее активны, чем мерзавцы и нахалы, и при взгляде со стороны — на рынке, в очереди, в исторических катаклизмах — мы сталкиваемся не столько с Алешей, сколько со Смердяковым, не столько с Иисусом, сколько с Иудой и т. п. Поэтому человек не книжный, знающий грузин не по Бараташвили или Табидзе, а по Черемушкинскому рынку, склонен «несокрушимо общий тип» чужака строить по уклонениям; так, как чужаков рисуют Гоголь и Достоевский. Свой же «несокрушимо общий национальный тип» прихватывает все доброе, что повсюду бывает в людях, например: кичливый лях или верный росс? Или особенную привязанность к христианству и т. п.

Достоевский, сильно грешивший такими конструкциями, временами совершенно терял веру в них. В черновиках к «Бесам» он пишет все то, что мог бы написать я: что привязанность России к христианству ничуть не крепче, чем на Западе, и так же будет расшатана просвещением... Словом, «несокрушимо общий национальный тип» сбивается либо в идеал, лежащий в основе целого *культурного круга* (а вовсе не одной нации), либо в перечень самых пошлых, бросающихся в глаза черт (например, кичливость шляхтича). С одной стороны — икона, с другой — анекдот. Так, разумеется, и в жизни. Но в жизни у каждой нации свои иконы и свои анекдоты. А в идеологии иконы наши, анекдоты ваши. И мы, во имя наших икон, вправе топтать вас, анекдотчиков.

В книге В. Непомнящего такой дискриминации нет; не сомневаюсь, что она бы его прямо возмутила; но в жизни всякое бывает (например, в дискуссии «классика и мы»). С портретом Гете ходили на первомайскую демонстрацию (в гитлеровской Германии). Можно пойти и с портретом

Пушкина. И пока это еще не делается, хочется загодя разобрататься в идеологической системе икона—анекдот.

Оговорюсь, что собственно против анекдота у меня никаких возражений нет. Я люблю хорошие анекдоты. Я только против попыток понять жизнь, не подымаясь выше анекдотических замечаний о своих соседях.

Если рассматривать анекдот как индикатор массового сознания, то однозначность анекдотических характеристик — черта скорее грустная, чем смешная. И даже страшная черта. Решительно на том же анекдотическом уровне массы и вожаки масс мыслят всерьез, строя (и подхватывая) мнимонаучные теории и идеологии (поэтому именно идея «несокрушимо общего национального типа» меня тревожит). Я хорошо помню, как «несокрушимо общий национальный тип» немца противопоставлялся «несокрушимо общим национальным типам» низших рас. Например, русских: «белокур, ленив, хитер, любит пить и петь». Это подпись под картинкой в гитлеровском учебнике этнографии. И достаточно близко к тому, что думал сам фюрер. Иначе он не начинал бы войны против России — или, по крайней мере, вел бы ее иначе, попытался бы найти в русском народе своего союзника...

Что здесь фактически ложно, в этой гитлеровской характеристике русского? Как будто ничего. И вместе с тем — все. Потому что русский солдат не только ленив и хитер и любит выпить. Он еще очень мало дорожит своей жизнью, способен к безоглядной удали, к неожиданной расторопности под огнем...

У себя дома немец усерден и аккуратен, русский действует довольно вяло (на это Гитлер и рассчитывал). Но когда под ногами разверзается бездна смерти, солдат меняется; и с каким восторгом артиллеристы били по немецким танкам! Я прошел через всю войну и совершенно убежден, что русский человек больше всего чувствует себя человеком именно у бездны на краю (а не в мирной, добропорядочной обстановке; не в доме, который построил Джек. Об этот эффект бездны Гитлер и расшибся...). А потом герои сплошь и рядом снова становились разгильдяями, пьяницами и ворами.

Жизнь не укладывается в модель несокрушимо общего национального типа. Средний русский человек 1940-го, 1943-го и 1946 года — это разные люди. Это я видел сам и по-

нимаю, что французы в 1788-м и 1793-м, русские в 1913-м, 1918-м и 1923-м — разные люди. Но идея несокрушимо общего типа очень крепка, как предрассудок, как иллюзия. Масса и ее идеологи крепко держатся за свои предрассудки и готовы на величайшие страдания, даже на гибель, лишь бы не расставаться с привычным образом мысли.

### «Несокрушимо общее» в оксюморонах

Если анекдот тяготеет к однозначным определениям, то поэзия — к оксюморонам: «Ты и убогая, ты и обильная...» «Нам внятно все: и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений...» Марина Цветаева, рисуя еврейский характер, выстраивает оксюмороны в ряд, т. е. намечает возможность *системы антиномий*:

... за все гроши  
вы кровью заплатили нам. Герои!  
Предатели! Пророки! Торгаши!

Видимо, совершенно независимо от Цветаевой антиномический подход к тому же характеру разработал Л. Е. Пинский в тридцатые годы, опираясь на Библию. Модель Леонида Ефимовича состояла из трех пар:

Иисус — Иуда,  
Пророк — патриарх,  
Соломон — Самсон.

В характеристике патриарха Пинский исходил из Иакова, отмечая, между прочим, его торгашескую хитрость; это близко к Цветаевой («Пророки! Торгаши!»). Первая цветаевская антиномия с Пинским не совпадает; скорее всего, Марина Ивановна исходила из опыта революции (Гершуни — Азеф), а Леонид Ефимович — из анализа древнего текста. Такие расхождения не опровергают друг друга.

Познакомившись со схемой Пинского, я тут же попытал-

ся приложить ее к Западу и к России. Но Запад я плохо знаю и смог нащупать только немного. Во Франции —

Гамлен — Бротто,

пара, выхваченная Франсом из истории;

Кальвин — Рабле,

Руссо — Вольтер —

повторяющееся из века в век противостояние патетического и чувственно иронического (самому Франсу можно противопоставить Роллана). В Англии (по Диккенсу) — мистер Домби и мистер Пиквик, делец и чудака. Зато в России выстраивались пара за парой:

1. Рогожин и Мышкин (варианты: Иван Васильевич и Федор Иоаннович, Гордей Торцов и Любим Торцов; в общих словах, отвлекаясь от личных особенностей, — самодур и юродивый);

2. Пугачев и Савельич (вариант: Щербатый и Каратаев);

3. Петр и Обломов (со средним термином в Тюлине из рассказа Короленко «Река играет», или в Илье Муромце: до 30 лет сиднем сидел... Непобедимая вялость и всепобеждающий взрыв энергии.)

Тут трудно остановиться. В Достоевском весь национальный характер разложен на антиномии. Но нельзя опираться на одного неповторимого писателя, и даже вся литература одного XIX века здесь не достаточна (Библия собиралась десять веков). Я мысленно учитываю и такую пару, как князь Игорь — Мблodeц (из «Повести о Горе-злосчастии»), и «киевский» и «московский» пласты в целом. Впрочем, ясно определить все пары, встающие в воображении, не берусь. Можно только наметить самое характерное, проходящее через творчество нескольких писателей, лично несхожих (скажем, Достоевский, А. К. Толстой и А. Н. Островский). Видимо, это и есть ведущее в национальном характере.

Впоследствии, познакомившись с этнографией, я сделал еще одно наблюдение: в племенных культурах антиномичность слабо выражена. Ряды антиномий складываются у народов со сложной исторической судьбой, и не у всех в равной степени. Есть народы, тяготеющие к золотой середине (чехи), и народы с резким разбросом между крайностями

(русские). У одних совсем не сохранились архаические пласты, крестьянски-фольклорные, у других какие-то реликты фольклорности сохранились. Но «несокрушимо общий тип» можно найти только у бушменов или у аборигенов Австралии.

Раскалывая племенное единство на множество типов, история делает это с непостижимым искусством, сохраняя некоторое единство, некоторую общую плоскость, на которой располагается ряд антиномий, некоторое направление, в котором ориентирован открытый, развивающийся во времени ряд. Все слова, которые приходят мне в голову, — метафоры, но бросается в глаза, что каждый ряд антиномий антиномичен по-своему. Перекликаются друг с другом типы святости; их антиподы резко различны:

Иисус — Иуда.  
Мышкин — Рогожин.

Русской святости чаще всего противостоит самодур, деспот, а еврейской — предатель. За этим стоит историческая судьба: избыток своей государственной власти и отсутствие собственного государства, способного казнить. Другие пары вообще несопоставимы. И в результате выходят разные системы. Народный характер не сводится к одному типу и вместе с тем он как бы есть лицо сравнительно с другими народами. Примерно так Европа обладает известным единством, если сравнить ее с Китаем или Индией, или с миром ислама; но при взгляде изнутри европейского нет, а есть английское, французское, немецкое и т. д.

В каждом историческом народе развитие подчеркивает *разные* крайности, уравновешивающие друг друга. Одна крайность, возникая, тащит за собой противоположную. Например, в индийской культуре очень форсирована духовность, до мироотрицания. Значит, надо искать форсированную чувственность, и находишь ее (в тантризме). Если в Китае почитание родителей доведено до высшего религиозного долга, то ищи противоположную крайность, и найдешь ее (в будизме чань). Если в русском народе и в литературе бросается в глаза повышенная совесть, то с чем она связана? Видимо, с повышенной способностью к преступлению, с нестойкостью нравственных образцов, с тяготением к безднам, которые тоже можно проследить и в жизни, и в



литературе... Я даже думаю, что совестьливость как-то прямо связана с деловой недобросовестностью. Иногда даже у одного и того же человека.

Помнится, Леонтьев писал, что в России легче встретить святого, чем попросту честного человека. В этой шутке есть доля культурологии. Существует деление на культуры вины и культуры греха, культуры стыда (перед людьми) и культуры совести (перед Богом). Уровень нравственности в культурах стыда может быть довольно высоким. Например, у китайцев. Хотя совесть в китайской культуре не то что отсутствует, но не акцентирована. Фингарет, исследовав наиболее достоверные тексты Конфуция, не нашел ни одного иероглифа, который можно перевести как совесть. Делались попытки признать совестью центральное понятие конфуцианской нравственности — жэнь (буквально: человечность). Но жэнь означает скорее «долг любви», «человеческие отношения между людьми». Когда Конфуция спрашивали, что такое жэнь, он отвечал очень конкретно: столько-то раз в неделю подать родителям теплую воду для умывания и т. п. Этика сливается с этикетом, и решающий стимул — не совесть, а стыд. Когда традиционный китаец «терял лицо», осрамился, он кончал с собой. Замечателен также факт, о котором я прочитал у Пришвина: если китаец сплутовал в игре, то его не бьют, не таскают за вихры, а убивают на месте. Культура стыда обращена не к Богу, который долго терпит, а к людям; и люди беспощадны к нарушителю закона. В итоге — очень высокий уровень честности, в том числе профессиональной, исключительная добросовестность в труде. А святых маловато, и те, кто есть, не конфуцианцы, стоят в стороне от фарватера китайской культуры.

В Индии святых несравненно больше (оттуда и в Китай пришел буддизм), а уровень честности и профессиональной добросовестности ниже. Новое время резко понизило уровень святости в Европе — и повысило уровень честности; на севере, где совершенно прекратилось прославление святых, плодовые деревья растут вдоль дорог — яблок никто не ворует. Леонтьев, человек парадоксального и острого ума, натолкнулся на закон, приложимый не только к России. Но, конечно, и Россия — не исключение. Акцент на совести всюду связан с недостатком стыда, акцент на стыде — с недостатком совести.

Мне скажут: вы противоречите себе! Отрицали общий

национальный тип и сами о нем заговорили... Так я ведь не отрицал, что противоречия национального характера в иных случаях интегрируются. Я только настаиваю, что единство это соткано из противоречий и при ближайшем рассмотрении рассыпается на противоположные характеры. С одной стороны (хоть у Достоевского) — совестливые мошенники, которые каются, а потом снова делают пакости (Лебедев, Келлер), а с другой — нравственные порывы, способные грешника, даже убийцу поднять почти до святости (повороты в душе Раскольникова, Мити Карамазова). И т. д., и т. п.

### *Обыкновенное и необыкновенное*

С этой точки зрения можно подойти и к сравнению Пушкина с поэтами Запада, и прежде всего с олимпийцем Гете, которого В. Непомнящий явно имел в виду. Я думаю, что Пушкин и Гете иногда относятся друг к другу, как обыкновенный русский и обыкновенный немец. Гете никогда не написал бы «Гавриилиады». Его полемика с христианством не имеет характера гениального хулиганства. Она продумана и пристойна. Повздорив за картами, Гете не снимал сапог и не бил партнера подошвой по лицу (с Пушкиным случалось). И добившись близости с женщиной, Гете не писал об этом Шиллеру так, как Пушкин — Вульффу (кстати, и немецкий язык к этому менее располагал; но я ведь именно пишу об обыденно русском и обыденно немецком). Зато Гете не испытывал таких мук совести и не рвался с такой силой к сионским высотам. Гете добропорядочнее. В Пушкиле больше «широты» (как ее понимал Достоевский) и мучительных попыток «сузить» себя (и углубить, причаститься к святости). Пушкин вышел на дуэль как бретер и умирал как христианин. Гете (судя по Фаусту) был уверен, что его без покаяния примут на небеса — за душевное величие и гений. Кажется, за это один из моих друзей, поэт Борис Чичибабин, страстно любящий Пушкина, терпеть не может Гете.

Сходство гения с обыкновенным человеком — одна из любимых тем В. Непомнящего. Мне хочется повернуть ее по-своему. Это такое же сходство, как подобие человека Богу (или народного характера — народному идеалу). Т. е.

метафизически так оно и есть; но практически этого еще никогда не было. Парадокс гения и обыкновенности подобен одному из догматов северного буддизма: «Каждый человек по природе будда; но не каждый это сознает...» Почти никто не сознает. И сознание гения приходит как благодать.

Бросается в глаза, что гений, каким мы его находим в истории, не похож на обыкновенность. Гений — это взлет, крылья, благодать Божья. А обыкновенность? Давайте прежде всего выделим из нее нравственную одаренность. Бывает какое-то поразительное чутье к добру и злу. Нравственные гении — очень скромные, незаметные люди и сами не подозревают о своей необыкновенности. Но это вовсе не средние, не обыкновенные люди. На таких 36 праведниках, по еврейской легенде, мир держится. Великая нравственная харизма — не меньшая редкость, чем великий дар к красоте или истине. А что такое обыкновенность сама по себе? Без нравственных гениев и талантов? Это безблагодатность. Это неумение самим почувствовать, где красота и где безобразия, где истина и где ложь. Это привязанность к стереотипам (в племенных и крестьянских культурах). А без стереотипов — толпа, стадо, которое вчера пасли пастыри, а сегодня пасет мода. Это

...старлица простая,  
Не позабытая с тех пор,  
Что принесла, крестясь и воздыхая,  
Вязанку дров, как лепту, на костер.

Это на сегодняшний день — массовая культура.

В. Непомнящий убежден, что все зло — от «необыкновенных» людей: «Сальери, конечно, человек «необыкновенный»; и, если бы Моцарт был хоть немного таким же, все было бы в порядке, Сальери пошел бы «бодро вслед за ним». Но гений мешают ему жить тем, что он обыкновенен. И как у обыкновенного человека, у Моцарта есть простой и твердый нравственный ориентир...» (С. 108.)

Однако разве Гайдн, за которым Сальери бодро шел вслед, не имел твердых нравственных ориентиров? Моцарт возмущает Сальери совсем другим: его, гуляку праздного, какая-то высшая сила вдруг переносит через пропасти, непреодолимые для посредственности. Это несправедливо. Это возмущает. Замысел убить Моцарта возник у Сальери до

фразы о гении и злодействе. В завязке пьесы именно Сальери полон нравственного негодования («...нет правды на земле»). Он возмущен Божьим даром бездельнику — даром, опрокидывающим профессиональную этику и, в известной мере, всякую этику (гений может быть дан грешнику, блудному сыну, в обход сыновей почтительных и трудолюбивых). Непосредственное присутствие Бога опрокидывает ориентиры справедливости, расшатывает нравственный порядок, установленный Им самим. Гения надо убить, как Авеля, за то, что Бог принял его жертву. Гений недопустим, как Христос в царстве Великого инквизитора.

Моцарт, в каком-то смысле, вполне бог («Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь; Я знаю, я»). Но одновременно он вполне обыкновенный человек (божество которого проголодалось). Гений уверен в своих крыльях и не хлопает ими поминутно, как петух. Пушкин отмечает и это; но он не доказывает, что обыкновенный человек — антоним романтического аморалиста и, следовательно, хороший человек. Бывает и так, бывает и не так. Порок не менее обыкновенен, чем добродетель. У посредственности нет искушения Люцифера: через меня прошла молния! я не подсуден мелочному человеческому суду! Зато есть другие искушения, целая куча искушений и грехов. Мицкевич и Аксаков содрогались от того, как Пушкин говорил о знакомых дамах. Что в этой похабщине необыкновенного? Самая обыкновенная грязь. Но именно в обыкновенной своей ипостаси гений может быть и очень грешен («Быть может, всех ничтожней он.»). А в необыкновенной — его тянет к высотам, к «вертикали» («Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется...»). Пушкин в своей необыкновенности, гениальности, Пушкин-поэт гораздо выше «Пушкина в жизни». И не только Пушкин.

И Гете, и Пушкин высоко взлетают над уровнем обыкновенности. Но спускаясь на него, один бывал филистером, а другой в юности доходил до разнузданности, да и в зрелые годы часто срывался. Это потом повторялось и в Толстом, и в Достоевском. Вообще европейской выдержанности, европейской зрелой формы русскому человеку (и обыкновенному, и необыкновенному) очень не хватает (любимый герой Достоевского — угловатый подросток). Эта незавершенность, неотделимая от величия русской культуры, в конце петербургского периода, в эпоху его разложения, обернулась

пародией в проповеди Гришки Распутина: не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься!

Пушкин больше всех русских гениев достигал европейской завершенности в слове, но гармония его действительно тревожна, неустойчива, все время балансирует на грани дисгармонии. И можно сказать, вместе с Даниилом Андреевым, что личность Пушкина только кажется нам гармонической — на фоне культуры, которой гармония очень редко дается:

«Многими исследователями отмечалось уже и раньше, — пишет Д. Андреев, — что гармоничность Пушкина — явление иллюзорное, что в действительности он представлял собою личность, исполненную противоречий и совершавшую сложный и излучистый путь развития, хотя направление этого пути, несомненно, лежало ко все большей гармонизации. Это, конечно, так. Но не менее важно то обстоятельство, что, несмотря на эту противоречивость, вопреки, так сказать, фактам, Пушкин был и остается в представлении миллионов людей носителем именно гармонического слияния поэзии и жизни. И эта иллюзия тоже имеет свой положительный смысл (как и тысячи других иллюзий в истории культуры): этот солнечный бог нашего Парнаса, проходящий, то смеясь, то созерцая, то играя, то скорбя, то молясь, у самых истоков русской поэзии, этим самым сближает, в сознании множества, стихии поэзии и жизни, разрушает преграду, отделявшую человеческие будни, жизнь обыкновенных людей от сферы поэтических звучаний, торжественных, заоблачных и бесплотных»<sup>1</sup>.

Таков пушкинский миф русской культуры. А рядом с мифом — Пушкин, раздираемый на части страстями и мучительно недовольный собой.

К счастью, святое вдохновение вовсе не нуждается в том, чтобы мы были безгрешны; достаточно, чтобы грехи наши не были беспросветны, чтобы оставались щели, в которые Дух Божий может войти. Эта открытость Духу в Пушкине была. И если бы суждена ему была долгая жизнь, он, наверное, достиг бы большей нравственной цельности. Но судьба решила иначе. Готового нравственного образца нам Пушкин не дает. Только внезапный взгляд в духовное небо: «Гений и злодейство — две вещи несовместные». И В. Непомня-

<sup>1</sup> «Роза Мира», кн. 10. «К метаистории русской культуры», гл. 2 («Миссии и судьбы»).

щий, из собственной потребности в идеале, достраивает Пушкина нравственно — примерно как многие пытались дописать неоконченные пушкинские стихотворения. Читаешь и чувствуешь: нет, это не Пушкин! Это — Ходасевич! Нет, это не Пушкин — это Непомнящий!

## *Этически чистый напиток*

В идеализации прошлого (пушкинского, древнерусского и проч.) смешиваются два обмана: один — возвышенный, другой — не очень. Первый обман (или самообман) — от потребности за что-то ухватиться (хоть за соломинку) — в том омуте, в котором мы ежедневно плещемся. Думаю, что именно это увлекает В. Непомнящего. Его лекции — прежде всего страстное желание выплыть, вырваться из клоаки. Но кругом кипят другие страсти, потемнее. С конца 60-х годов, когда стало ясно, что делать нечего, выплыл бесплодный склочный вопрос: кто виноват. Захотелось доказать свое национальное алиби, свалить все зло на индурцев (как это назвал Фазиль Искандер) и со спокойной совестью опускаться дальше. В. Непомнящий не чувствует здесь опасности и не видит необходимости подчеркивать в прошлом России ее нерешенные задачи, а не условные, мгновенные, хрупкие решения, — чувствовать традицию, как наследие нерешенных задач, призыв к нашему собственному уму, к нашей собственной воле — найти решение. Конечно, опираясь на прежние попытки, но не выдавая порывов и начатков за окончанный труд. Видимо, некоторые ошибки здесь неизбежны, и в сторону идеализации, и в противоположную сторону (у меня — в первых частях «Снов земли»).

Исторической оскомине нужен этически чистый напиток. Это, наверное, массовая потребность, и дай Бог, чтобы современные юноши, думая, с кого делать жизнь, делали бы ее с Пушкина — так, как его описал Непомнящий. Но временами идеальный образ выходит каким-то уже слишком идеальным:

«В замечательной статье «Судьба Пушкина» (1897), — пишет В. Непомнящий, — Владимир Соловьев осуждает его за гнев, за поединок, за выстрел в Дантеса: все это, гово-

рит он, было недостойно человека, который написал «Пророка».

Он не учитывает не только ряда причин, житейских и социальных, по которым иное поведение было для Пушкина совершенно невозможно; не учитывает он также, что в той ситуации, которая сложилась, иное поведение было бы актом не величия, а гордыни; он не учитывает, что смирение тут было бы ложным, надмирное поведение — недопустимым: ведь все же не личное тут было столкновение и не личная месть — это было сражение, битва, это была война за отечество. Пинежане почувствовали это: в их сказе народный гений ведет себя как народный герой» (с. 125).

Я понимаю Владимира Соловьева и понимаю Ю. М. Лотмана, для которого духовных проблем, волновавших Соловьева, вообще нет, а есть только социальный слой жизни, и в этом слое Пушкин вел бой за утверждение независимости поэта от власти и своей смертью бой выиграл — поставил поэта выше Александрийского столпа. Я понимаю, наконец, М. О. Гершензона: «...Душа Пушкина под конец была насыщена и готова для драмы, так что пошлейшей интриги оказалось довольно, чтобы взорвать его и испепелить»; «Его кровавый закат был прекрасен. В последний час его врожденная страстность вспыхнула великолепным бешенством, которое еще теперь потрясает нас в истории его дуэли»<sup>1</sup>.

Но В. Непомнящего я не понимаю. Каким образом можно идти к христианскому идеалу нравственности через смертный грех? Разве только через сознание греха и покаяние? На смертном своем одре Пушкин это понял. Зачем же двигаться назад и оправдывать порыв гнева, в котором умирающий христианин раскаивался? То, что сказительница с Пинеги смешивает воспитанника Царкосельского лицея со сказочным богатырем и христианство с язычеством, совершенно естественно для нее, но ничего не доказывает (кроме того, что истинное и народное не всегда совпадают).

Не убеждает меня В. Непомнящий и в истории женитьбы Пушкина. «Женщин он знал как никто и выбор сделал безошибочно. Увлечения его были многочисленны. Но для него, больше всего любившего свою несравненную Музу, та или иная земная женщина оказывалась слишком ярко ограничена своею земной определенностью. Его пленяла сама

<sup>1</sup> Гершензон М. О. Мудрость Пушкина. М., 1919, с. 100, 45.

стихия женственности — безбурная, мирно объемлющая и приемлющая, — «гений чистой красоты», чистейший прелести, чистейшей до безличности и бесконечности, как снежно-белый лист бумаги под его пером» (с. 126). На самом деле Пушкин посватался к Олениной, получил отказ, посватался к Наталье Николаевне, получил неопределенный ответ. Пока суд да дело, влюбился в Екатерину Ушакову и посватался к ней. Она любила Пушкина и соглашалась выйти замуж, но потом (когда Пушкин нарушил ее запрет и пошел к гадалке) взяла свое слово обратно. После отказа Ушаковой Пушкин опять посватался к Гончаровой и женился. Личного выбора здесь не многим больше, чем в истории Эдипа. Выбирала судьба, которая вела Пушкина на Черную речку.

Но последуем дальше: «Он верил... что это трогательное и чистое существо привяжется к нему: ведь его любили многие.

Но, говорят, она была глуховата к его поэзии.

Это не странно, и это не по глупости или темноте. Не по глухоте, к примеру, у него самого был посредственный музыкальный слух, а у апостола музыки Блока и того хуже. Так часто бывает с поэтами: в них достаточно своей музыки, на другую их уже не хватает. А ее не хватало на поэзию» (с. 126—127).

Здесь хочется перейти на стихи:

Быть женщиной — великий шаг,  
Сводить с ума — геройство.

Как только мы возвращаемся к прозе, напрашиваются возражения. Во-первых, можно ли путать музыкальный слух с любовью к музыке? Слух у меня посредственный и улавливает только простые песенки. А люблю я Баха и Моцарта (которых запоминать не умею). Во-вторых, что означают слова «субстанция женственности» (с. 126)? Какое-то особое личное обаяние? Но источники об этом ничего не говорят. Не то же ли это самое обаяние, которое привело Додона к шемаханской царице? Как можно связать то, что В. Непомнящий пишет в «Народной тропе», с тем, что тот же В. Непомнящий в той же книге пишет, анализируя «Сказку о Золотом Петушке» и раскрывая в ней иронию Пушкина над собственной женитьбой?



«Только привычка и продолжительная близость могут доставить мне привязанность Вашей дочери,— писал Пушкин своей будущей теще,— я могу надеяться со временем привязать ее к себе, но во мне нет ничего, что могло бы ей нравиться; если она согласится отдать мне свою руку, то я буду видеть в этом только свидетельство спокойного равнодушия ее сердца. Но сохранит ли она это спокойствие среди окружающего ее удивления, поклонения, искушений? Ей станут говорить, что только несчастная случайность помешала ей вступить в другой союз, более равный, более блестящий, более достойный ее,— может быть, эти речи будут искренни, и, во всяком случае, она сочтет их такими. Не явится ли у нее сожаление? Не будет ли она смотреть на меня, как на препятствие, как на человека, обманом ее захватившего? Не почувствует ли она отвращения ко мне? Бог свидетель,— я готов умереть ради нее, но умереть для того, чтобы оставить ее блестящей вдовой, свободной хоть завтра же выбрать себе нового мужа,— эта мысль — адское мучение!» (апрель 1830). Насколько это проще и вернее, чем риторика «Народной тропы»:

«Во встрече его гения с ее красотой была заложена жизненная катастрофа — потому что их союз заключал в себе нечто абсолютное. В области идеала они абсолютно дополняли друг друга: она стала для него зеркалом красоты его гения. Посягнуть на ее честь значило, в его глазах, посягнуть и на честь его Музы» (с. 127). И т. д. и т. п.

Ничего, кроме иронии, это во мне не вызывает. Ни капли того чувства, с которым сердце откликается на четыре слова, с которыми Дельвиг начал одно из писем: «Великий Пушкин, малое дитя!» Или на рассказ о том, как поэт играл с Павликом Вяземским в дураки — визитными карточками. Достоинство фамилий (кто шестерка, кто десятка) было не ясно, друзья ссорились, и однажды их застали за детским занятием: Павлик плевал в Пушкина, а Пушкин — в Павлика.

Как уст румяных без улыбки,  
Без грамматической ошибки  
Я русской речи не люблю.

Пушкин без ошибок и срывов, Пушкин абсолютно серьезный, правильный, образцовый — перестает быть Пушкиным.

## На плахе справедливости

В «Народной тропе» действительность выгнута в сторону, прямо противоположную «Прогулкам» Синявского-Терца. Синявский совершенно разрывает человека и поэта, и поэт (Медный Всадник) растаптывает человека (Евгения). Непомнящий (по крайней мере, в «Народной тропе» — в других статьях такого перегиба нет) полностью втискивает поэта в человека и человека — в нравственный идеал. Каждый поступок приобретает высший смысл, каждое сочинение — четкую мораль: «Свобода, которую предоставляет Пушкин, распространяется лишь на сферу интеллектуальную и эстетическую; сами же эти сферы находятся в виду нравственных ориентиров, которые у Пушкина чрезвычайно определены и тверды» (с. 106).

Но какая же может быть свобода эстетической или интеллектуальной интерпретации, если нравственный смысл строго задан? Это сразу низводит нас на уровень «идейного смысла». Суть ведь не в том, кем задан, а что задан, что жестко фиксирован. И если фиксировано одно, то фиксировано все. Истина, добро и красота не могут быть совершенно отделены друг от друга. Окончив, сделав твердой одну из трех великих ценностей, мы непременно вносим жесткость в другие. Выходит какой-то затянутый в латы, жесткий, несвободный Пушкин:

«Конечно, в гимне Председателя не все просто; конечно, слова об «упоении в бою», о «залоге» бессмертия, таящемся в мужественном противостоянии человека смерти, заключают в себе великую правду, но...

«Я был во время жесточайшей холеры 1849 в Париже.— пишет Герцен (далее подробно описывается, как нехорошо было в Париже.— Г. П.) — ...В Москве было не так». И дальше Герцен с восхищением и гордостью рассказывает о самоотверженности и энтузиазме населения Москвы в борьбе с эпидемией (опять сокращаю десяток строк, решительно не относящихся к делу.— Г. П.).

Теперь мне хочется спросить у тех, кто восторгается поведением Вальсингама, пугает *философскую констатацию* — пусть глубокую и пронзительную — с *нравственной высотой*: хотели бы они, чтоб грянула чума? И если бы это произошло — стремились бы они по мере сил помочь близким и

дальним или проводили бы время как Вальсингам, подводя под это глубокие философские основания и воспевая смерть, поскольку соседство с нею таит в себе залог бессмертия? И не было ли бы первое — силой духа, а второе — стыдно?

Зачем же лгать самим себе и делать вид, что в искусстве — иная нравственность, чем в обыкновенной жизни? Ни искусство вообще, ни Пушкин в частности оснований для этого не дают. В противном случае ничего «прекрасного» в искусстве не было бы; оно было бы несовершенным, неправильным, лживым, кривым зеркалом жизни и человеческой души. Если бы Вальсингам в финале трагедии не задумался глубоко над собою, он был бы холодным чудовищем, клеветой на человека» (с. 105—106).

Это — из разбора телевизионной постановки «Маленьких трагедий». В. Непомнящего возмутило то, что Гимн чуме был переставлен из середины в финал. Возможно, при этом получился сдвиг от Пушкина к Цветаевой. Но с Цветаевой Непомнящий не спорит — признает, что она имела право на «своего Пушкина». Почему же за цветаевского Вальсингама сечь режиссера?

Увлечшись полемикой, Непомнящий не замечает, что его розги оказались слишком длинными. Примерно так Рылеев спрашивал самого автора «Цыган», почему Алеко водит медведя? Зачем он не стал, по крайней мере, кузнецом?

Как это далеко от духа Пушкина — и как опасно близко к позднему Толстому! И пушкинский, и цветаевский Вальсингам внутри поэзии. Поэтична и постановка «Пира» (я сам, к сожалению, не видел ее, но смотрели несколько моих друзей, их приговор единодушен). Обрушиваясь на постановку, Непомнящий теряет интонацию Пушкина («хвалу и клевету приемли равнодушно»), теряет интонацию Моцарта (признававшего свободу интерпретации за слепым скрипачом) и повторяет Сальери:

Мне не смешно, когда фигляр презренный  
Пародией бесчестит Алигьери.

Лучше бы оставить эти повторы Кожинову и Палиевскому...

Нет в искусстве «иной нравственности», но есть взлет над уровнем всякой нравственности. Есть истина, которую можно выразить только метафорой, и недопустимо реализовывать метафору и рассуждать, что следует делать во время эпидемии — ухаживать за больными или песни

петь? Это оскорбление поэзии — и оскорбление Пушкина. Кстати, Священник вовсе не зовет к организации санитарной службы. Он проповедует покаяние; что, с точки зрения здравого смысла, отразится на эпидемии чумы не больше, чем пение песен.

Если бы Пушкин хотел прямого нравоучения, он, наверное, усилил бы реплики Священника, дал ему текст, мощный, как призыв шестикрылого серафима. Но почему-то Священник оставляется примерно таким, каким его создал Вильсон, и совершенно заново написан Гимн чуме. Иначе говоря, в трагедии Пушкина, сравнительно с трагедией Вильсона, усилен не прямой нравственный пафос, а вызов бездне. Видимо, Пушкин считал, что проповедовать, в ответ на чуму, бесполезно (как бесполезны проповеди друзей Иова перед лицом проказы). Он отвечает песней. И это не против Бога (хотя, может быть, против священника и церкви).

Ну, отбросим чуму, заменим ее другой опасностью — не все ли равно?

Есть упоение в бою,  
И бездны мрачной на краю...

.....  
Все, все, что гибелью грозит,  
Для сердца смертного таит  
Неизъяснимы наслажденья —  
Бессмертья, может быть, залог!

Это я пережил, читая эти пушкинские строчки. Они шли со мною всю жизнь — не только на войне. Здесь есть призыв к духовному дерзанию. Но, между прочим, — и на войне.

Умом можно вывести что угодно, но на войне ратный труд непременно *вместе* с упоением, а не *вместо*. Это опыт — поверьте мне на слово. Нет выбора: или песни петь, или стрелять. Попробуйте поднимитесь в атаку без упоения в бою, без какого-то чувства полета над страхом... Ничего не выйдет. Или страх (от которого дрожат руки, немеют ноги и тело не в силах оторваться от земли), или упоение свободы. Так что, по крайней мере, одно дело без упоения не сделаешь... Да и всякое рискованное новое дело.

Как вы думаете, чего ради Ермак забрался в Сибирь, терские казаки на Терек — неужто из чувства долга? А не из упоения волей? Не из смутного зова — навстречу опасности, навстречу грозящей смерти? А знаете, какую песню мы

чаще всего пели, когда я служил в стрелковом батальоне? Про Ермака. И с особенным чувством

Беспечно спали средь дубравы...

Воевали мы ужасно беспечно. Ни пароля, ни отзыва никогда не знали. Касок не носили. Но во всем этом был какой-то стиль. Стиль бесшабашной игры со смертью. Придавленный военной формой, дисциплиной — но прорывавшийся то здесь, то там. Я его чувствовал и любил.

В нравственный пафос В. Непомнящего вплетается, может быть, здоровое стремление обойтись без очередной чумы, очередной катастрофы, одними усилиями людей доброй воли. И он созывает их под знамя Пушкина... Но пока что решающие повороты совершались в России иначе — начиная с хаоса, с водопада событий, когда Тюлин, поплыв в быстрину, вдруг просыпается, начинает энергично грести — и по крайней мере некоторые Тюлины выгребают. Гимн чуме — это любовь к русской исторической судьбе, к «ветру остуженных плоскогорий, ветру тундр, полесий и поморий...». Любовь, откликавшаяся в «Двенадцати», «Скифах», «Северовостоке», в «Крысолове» Цветаевой, в «Размахе» Д. Андреева. Все эти стихи вышли из Гимна чуме, как реализм из «Шинели». А прямой смысл... Неужели вы, читатель, хотите, чтобы вам рассекли грудь, вынули сердце и вложили кусок угля из котельной? Отчего же вы любите «Пророка»?

Любопытно, что вольное обращение с текстом В. Непомнящий в принципе допускает. Он пишет: «Никита Михалков вольно обошелся с «Обломовым» — но он *стремился* к «Обломову», и роман пошел ему навстречу: получилось произведение, в котором передан «идеальный сюжет» романа, его высокий дух» (с. 92). Т. е. роман либерального западника Гончарова переосмыслен в славянофильском духе, и это хорошо. А если произошел сдвиг от XIX века к XX, то это плохо. Тогда всякое отступление от буквальной верности тексту — надругательство над классиком.

Я с грустью перечитывал страницы, посвященные телевизионной постановке. Начинаются они прекрасно, с глубокой, умной и верной критики массовой культуры. Так хорошо, что хоть вслух читай. Или (если бы было у меня такое право) рекомендую как пособие во все школьные библиотеки. Временами вспоминается критика повседневности в «Бытии и времена» М. Хейдеггера, только у Непомнящего проще и понятнее... И вдруг тонкий, умный автор становится раздра-

жительным и брюзгливым. Ну что худого в попытке создать композиционное целое, используя «Египетские ночи» как обрамляющую новеллу? Прием классический, старинный, отменно часто использованный во всех литературах. И сравнительно недавно — в монтаже из булгаковского «Мольера» и мольеровского «Дон-Жуана». По-моему, с успехом.

Монтаж маленьких трагедий нельзя считать безусловной удачей (там были свои промахи; не удался, в частности, Моцарт). Но равнодушия к Пушкину, готовности кромсать текст, как придется, не было. Я не вижу кощунства в том, что народ, в массовых сценах, несколько напоминает современных алкашей. В течение многих веков Христа изображали в современной обстановке, сталкивали его не с палестинскими менялами и римскими судьями, а с такими судьями и палачами, которых средневековый художник непосредственно знал и видел. И это было лучше, живее академических полотен XVII века.

Непомнящему, видимо, не один раз возражали: «Конечно, с мастером можно спорить, но, во всяком случае, это интересно» (с. 98). В ответ следует филиппика: «Это интересно... Интересно: помнит ли кто-нибудь, читал ли когда-нибудь, доходили ли до кого-нибудь слухи о том, что Пушкин Вяземскому, или Белинский Боткину, или Толстой Страхову, или Блок Белому и т. д., делясь впечатлениями о том или ином произведении, говорил, писал, сообщал, утверждал, что оно не плохо, хорошо, посредственно, гениально, бездарно, правдиво, лживо и т. д.— а что оно интересно?» (с. 98).

Вспышку Непомнящего можно понять. В наши дни слово «интересно» как-то расползлось. Даже духи на спиритическом сеансе сказали одной даме: «Живите интересно» (ей это очень понравилось). Интересное опасно близко к похоти любопытства (вдохновившей исследователей термоядерных реакций) и ко всем другим похотям. Но, с другой стороны, без опасного интереса к огню мы до сих пор не перешли бы от сырого к вареному. И вся наша научная цивилизация основана на интересном. Отказаться от поворота к интересному совершенно — значит остановить все наши заводы, поезда, проигрыватели, магнитофоны (без научного интереса к физическим и другим процессам они невозможны). Признаюсь, я лично в первые дни испытывал бы блаженство: какая тишина! Но что бы мы все делали через неделю?

Анафема интересному — романтическая нелепость. Верно, что интересное не может быть высшей ценностью, что оно бессодержательно духовно и морально. Но у этого слова есть смысл: и в своей сфере (интеллектуальной сфере) оно необходимо. О книге, о статье можно сказать: интересная книга, интересная статья. Будит мысль...

Наша цивилизация перегнута в сторону интеллекта, интеллектуальные оценки господствуют над моральными и эстетическими. В том числе и в искусстве. Оно захвачено духом эксперимента, поисками новых поворотов... Что тут можно поделать? Переехать из века науки назад? Так машина времени еще не построена. Остается искать цельности духа, в котором интеллект займет свое место, *рядом* с нравственным и эстетическим чувством, а не на голове у них. Место служебное по отношению к высшему духу; но само по себе достойное! Иначе говоря, выход я вижу впереди, приняв современность как исходное положение и не возвращаясь назад, к достоинствам интеллектуальной слаборазвитости... Между тем, В. Непомнящий противопоставляет интеллектуальному засилью моральное. Боюсь, как бы не было хуже. Боюсь жажды добра.

Почему, спросит читатель. Почему я спорю с людьми, жаждущими правды, а не с мерзавцами? Да потому, что всякое зло начинается с небольшого уклонения в добре. С маленького, незаметного уклонения. А когда оно станет очевидным, тогда почва для философского спора уже исчезла и начинается другой спор: между прокурором и адвокатом. Мне кажется, что открытый и достойный философский спор — одно из средств против перерождения идеи в злокачественную ткань. Пока идея еще не съела своих адептов живьем, и идейные люди остаются хорошими людьми.

«Иной читатель, из самых обыкновенных,— пишет В. Непомнящий,— тех, что «любят читать», может порой ошеломить нас категоричным «чепуха!» по поводу крупного автора или талантливой книги; его конкретные оценки могут быть как угодно странны для нас, и неверны, и ограниченны, но одно, как правило, остается для критики неуязвимым: сам ценностный критерий. Суть его — в часто встречающейся оценке: «справедливая книга» или «несправедливая книга»; иногда с говорящим можно, повторяю, спорить, но сам принцип непререкаем. В косвенной связи с этим чтение разделяется на забаву для досуга и на то, что нужно и важно для

сердца, для жизни, для совести. Критерия «интересного» для такого читателя, в сущности, нет — нет, в общем, так же, как для Белинского, Достоевского или Толстого; гений ближе всего к «обыкновенному» человеку» (с. 107).

Мне кажется, на Достоевского здесь не стоило ссылаться. Вот на Толстого — это в точку. С людьми, оценивающими книги как справедливые и несправедливые, *всегда* надо спорить. Очень уж резок этот критерий. Книгу неинтересную можно поставить во второй ряд, а несправедливую остается только сжечь. Обыкновенный человек — не такой ангел, каким его представляет В. Непомнящий. В обыкновенном человеке дремлет иконоборец, левеллер, Шигалев, уничтожающий то, чего он не понимает. Обыкновенным людям очень нравилось, как Толстой срывает все и всяческие маски. И от похода Льва Николаевича против Шекспира, оперы, литургии и медицины не так уж далеко до пролетарской культурной революции. Справедливость — принцип разрушительный. Во имя справедливости Шейлок вправе вырезать у Антонио фунт мяса. «Нет идеи более кровавой, чем идея справедливости», — писал М. Волошин. Чрезмерный акцент на справедливость — болезнь русской культуры, выгиб, уравнивающий другой выгиб — в сторону нравственной беспорядочности. Достоевский грешил многими грехами, но он никогда не пытался подойти к Шекспиру или к Расину с точки зрения незыблемого критерия обыкновенного человека. Начиная с юности, когда писал письмо брату Михаилу, восхищаясь «Федрой» и «Андромахой», — до статьи «Г-н — бов и вопрос об искусстве». В самом деле, справедлива ли «Федра»? Справедлива ли «Наука логики»? «Поэма воздуха»? «Лебединое озеро»? «Чайки над Темзой»? Справедлива «Крейцера соната» Льва Толстого, и из нее совершенно ясно, что «Крейцеру сонату» Бетховена необходимо запретить.

Если нельзя сводить все оценки к интересному — неинтересному, то почему можно к справедливому — несправедливому? Не то же ли убожество? Как быть с детьми, которые простодушно спрашивают: дай мне что-нибудь интересное почитать? Какой ребенок, в какую бы то ни было эпоху, спрашивал *справедливую* книгу? Только взрослый, ушибленный своей идеей, съеденный справедливостью. Можно ли считать детей, захваченных своей детской любознательностью, нравственными уродами? Не говорит ли нынешний всеобщий поворот к интересному, помимо всего прочего, о духовном воз-



расте человечества, о несовершеннолетии полуобразованной массы? И как помочь массовому человеку вырасти — созреть — и уже не интересного искать, а глубокого? Этой задачи раньше не было, потому что научной цивилизации не было, и полуобразованной массы не было, и многого другого не было. Как будущее справится с ней, я не знаю. Но думаю, что мечом справедливости оно не будет действовать.

## *Не печалься, не сердись*

Гений и злодейство — две вещи несовместные. Но поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совершенно другое дело. Как это понять — не зачеркивая одного ради другого?

Гений и злодейство несовместны. Гений уходит своими корнями в глубину, где истина, добро и красота нераздельны. Обручившись со злодейством, гений заграждает себе самому путь в эту глубину. Иссякает, вырождается. Но поэзия выше нравственности. Нравственность только охраняет душу — она не творит ее. Береги честь смолоду, я буду век ему верна, не пожелай жены ближнего, не укради, не убий — все это плотины, спасающие от стихийных бедствий. Но не живая вода. Творит душу поэзия — в самом широком смысле слова. Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия. Поэзия, музыка, Пушкин, Моцарт — это все одно. И этот творящий поток может не укладываться в сложившиеся формы нравственного, может иногда опрокидывать плотины. Все равно вода — источник жизни для злаков и поэзия — источник жизни для сердца. Плотины необходимы, их приходится подновлять, и поздний Пушкин не отказывается от этой работы, подновляет добрые старые правила, но если резко поставить вопрос: что важнее, плотина или вода? То, конечно, вода.

Когда гений увлекал Пушкина за пределы прямой нравственной заповеди, — он шел за своим гением, оставляя нам нерешенный вопрос и веру, что задача имеет ответ. Эта вера — не решение. Но мы заражаемся от светлого гения (от Пушкина, от Моцарта) его убежденностью, что ответ есть, его доверием к жизни. С этим доверием легче жить, легче идти дальше — туда, куда Пушкин не заходил (а только *заглядывал* на крыльях гения). Готового ответа нет. Разве Гринев — ответ на «Пугачева»? Или Евгений — на «Медного

Всадника»? Пушкин вечно открыт новым и новым толкованиям. Эту открытость никак нельзя закрыть, заменить полной нравственной ясностью, заменить гения доброй обыкновенностью.

В Пушкине многое наметилось — но только наметилось — в неповторимом личном опыте, временами эскизно легком, взлетающем поверх пропастей, открывшихся в новое время. Может быть, это возможность синтеза разорванных духовных начал, возможность целокупного духа... Так Пушкина чувствовал Достоевский, так его чувствует В. Непомнящий, и в самом главном они правы. Но иногда им кажется, что можно дать правила, рецепт, как перенести взлет целокупного духа в наш разорванный век: смирись, гордый человек, и т. п. А это не выходит. Единственный верный способ возрождения — без всяких правил, через всего себя, неповторимо личной интерпретацией, заведомо не совпадающей с подлинником — и тем не менее подлинной (как подлинен Пушкин Цветаевой, решительно противоположный Пушкину Непомнящего и все-таки Непомнящим признанный). Есть Пушкин Достоевского и Пушкин Гершензона, и Пушкин Цветаевой, и Пушкин Непомнящего, и Пушкин Ахматовой, и Пушкин Миркиной, и много других. Интерпретация Непомнящего — живая (это лучшее, что можно сказать). Но в ней есть свои натяжки, свои нелепости; я их выписал. Непомнящий прав, решившись дать волю своему вдохновению; общий дух его книги, несмотря на все натяжки, превосходен и ведет в самые глубины пушкинского мира. Но правота становится неправдой, когда он отказывает в свободе вдохновения другим и не видит ничего пушкинского в постановке, сделанной не по его принципам, да и во всяком чужом решении. Односторонняя истина есть истина, пока она не настаивает на своей единственной истинности. Став самодержавной, любая истина становится ложью.

В интерпретации классики больше, чем где бы то ни было, приходится идти на риск свободы. Практически приходится выбирать между произволом режиссера — и цензора (или другого лица, облеченного властью). Первый иногда радуется, иногда огорчается. Человек не равен себе. Большие удачи редки. Но если подходить к тексту не через себя, а по чужой указке, — хотя бы и такого знатока, как В. Непомнящий, — то ничего путного не выйдет. Опыт идеологического руководства искусством можно подытожить совершенно однозначно:

не радует. Приходится выбирать между академическим, т. е. мертвым, Пушкиным и живым — но своевольно прочитанным. Текст можно и не сдвигать с места. Театр на Таганке поставил «Бориса», ничего в словах Пушкина не переменяв, но все же спектакль был запрещен... Разумеется, не В. Непомнящим. Разницу между Валентином Семеновичем и Демичевым не стоит объяснять. Но логическое следствие всякого самодержавия истины — цензура. И не дай Бог восстанавливать этот бич, изъязвивший Пушкина, — даже ради Пушкина.

Пушкин что-то знает. Но что именно? «Что-то» не может быть отделено от неповторимого пушкинского слова и сразу блекнет, как только утрачен поэтический ритм. Пушкин не годится в *Виргилии*, он не ведет читателя через ад нравственных ошибок и чистилище покаяния прямо в рай нравственной чистоты. Такой прямолинейной направленности в творчестве Пушкина нет. Но оно несет в своем потоке примерно то, чем полна музыка Моцарта. После всех наших слов о Пушкине надо сказать (как *Фома Аквинский* о своей философии): все это солома. Нельзя передать поэзию и музыку тяжелыми неловкими словами. Мы знаем только одно: с музыкой Моцарта и со стихами Пушкина легче идти по нашей собственной тропке и искать своего собственного решения наших собственных нравственных задач. Не думая, что Пушкин все решил и остается только следовать ему.

В поэзии Пушкина были пророческие взлеты, в которых собственно личное сгорает полностью, без остатка, так что когда поэт остается цел, то это всегда чудо, как *Феникс*, родившийся заново из пепла. Но общее настроение, которое передает поэзия Пушкина, кажется мне скорее иным, более мягким, не горячим, не жгущим, а теплым, как солнце бабьего лета, позолотившее самую обыкновенную, будничную комнату, или поле, или рощу:

Если жизнь тебя обманет,  
Не печалься, не сердись!  
В день уныния смирись:  
День веселья, верь, настанет.

Сердце в будущем живет;  
Настоящее уныло:  
Все мгновенно, все пройдет;  
Что пройдет, то будет мило.

Зинаида МИРКИНА

## ЧУЖИЕ СНЫ

### 1.

Не чувствую, что мы разделены.—  
Ты просто спишь, твой сон бессрочный длится,  
А я смотрю твои цветные сны,  
Уже не видя самого сновидца.

Расправлен дух в последней тишине.  
Недвижный лик из мрамора изваян.  
Но что же, что же движется во мне?  
По чьим веленьям сердце оживает?

Не чувствую, что мы разделены.  
Ни «там», ни «здесь» — все те же волны света...  
Ты спишь, а мне показываешь сны,  
Цветные сны твои... но сны ли это?

### 2.

Бессмертие... Оно живет вот тут,  
В моем виске пульсирует бессмертье.  
Чужие сны невидимо плывут  
И предстают перед глазами сердца.

Не разбуди, а вниди в долгий сон...  
Великий сон горы веками длится.  
Отвесом к небу профиль устремлен.  
Пространство кружит, как большая птица.

Не разбуди... Ну что с того, что вдруг  
Покажешь всем, откроешь перед всеми?  
О, веточки оторванной испуг!  
О, раненое, вскрикнувшее время!

Не тронь его. Источники темны.  
Чем глубже пласт, тем тише, безответней.  
Лишь научись смотреть чужие сны,  
И Бог войдет в свой сон тысячелетний.

## 3.

Чужие сны... И мой прозрачный сон,  
Вам всем чужой... А небо над домами?  
А тот густой, поросший лесом склон?  
А это отгорающее пламя?

Все чуждое? И как чужие сны  
Неведомо? Чей дух наполнил глину?  
Кто чертит в небе линию сосны,  
Кто чертит в скалах тайные картины?

Нет никого. Лишь блики на воде,  
Загадки леса, вечности дремота.  
Не кто, а что. Не где-то, а везде,  
Всегда, во всем, и все же —  
кто-то. Кто-то.

## 4.

Я вслушиваюсь в собственную душу.  
Звук замирает. Внешний мир приглушен.  
Во мне растет (о, как она нужна!)  
Раскинувшая крылья тишина.

Невидимый, нерукотворный храм,  
Поставленный наперерез ветрам.

Угадываю... Различаю... Верю...  
Молчанье открывается, как двери,  
В тот самый сокровеннейший придел,  
Где только дух — и ни имен, ни тел.

Здесь пустота. Как там, вверху Синая.  
Великая. Единая. Сквозная.  
Очищенный, освобожденный путь  
В любую грудь.

## 5.

Тот путь, ведущий от тебя ко мне,—  
Мгновенье света, небеса в окне,  
Та тихая таинственная связь,  
Что длится вечно, изнутри светясь,  
Тот общий сон, что, всем приснясь, прожег  
Из сердца выход внутрь другого —  
Бог.

## 6.

И сотворил Господь Адама спящим.  
Он жил во сне. Он видел вещий сон:  
Рассветный луч в густозеленой чаще,  
Пахучий ландыш, нежный анемон.

Луг отцветал и наливался колос,  
И в сон пространства не врывался крик.  
Земле и небу снился тот же голос,  
Глядел сквозь всё один и тот же лик.

Тёк в мире свет и не текли события.  
Из звезд и зорь земля сплетала сны.  
И все свершалось только по нити,—  
По тайному велению глубины.

И в тайном сне возрастало жизни древо  
И древо знания добра и зла.  
Во сне, сквозь сон рука Господня Еву

Здесь возле сердца самого нашла  
И вынула. И этой жаркой плоти,  
Его ребру родному — сатана  
Сумел шепнуть: «Когда же вы поймете,  
Что жизнь вам снится? Пробудись, жена!»

И вот сверкнул тот самый плод на Древе,  
Который был с рожденья запрещен.  
И пробудилось беспокойство в Еве  
И разорвало чудотворный сон.

И поняли они, что дольше века  
Им не прожить — «Мы смертные, Адам!»  
И было два дрожащих человека.  
А Бог? — «Что Бог... Он только снился нам».

## 7.

Журчал ручей. Благоухали куши.  
Деревья гнулись, наклонясь к воде.  
Но Он... Но этот Тихий Вседающий...  
О, в первый раз раздавшееся «Где?!»

И только там, меж ребер, где-то слева,  
В скрещенье снов, в переплетенье воль,  
Откуда Бог когда-то вынул Еву,  
Впервые в жизни шевельнулась боль.

Как будто кто-то, кто был тайно спрятан  
Туда, вдруг выпал, и в пустую грудь  
Вошло, как вздох, печальное «когда-то»...  
И тихое, как сон, «когда-нибудь»...

## 8.

Он не увидел Бога своего,  
Смотря на мир, на сто частей разъятый.  
А Каин — темный первенец его,—  
Смотря на брата, не увидел брата.

И раскололась мировая гладь.  
И только ветер — всей земли хозяин —  
Ревел и выл, стремясь перекричать  
Далекий голос: «Где же брат твой,  
Каин?!»

И покати́лась слезная лавина  
С тех самых незапамятных времен:  
Рыдает Мать, потерявши Сына,  
И плачет Каин, потерявши сон.

## 9.

А травы спали; и спала береза.  
По небу тихо проплывали сны,  
На тонких ветках вспыхивали слезы,  
Смола струилась по стволу сосны.

Шептали ветры быль и небылицы,  
И звали вдаль. И в глуби звал покой.  
И спал простор. И знали только птицы,  
Что снилось веткам, спавшим над рекой.

А птицы знали. Господи, откуда?  
Чуть розовела тихая вода.  
Мгновенной песней вспыхивало чудо  
И улетало. Господи, куда?

## 10.

Ты навек земле оставил  
Свой последний страшный стон.  
Авель, Авель, где мой Авель?!  
Каин, Каин, где твой сон?!

Вас одно взрастило лоно,  
Мать зовет сынов домой.—  
Каин, Каин, мой бессонный,  
Авель, Авель, спящий мой...



Длится сон твой... Там, над крышей,  
В колыбели голубой...  
Вижу сердцем, чую, слышу...  
Ты со мною, я с тобой.

Мой родимый, баю-баю...  
Проплывают облака.  
Обнимаю, обнимаю.  
Колыбель твоя легка.

Тихо-тихо, еле-еле,  
Чуть качнула и опять  
В этой синей колыбели  
Буду век тебя качать.

В зыбком тающем тумане  
Таёт боль и таёт страх...  
Спит земля на Божьей длани,  
Как младенец на руках.

Если б все ночные вопли  
Стихли в этой сизой мгле...  
Помоги, мой сын усопший,  
Всем бессонным на земле!

Ради матери скорбящей  
Встань над слезною рекой,  
Возврати нас в царство спящих,  
Беспокойных успокой.

Сердце надвое разъято,  
Зримый мир для сердца мал.  
Помолись со мной за брата,  
Чтобы он тебя узнал.

Посреди одной пустыни  
Вам один построен дом.  
Наклонись звездой синей  
Над озерным хрусталем.

Промелькни дрожащей каплей,  
Помоги моей любви,—  
Уколи лучом внезапным,  
Легким духом проплыви...

Тайна жизни — птица ночи,  
Крылья чуткие расправь!  
Тихий сон, смежи нам очи,  
Чтобы сердцу видеть Явь.

## 11.

Эта Явь откроется за гранью,  
там, где исчезает метр и час,  
там, где длится вечное сиянье,  
скрытое от неготовых глаз.

Торжество ликующего света,  
жизни безграничной торжество.  
Дух неотягченный, не одетый  
ни во что — совсем без ничего.

Где-то дальше, глубже нас и выше,  
в той непостижимой глубине —  
нищий дух, которым все мы дышим,  
Дух, который бодрствует во сне.

Он не изречен и не изваян  
и ни от кого не отделен —  
легкий дух, который навевает  
нам целящий, жизнетворный сон.

В тишине открытой и великой —  
только волн таинственный прибой.  
Ничего — ни слова и ни лика,  
ничего — меж мною и тобой.

Расступились стены и покровы.  
Мы не можем быть разделены.  
Это Явь. И к ней пути иного  
нет, как только сквозь чужие сны.

## СЕМИСВЕЧНИК

Свеча 1-я. *Огонь украденный*

Огонь! Огонь! Зрачок Зевеса!  
(Сей взбег, сей взмах!)  
Разодранная вмиг завеса —  
Прокол в сердцах!

Рассудок навзничь! Бога, Чуда  
Черты видны!  
Он к нам врывается оттуда —  
Из глубины!

Повелевает на колени  
Рвануться нам,  
Он здесь — гроза и разоренье,  
Но где-то там...

Вот там, где никому не тесно,  
Где глаз — звезда...  
Он — весть оттуда! Он — небесный!  
Он — зов туда!

Чиста, как пламена заката,  
Господня страсть.  
Как ты посмел, огнем зачатый,  
Огонь украсть?!

Горит во тьме, как глаз бессонный,  
О жизни весть.  
Как ты посмел, Огнем рожденный,  
Огонь низвесть?!

В земные поместить затворы,  
С небес — на дно?  
Как Он тоскует по простору,  
Где все — Одно!

Как рвется Он стокрылой птицей,  
Сжигая клеть!  
Огонь для тех, кто не боится  
В огне сгореть!

Кто от своих бесчисленных братьев  
Неотделим.  
Он входит в пламя, как в объятье  
Со всем живым.

Что ж ты сдержать не можешь крика  
В свой судный час?  
Ты, вырвавший у неба с лика  
Горящий глаз?!

И кровь, сжигая мир, струится  
С пустых небес.  
И хочет остудить глазницы  
Слепой Зевес.

## Свеча 2-я. *Огонь говорящий*

Купины неопалимой  
Блеск внезапный — жар глубин.  
Наше сердце неделимо:  
Слушай, мир мой, Бог един!

Все одно и нет чужого,  
Сто окон — один чертог.  
Так сказал душе Егова:  
Вот завет наш: Я — твой Бог.

Я, связавший эти нити,  
Сжавший все в одну ладонь,  
Всех держащий, — Вседержитель,  
Возжигающий огонь!

Ради Бога, Жизни ради,  
Ради вспыхнувшего дня —  
Ни искринки не укради  
У единого огня!

Туго стянут день грядущий  
С прошлым в узел бытия.  
Я — супруг твой, — молвил Сущий,  
И впечатал: только Я.

И легла столбами света,  
Рассекающего тьму,  
Тяжесть Ветхого Завета —  
Тяжесть верности Тому,

Кто извечно верен каждой  
Капле (все — единый вал),  
Тяжесть той вселенской жажды  
По началу всех начал,

Тяжесть звездного чертога,  
Тяжесть солнца и земли,  
Слово огненного Бога:  
Все едино, не дели!

Я — во всем, во всех, со всеми,  
Чья душа в святом огне.  
Кто воспримет Божье семя?  
Кто подарит Сына Мне?

Из какой Он выйдет дали,  
Сын земли и неба сын?  
Тот, кто выжжет на скрижали:  
Слушай, мир мой, Бог един!

## Свеча 3-я. *Огненный вестник*

Сквозь дали и даты —  
Распявшим, распятым,  
Убитому брату,  
Убившему брату!

И агнцу, и волку —  
Завет голубиный —  
Проклятья да смолкнут! —  
Едины, едины!

И черным, и красным,  
И красным и белым:  
Сраженья напрасны —  
Единое тело!

Во всех иноверцах —  
Единою болью  
Стучащее сердце —  
Набат колокольный!

Он взял наше бремя,  
Он взял наши муки  
За всех и над всеми  
Раскинувший руки.

И миру неведом  
Итог под итогом:  
Любая победа —  
Распятие Бога.

И лишь побежденный  
Услышит лавину  
Пасхального звона:  
Восстал Всеединый!

Свеча 4-я. *За светом!*

Ни черточки, ни блика и ни звука.—  
Душа на берегу небытия.  
С самим собой великая разлука —  
На два куска распалась жизнь моя.

И если окончательна потеря,  
И если там, за гробом, света нет,  
То я и в этот здешний свет не верю —  
Он — «здесь» и «там», или нигде — не свет.

И перед мукой алчною моею  
Ад задрожит и растворит врата,  
И темнота отступит пред Орфеем,  
Или меня поглотит темнота.

Вослед любимой ускользнувшей тени,  
Моей любви негаснувшей вослед,  
По гулким, гудким звуковым ступеням  
Спускаюсь внутрь, где разделений нет.

И различаю в брезжущем тумане  
Неясных линий шелестящий лес,  
Как будто кто-то чертит наши грани  
И плоть еще не обретает вес.

Здесь, в глубине бездонного провала,  
Как стаи листьев, души шелестят.  
В стране концов они берут начала  
И нас зовут вперед, а не назад.

И надо мне пройти сквозь мрак великий,  
Не оглянувшись, не подавшись вспять,  
Чтобы дойти до вечной Эвридики  
И смёрть до дна, до капли исчерпать.

А если сердце выдержать не сможет,  
И я увижу, что предела нет,  
Что смерть неисчерпаема, — ну что же,  
Тогда умру. Но... — свет, о Боже, —

Свет!

## Свеча 5-я. *Орфей оглянувшийся*

«Орфей! Орфей мой! Это ты?!»

— Свет... Свет ее лица...

Конец вселенской темноты,

Оконченность конца!

Страна истоков и начал —

Разросшихся сердец...

О, как я шел и как я звал!

И, Боже, наконец,—

Посередине тьмы — светло,

Мерцает узкий вход.

До света сердце доросло

И все еще растет...

Куда? Неведомо... В меня

Глядит горящий Глаз.

Зрачок вселенского Огня

Заглядывает в нас.

И манит и велит идти

Без цели и следа

О, это веденье Пути

В неведеньи к у д а!

— Орфей мой! Мы с тобой вдвоем...

Орфей, остановись!

Дай мне обнять тебя! — Идем!

— Куда? — Из смерти в жизнь.

— Не понимаю... Но открой

Лицо. И дай взглянуть...

— Любимая, чтоб быть живой,

Гляди на этот Путь,

Что перед нами... В этот Глаз,

Что день и ночь открыт,

И постоянно видит нас

И нам идти велит



Из ночи в день. Зрачок огня,  
Внутри сердца своего  
Зовущий... — Нет... Люби меня  
Сильнее, чем Его!

Но милая...  
— Мне все страшней,  
И снова пустотой  
Повеяло... Орфей... Орфей...  
Прощай, Орфей!  
— Постой!

Стой, Эвридика! Силы нет  
Все слышать и молчать!  
Прости меня, молчащий Свет,  
Я не могу опять

Терять ее... Любовь моя,  
Нет больше пустоты!  
Я здесь, с тобой! Смотри —  
вот я!  
Но... ты... О, где же ты?!!

## Свеча 6-я. *Я есмь огонь*

Нет ничего... Пустой, ничей  
Лес. Ни лица, ни слов.  
Есть только линии ветвей,  
Да линии стволов.

Огромный вяз, склоненный в пруд,  
Плеск... лепет... дух... вода...  
Они куда-нибудь ведут...  
Но, Господи, куда?

В каком-то позабытом сне  
Был этот холм с кустом...  
Они напоминают мне...  
Но, Боже мой, о чем?

Какой-то край далекий... Там,  
Где мир, как небо, тих,  
Я был Орфей... или Адам...  
Нет, раньше, прежде них...

Еще не место и не век,  
Еще до всех имен —  
Сын Человечий... Человек.  
Еще не наречен

Никак. И все вместивший в грудь.  
О, эта полнота!  
Внутри души и цель и путь  
И нету ни листа,

Отторгнутого от меня.—  
День гаснет. Тает мгла...  
Из ночи в день и в ночь из дня  
Иду путем ствола.

И вдруг — немое торжество!  
Тот высочайший миг:  
Из пустоты, из ничего  
Восходит смысл и Лик.

Самосвеченье Бытия...  
Все это было... Что ж,  
Я совершил? Что сделал я,  
Что охватила дрожь

Всю душу и нахлынул страх,  
Как будто камнем вниз  
Я брошен был и на руках  
Над бездною повис...

О, Господи! Мой день, как год,  
Томительно тяжел,  
И вечно печень мне клюет  
Безжалостный орел.

В каком аду, в каком огне  
Горю, его кляня,—  
Того, кто вновь летит ко мне  
Напомнить про меня

Всецелого. О, этот влет  
Великой птицы! Плачь,  
Душа больная!.. Как он жжет,  
Божественный палач!

Жги! Жги меня! Прожги пласты  
Души моей! Затронь  
Всю сердцевину! — Это ты —  
Мой внутренний огонь!

Грудь настезь — сброшена броня.  
О, этот рай в аду!  
Чего ты хочешь от меня? —  
Возврата внутрь? — Иду!

Владыка жизненных глубин,—  
Все сердце зажжено!  
Един с Тобой, с собой един!  
Нет двух, а есть Одно!

Огонь! Огонь! Внутри, во мне —  
Огонь! Сей взмах, сей взбег!  
Я есмь Огонь! Я весь в огне  
И не сгорю вовек!

Свеча 7-я. *Да вспыхнет светилом!..*

Осанна! Осанна —  
Из огненной бездны!  
Свечение раны  
В пространстве небесном.

Сквозь вечность преграды,  
Из бездны страданья,  
Из пламени ада —  
Прорыв ликованья!

Из едкого дыма,  
Тугого капкана —  
К очам негасимым,  
Крылам неустанным!

Нетленная радость  
Горит, не сгорая,  
Под сводами ада,  
Как на небе рая.

И сгинет геенна,  
И рухнет разруха.  
Сжигание тлена —  
Возжение Духа!

В груди Миродержца  
И в нас и над нами —  
Горящее сердце —  
Сквозящее пламя!

Да вспыхнет светилом  
Смертельная рана!  
Сквозь тяжесть могилы —  
Осанна! Осанна!

(Окончание. Начало на с. 177, 205—207)

совершенно серьезно считалось ошибкой, путаницей. Я думаю, первые философы примерно так же воспринимались тогдашним народом. Только стереотипы у народа были другие, продиктованные обычаями, а не ЦК. И народ по-своему был прав, потому что его стереотипы были проверены жизнью, а философы, увлеченные логикой, неизвестно куда могли завести. Так же как и я, если бы микулинские дали мне дорогу.

Обобщая все четыре беседы, я прихожу к выводу, что мысль, связанная с жизнью, всегда нарушает законы логики или, если хотите, делает поправку на реальность. Но реальность бывает разная. Чутье реальности может завести в глубину, а может — к системе условностей, признанных общественным законом (как у Микулинского). Первое вызвало у меня порыв сочувствия, второе — недоумение. Но это дело личное. Я представляю себе собеседника, угадывавшего Микулинского с полуслова и совершенно неспособного понять замечания Гриба. Вероятно, таких даже больше.

Движение мысли всегда где-то сходит с рельс и оказывается на перекрестке, как добрый молодец: налево — коню смерть, направо — всаднику, прямо — обоим... Выбор совершается подсознательно (или сверхсознательно), и мы понимаем друг друга, если наши подсознательные правила выбора примерно сходятся, и не понимаем, если нет.

Нам не дано предугадать...  
Как наше слово отзовется...

*Середина 70-х гг.* Нынешние споры по национальному вопросу напоминают мне сцену между родителями неудавшегося ребенка. Мама клянется, что этот выродок похож на папу, что это его сын, не ее, а папа отвечает, что в нашем роду таких сроду не было. И еще неизвестно, его ли это сын; а вот ее — это уже бесспорно.

Я не знаю, удастся ли воспитать шестидесятилетнего недоросля; но если удастся, то, конечно, не с помощью доказательства своей отцовской (или материнской) правоты. Лучше всего перестать ссориться друг с другом и самим избавиться от того, что нам противно в другом. Тогда, может быть, что-нибудь и выйдет.

Но как прекратить ссоры? Так трудно остаться без козла отпущения, на которого навешиваются все наши беды... И я предлагаю взамен старых козлов нового: дух империи. Римский народ был уничтожен Римской империей. И русский народ систематически уничтожается русской же империей. Но это трудно понять, и ненависть к империи принимает характер ненависти к тем или иным инородцам, которые по законам имперской жизни играли роль калифа на час; или к мнимо господствующей нации, на самом деле — только главного раба двуглавого орла, или к «мировому коммунизму», «колонией» которого будто бы стала Россия.

Чтобы стать нацией, Россия должна преодолеть в себе империю.

## Неудачи

### ПЛАТА ЗА УСТРОЙСТВО МИРА, В КОТОРОМ ЕСТЬ СВОБОДА

Я получил письмо от молодой женщины, которой очень не везло. Сейчас многим не везет, но эта женщина талантлива и очень ярко описала несколько судеб, которые подтверждают (как ей кажется) концепцию Кальвина: одни люди с самого рождения благословлены, другие прокляты. Она проклята, и на всем, что она делает, лежит печать проклятия.

Эта концепция предполагает образ бога, который сидит где-то вне страдающего мира и равнодушно разбрасывает черные и белые жребии. Примерно такой бог — в «бунте» Ивана Карамазова. Карамазов не может понять, что Бог (на этот раз с прописной буквы) вездесущ. Он в каждой страдающей твари, он страдает вместе с ней и просто не может никого проклясть: тогда он проклял бы самого себя, свое присутствие в твари. Он изнутри всех благословляет всех — но судьбой, а готовностью принять судьбу. От Бога не крест, а готовность принять крест (я расхожусь здесь с ортодоксией, но Бог с ней). Каждый может осознать в себе Божью волю и причаститься Божьему всемогуществу. Но оно не вмешивается извне в ход событий — только изнутри, через нашу душу. Несчастья, которые выпадают нам на долю, — плата за устройство мира, в котором есть свобода. И надо иметь мужество платить по счету, если счет предъявлен именно нам. Это всегда счет за всех, за свободу духа всех тварей.

Я принял эту концепцию сразу, как только услышал летом 1960 года стихотворение Зинаиды Миркиной «Бог кричал». Там есть такие строки:

Бога ударили по тонкой жиле,  
По руке или даже по глазу.

По мне.

. . . . .

И в конце стихотворения:

Нет, никогда не умрет  
нетленный,  
Я за него умру.

Наше бессмертие — в бессмертии Бога. Мы умираем за Бога. Он за нас живет вечно. И если мы пустили его в себя, если он присутствует в нашей глубине, то его бессмертие — это наше бессмертие.

Я мог бы развивать эту мысль дальше, но не вижу смысла. Люди выбирают такие концепции, которые им по сердцу. В каждой теории есть щели, куда можно вклинить, разрушить связь чужих мыслей и утвердить свои. Поэтому попробую не спорить, а сопоставить наши две

жизни. Моей корреспондентке 36, она чувствует себя в тупике и осознает это как проклятие. А мне когда исполнилось 36? В станице Шкуринской. Я вышел по амнистии из лагеря и работаю учителем восьмых классов. Дело не ладится, казачата не понимают длинных предложений, которыми я привык говорить, и мое московское произношение — для них почти иностранный язык. На педагогическом совете начинают травить. Особенно трудно в 8 «А». Там учатся дети станичной номенклатуры: племянница директора МТС, сын завуча и т. п. Они откровенно меня третируют. Они уверены, что я не посею их не перевести. Я посмел. Я выставил одиннадцать годовых двоек. Племянница директора МТС бросила школу. Остальные как миленькие пришли в августе на дополнительные занятия. При сорокаградусной жаре мы каждый день писали диктанты, разбирали предложения. Потом я всех перевел — и отказался от этого класса. К ним пришла Марья Ивановна, уроки которой назывались «тоска по родине». В последнем учебном году она долго болела, я ее заменял. Вхожу — слышно, как муха пролетит. Десятиклассники вытаскивали тетради и записывали.

В том же последнем учебном году был еще один вызов: мальчишки из другого класса, 10 «Г», обступили меня в Новый, 1956-й год с просьбой рассказать про Сталина. Я поглядел им в глаза — и рассказал, напирая на то, что впоследствии выбрал Хрущев (истребление военных и партийных кадров). Ребята молчали до XX съезда, а потом разнесли по всей станице мою славу, и вся станица, незнакомые люди стали со мной раскланиваться (а раньше глядели угрюмо: я был очередной русификатор, да еще и еврей. Станица очень берегла родной украинский язык запорожских предков.)

Институт я окончил с квалификацией преподавателя вуза и работу в школе считал ниже своего достоинства. Распределили подальше, в учительский институт, — я не поехал, прочел по договору два курса в Тульском педагогическом. Дальше помешала война... Думал ли я, что работа станичного учителя захватит меня? Но захватила и еще раз подтвердила готовность осваивать новое и в каждом ремесле находить свою радость.

Перелом произошел в лагере. До лагеря я считал себя гуманитарием милостью Божьей. Когда война кончилась, я стал добиваться демобилизации. Но, по несчастью, черт меня понес занять офицерскую должность, получить звание лейтенанта... Меня не демобилизовали в общем порядке, как рядовых и сержантов. Дисциплинированный, не алкоголик — зачем меня демобилизовывать? И тут повело. Я решил разозлить начальство. И переборщил: меня демобилизовали, исключив из партии за антипартийные заявления. Это была путевка в лагерь. Я прожил в Москве три года, дожидаясь ареста. Занимался чем попало (когда удавалось найти хоть какое-то занятие). Мне предлагали приобрести техническую специальность. Я отказался. У меня не было сил переключать свою голову на новые задачи, и мне казалось, что я не способен на это. Помнится, я очень много спал. Очень мало читал...

Когда меня арестовали, я почти обрадовался. Наконец, выход из тупика. И словно меня прищипорили — появилась энергия. Я легко прошел через следственные и в первый мой лагерный день, на волне фронтовой храбрости, вступил в спор с сукой Шелкоплясом, ведающим карантинном. Ссученный бандит остается бандитом; он чуть не убил меня, но удержался. Эта глупейшая история пошла мне на пользу. Священник

(мой товарищ по этапу) рассказал о ней сионисту, сионист — правому уклонисту (его фамилию я впоследствии прочел у Авторханова), уклонист зашел ко мне в карантин, поговорил о Гегеле и сказал, что я справлюсь с работой нормировщика подсобных мастерских (как раз там освободилась вакансия).

Я действительно справился. Глядя через плечо бухгалтера, выучился считать на арифмометре, сообразил, что делать со счетной линейкой, и довольно грамотно проделал первый хронометраж. Потом старшие придурки (административно-технический персонал) травили меня, чтобы выудить «лапу» (взятку). Каждый день в моих рабочих листках находили ошибки и заставляли переделывать. Это длилось несколько месяцев. «Лапы» я не дал. Сами отцепились. И когда отцепились, я понял, что они невольно научили меня ремеслу. С этих пор настоящей работы было у меня часа на два. Остальное время лясы точил. «Дома», то есть в зоне, переехал в барак АТП. Первый и, кажется, последний раз оказался в номенклатуре. Эта лафа длилась два года — полного, глубокого отдыха. Так мало я не работал больше никогда. Потом, уже после смерти Сталина, по запоздалым провинциальным откликам на дело врачей, меня списали «на общие» (как бы я не отравил баранки, выпекавшиеся на подсобных). Я принял это с той же фронтовой готовностью к неожиданностям, всплывшей в ночь ареста. Через месяц меня освободили.

Кажется, именно фронт выработал способность принимать любую катастрофу как перемену погоды. Но почему я не сумел принять так же свой скандал с демобилизацией и волчий билет? Я стыжусь этих трех лет. Казалось бы, я привык жить в одиночку, без чувства локтя, — но осознать себя окончательно антисоветским человеком в окружении советских людей было невыносимо трудно. И я жил как советский человек третьего или четвертого сорта. Только раз в две недели я приходил к учителю, Леониду Ефимовичу Пинскому, и становился самим собой (Пинский не боялся называть вещи своими именами).

Арест освободил меня от чувства собственной неполноценности, а на воле, накануне ареста, я все время ее чувствовал. В чем же была эта неполноценность? В трусости, в неготовности принять судьбу. Я очень быстро понял, что исключили меня правильно, а вступил я в партию (в 43-м) по фронтовому легкомыслию. Но мне говорили, что надо апеллировать, иначе посадят, и я апеллировал, я фальшивил, изображал из себя не то, чем я был. В тюрьме с меня упал этот груз. Кругом все антисоветчики — кроме воров. И сразу, в камере 16 на Малой Лубянке, возникло чувство дома, как на фронте — в первом попавшемся ровике. А в своей комнатке в Москве я не чувствовал себя дома. А в то же время боялся уехать куда-нибудь в глушь, и в меня все глубже врезалось клеймо неудачника.

Внешним образом я всегда был неудачником. Но накануне ареста это были неудачи, унижавшие меня. Потом неудачи перестали меня унижать. А потом оказалось, что неудачи — что-то вроде вод Стикса, в которые Фетида окунула своего сына. В этом (во внутреннем настрое) все дело, а не в везенье или невезенье. Мое проклятье накануне ареста было в неготовности к судьбе, и я снял с себя проклятье, приняв судьбу.

Сейчас многие теряют и еще будут терять любимую работу и с ней — часть себя. Я это пережил. Пережил апатию, затерянность, заброшенность... И что меня выбило из этой воронки? Арест. Разве арест — это счастье, везенье? Нет, но неудача может быть шлепком, от которого



младенец начинает кричать, дышать легкими. Открывается второе дыхание. Я это недавно заново вспомнил после истории, пожалуй, такой же глупой, как спор с Шелкоплясом. В римском аэропорту меня вовремя не встретили. Я решил, что доеду сам. И доехал очень дешево, на электричке, метро и поезде — в город, где, как мне казалось, происходила конференция. 23.30 по местному, 1.30 по московскому. Спать хочется. Идет дождь. Никаких следов конференции. Снял номер подешевле, поспал часа три и утром, в состоянии стресса, почти заговорив по-английски, нашел бюро по обслуживанию туристов, объяснил сотрудникам, в чем дело, они связались с министерством культуры — и потом меня шесть часов везли поперек Италии из Формии в Ферми (400 км). Еще успел прочесть свой доклад. Осталось чувство, что английские слова передвинулись на порядок ближе к языку, два-три таких стресса — и смогу участвовать в прениях без переводчика.

Я думаю, что основная проблема нашей страны — второе дыхание. Второе дыхание в обстановке экономического и политического хаоса. Со второго дыхания рождается та сила, которой берется царство, и появляется новый духовный облик:

Господи! Душа сбывась,  
Умысел твой самый тайный.  
(М. Цветаева).

После лагеря я уже никогда не терял себя. Я научился принимать жизнь, какая она есть, с ежедневной работой ради хлеба насущного, — как радость. И с этого пошли мои личные удачи в той области, в которую государство почти не вмешивается. Моя жизнь прошла при очень плохом политическом устройстве, я тянул лямку, как рядовой советский служащий, и урывками писал что-то свое, но я был счастлив. Обителью счастья стала та самая семиметровая комната, между кухней и уборной коммунальной квартиры, где я был несчастен накануне ареста. Я понял, что могу стать опорой другому человеку, я научился давать счастье, а не ждаты, чтобы мне его принесли.

Счастье — не кошелек на дороге. Оно открывается изнутри, и, чтобы оно открылось, нужно было все прошлое, все неудачи, в которых сбывалась душа. Повезло мне только в одном: я жил долго и пережил советскую власть. «В России надо жить долго. Тогда что-нибудь получится», — сказал Чуковский. Получилось — не сразу. Мое имя 12 лет запрещено было упоминать в печати, самиздат Андропов подавил; в 1987-м люди просто не знали, кто я такой, и даже фамилию мою не умели грамотно написать, когда я записывался в прениях, и слова не давали (человеку с улицы). Только в 1988-м мне удалось опубликовать три небольшие статьи. Молодому автору было тогда 70 лет. Сперва гораздо громче звучали общие места, общее мнение какого-то кружка, сложившееся на кухнях 70-х и 80-х годов. Только когда все эти общие места были выкрикнуты и никакого чуда не получилось, понадобилось что-то лично выношенное.

Что же оказалось нужным? Опыт неудач. Опыт жизни без всякого внешнего успеха. Опыт жизни без почвы под ногами, без социальной, национальной, церковной опоры. Сейчас вся Россия живет так, как я жил десятки лет: во внешней заброшенности, во внешнем ничтожестве, вися в воздухе... И людям стало интересно читать, как жить без почвы, держась ни на чем.

Я убежден, что один из путей к будущему России — именно в этом, в способности найти внутреннюю опору. Мы живем в апокалиптическое время. Все внешнее ненадежно, рассыпается на куски. «Почва», о которой так много говорят, — только внутри, и она складывается в неудачах. Повиснув в воздухе, вдруг чувствуешь, что есть какой-то ток, поддерживающий крылья. И пусть кругом все рушится — эту опору никто не отнимет.

Я не рассчитываю ничего доказать. Доказать можно только человеку, который согласен быть убежденным. Но я надеюсь заразить кого-нибудь. Сейчас многие заражают отчаяньем. Я пытаюсь передать свой иммунитет к отчаянью.

Я убежден, что вся национальная политика, начиная с Сумганта, была нагромождением ошибок и преступлений. Кажется, и в других государственных делах хватало нелепостей. Однако выход из коммунистической тирании мог быть еще более страшным. Свобода слова, конец холодной войны, освобождение Восточной Европы дались дорого — но бесполезно заниматься историей упущенных возможностей. Могло быть то и се, есть то, что есть. Надо выходить из невыносимого положения, которое сложилось сегодня. Выход из него немислим без перестройки личности. Только приняв свои неудачи и научившись жить в потоке неудач, можно его «обустроить».

1992

## Бог и ничто

## Маленькие эссе

Что я знаю о Боге? То, что этот образ приходит в голову над пустотой: последним, когда падаешь в нее, и первым, когда возвращаешься назад, еще не различая ничего: где субъект и где объект, где факт и где ритм теней... Мейстер Экхарт из любви к Богу сбрасывает Его в Ничто. Отпадает мертвое, придуманное, а живой возвращается к живому и рождается заново, как в душе Иисуса. Остальное — иконы. Живой Бог — тот, кто воскресает из Ничего. Вера, которая не разрешает сбрасывать Бога в Ничто, делает икону кумиром, и атеизм следует за нею, как тень.

Каждая вера чтит свой образ Божий, свои иконы. Но икона (в камне или в слове) — только подобие, «сеть, которую надо отбросить, когда поймана рыба». Икона прозрачна. Она не застигает вечного света, а только смягчает его, делает выносимым для глаза.

Подлинное нельзя высказать. Все изреченное — только подобие. Дело совсем не в том, чтобы труп вырвался из могилы и вознесся на небо (то самое, которое взломал Коперник?). То, что произошло с Христом, было гораздо большим чудом. Его смерть вызвала в душах учеников обвал, который длится до сих пор, и Христос тысячу и тысячу раз воскресал в человеческом сердце. Этот сдвиг, этот обвал мертвых пластов в сердце, это торжество жизни и есть величайшее чудо во Вселенной.

Само слово Бог — подобие. Оно так же не имеет прямого смысла, как и другие слова любви. Если бы любимая в самом деле стала солнцем или звездой, кому это нужно? То, что высказывается словами, не равенство любимой звезде, а любовь. И Бог — это не равенство чему-то другому. Это слово любви, сказанное жизни. Слабый человеческий отклик из пустоты, взрытой познанием. Познанием Целого.

Декабрь 1963

## *Равновесие насилия и ненасилия*

Существует мнимонаучное мнение, что среди животных безраздельно господствует насилие. Исследования К. Лоренца показали, что это неверно. Как раз среди хищников, хорошо вооруженных для убийства, насилие ограничено инстинктом, запрещающим убивать себе подобных. Встречаются случаи нарушения закона, но достаточно редко. Выживание вида обеспечено равновесием насилия и ненасилия.

У становящихся людей подходящего инстинкта не было, и его заменило табу. Индеец племени юта, случайно убив родича, обязан покончить с собой. И в другом племени воин, убивший врага, обязан пройти месячное очищение, оставаясь один в лесу. Привычка к убийству, дух убийства не должны входить во внутреннюю жизнь рода. Примерно так мыслил и Моисей. Он не чувствовал противоречия между заповедью «не убий» и жестокими войнами, которые вел. С точки зрения любого племени его поведение совершенно естественно.

Однако противоречие все же было. Форма заповеди «не убий» иная, чем в табу (не убивать сородича). Она универсальна, она запрещает всякое убийство. Можно представить себе, что Моисей услышал голос Бога, диктовавшего ему заповеди, но понял — на уровне племенного сознания, для которого племя выше личности и благо племени — высший закон. Понять Бога значило поставить личность выше народа и спасение души выше народа, племени, государства и т. п. Для этого понадобилось более тысячи лет — от Моисея до Христа.

За двенадцать веков сложилось имперское право (одинаковое для всех) и философия, утвердившая равенство людей перед Разумом. Однако философия разделилась на множество школ, опровергавших друг друга, и не сумела создать единую этику. Древние историки жаловались на упадок нравов. Приемы логического рассуждения, попав в руки духовно недоразвитых, оправдывали любую мерзость. Попытки вернуться назад, к племенной добродетели, тоже ничего не давали. Выходом оказалось откровение, обращенное к личности, мимо племени, народов и государств. Империя сперва не поняла, что это ей на пользу. Она травила христиан, как диких зверей, видела в них разрушительную силу. Но в конце концов Константин угадал, что новую духовную силу можно приспособить и использовать.

Внешнее торжество христианства было связано с потерями. Мораль Нагорной проповеди осталась для монахов, остальным разрешалось законное убийство. Рамки племени были просто расширены, заменены рамками вероисповедания, практически совпадавшими с государственными границами. Убивать нехристей, по повелению государства или церкви, считалось богоугодным делом. Потом таким же дозволенным и даже доблестным делом стали рыцарские распри.

На этом фоне можно понять мораль ленинцев. Друг друга они не убивали. Ленинцам (при Ленине) разрешалось собственное мнение, критика вождей, дискуссии, оппозиция. Они были своего рода племенем. А иноплеменных, не веривших в коммунизм, убивали так же, как Моисей

велел убивать язычников. Война с неверными только укрепляла солидарность верных.

Сталин разрушил эту мораль волчьей стаи. Он сделал нормой большевика — партийного и беспартийного — поведение бешеного волка, бросающегося на своих (с ложным обвинением, с доносом). Общество бешеных волков нежизнеспособно. Оно лишено солидарности. Я помню поговорку, облетевшую всю страну в 1939 году, после спада волны террора: моя хата с краю, ничего не знаю. С такой моралью нас ждал верный разгром на войне. И он начался в 1941-м.

Однако война создала новую солидарность и новую мораль. С ней советская система продержалась еще несколько десятков лет, вспоминая оборону Одессы, Севастополя, Ленинграда, Сталинграда... Недавно я слышал от женщины, никогда не бывшей на войне и не собиравшейся воевать: этого человека я бы с собой в разведку не взяла...

Между тем ветераны старели, и школьников стало тошнить от военно-патриотического воспитания. Система постояла, постояла, как стоит старый, источенный червями гриб, да вдруг и рухнула. Началось возвращение к религии. В России — к христианству. Но к какому? С православным мечом? Тем самым, который отворил двери мировой войне?

Накануне XX века с его неслыханными взрывами национальных и гражданских войн Лев Толстой призвал к ненасилию. Его все засмеяли. И отчасти Толстой сам был в этом виноват. Интуиция гения досталась разуму артиллерийского поручика. Он чувствовал наступление городов на природу, чувствовал ущербность таблеточной медицины — и омертвение обрядовой религии, и фальшь риторического искусства, и страшную угрозу поворота всей мощи промышленности на разрушение, на войну. Однако все, что Толстой чувствовал, было выражено так прямолинейно, так категорично, что невозможно было с ним согласиться. Показалось, что он анархист, разрушитель, союзник революционеров, большевиков. Так думал и Ленин, и его противники. Они все ошибались. Ересь Толстого заключала в себе начатки новой догмы, нового равновесия насилия и ненасилия — со сдвигом в сторону ненасилия.

В конце 60-х годов я присутствовал на заседании семинара в Институте истории. Обсуждался вопрос о войнах прогрессивных и справедливых. Дело в том, что Епишев, начальник Политуправления вооруженных сил, приказал считать все войны царской России прогрессивными и справедливыми. Два или три полковника из Политуправления помнили, что Маркс и Ленин писали об этом иначе, и пошли искать управы на самодура. Докладчик, фамилию которого мне не хочется называть, подробно изложил писание: мятеж сипаев был справедливым, но не прогрессивным, а подавление мятежа прогрессивным, но не справедливым. То же Ленин о Шамиле. Я задал два вопроса: если Китай нападет на Советский Союз, то на чьей стороне будут прогресс и справедливость? И как считать войну 1939 года против Финляндии — прогрессивной или справедливой? Председатель (фамилию которого мне тоже не хочется называть) поднял очи горé и заявил, что снимает мои вопросы. Но докладчик, с отстраняющим жестом правой руки, сказал, что он готов ответить. Если Китай нападет на Советский Союз, то он перестанет быть социалистической страной и превратится в орудие империализма. А война 1939—1940 годов против Финляндии была и прогрессивной и справедливой. Таковы были правила, по которым играли тогдашние либералы. Я сказал «спасибо» и собирался уходить, как только объявят перерыв.

Но самое интересное было впереди. Выступил один из здравомыслящих полковников и сказал: «Если американский империализм нанесет нам термоядерный удар и мы ответим сокрушительным контрударом, это будет справедливо. Но какой прогресс, если ни там, ни здесь ничего не останется?»

Этой простой вещи до сих пор не понимают некоторые критики Толстого, православные и марксистские. Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму, одним махом перечеркнула и концепцию насилия как повивальной бабки истории, и идею православного меча. В отношениях между державами, обладающими термоядерным оружием, наступила эра ненасилия. И хошь — не хошь, а пришлось Никите Сергеевичу стать толстовцем и убрать с Кубы свои ракеты.

Примерно в те же годы равновесие насилия и ненасилия сдвинулось и во внутренней политике. До начала 60-х годов оппозиция режиму принимала форму тайных групп, ставивших своей целью насильственное свержение большевизма. С 1960 года настроение стало меняться; и когда сложилось движение диссидентов («Хроника», инициативная группа по защите прав человека, группа Хельсинки), его тактикой стало активное ненасилие. Теоретически это пытался осознать один из издателей «Хроники», Анатолий Якобсон, опираясь на идеи Толстого и Ганди. В эти же годы я сочинил эссе в один абзац, под названием «Коан» (загадка без разгадки): «Группа людей заперта в клетке вместе со стадом агрессивных обезьян. Ключи в руках обезьян. Тот, кто пытается захватить ключи силой, сам становится обезьяной. Как выйти из клетки?» Мне казалось, что здравый смысл подскажет единственный выход: постараться очеловечить обезьян. Задним числом движение диссидентов смотрится мне как такая попытка: говорить с обезьянами человеческим языком и требовать исполнения писанных законов. На первый взгляд, ничего из этого не вышло. Но оказалось, что вышло. Дух, вдохновлявший диссидентов, проник в ЦК и коснулся нескольких лидеров, метавшихся в поисках выхода из кризиса: экономического, социального, внешнеполитического, экологического. Сахаров, вернувшийся из ссылки, Сахаров, избранный в народные депутаты, стал открытым воплощением этого духа; и дух, почти без материи, оказался сильнее, чем материя, лишенная духа.

Не могу сказать, что я именно это предвидел. Но я допускал революцию сверху. В 1975 году, полемизируя с Солженицыным, я написал (в «Снах земли», изданных десять лет спустя): не только село не стоит без праведника, и ЦК не стоит без праведника. Оказалось, что совершенного праведника и не нужно было, достаточно нескольких людей, не совсем потерявших ум и совесть. Такие люди нашлись.

Мирный развал коммунистической империи не был прямым и однозначным следствием диссидентства. Активное ненасилие сплелось с нажимом со стороны администрации Рейгана, с нарастающим развалом экономики и т. п. Ненасилие Ганди одержало победу в борьбе с англичанами, потому что это были англичане и потому что вторая мировая война расшатала колониальные режимы. Успех ненасилия зависит не только от того, кто его применяет, но и от того, против кого оно применяется. Ганди советовал Мартину Буберу ненасилие как тактику еврейской общины в гитлеровской Германии; Бубер вежливо объяснил, что это невозможно. Режимы тоталитарного типа в период своего расцвета и толпа фанатиков, жаждущая крови, невосприимчивы к ненасилию. Ганди был убит, пытаясь помешать резне. Он стал воплощением

Вишну в глазах своего народа, но в момент побойща понадобились войска. И нужны вооруженные силы в борьбе с бандитами, обыкновенными и международными, и нужна солидарность всех цивилизованных стран, чтобы проводить такие полицейские акции.

Область ненасилия не безгранична, но она расширяется. Присутствие в мире атомного оружия делает недопустимым скандалом тоталитарные режимы, способные пустить в ход бомбу, и перестают быть внутренним делом страны шовинистические истерики. Задача международного общества — оказывать непрерывное давление на очаги параноидных состояний, создавать им максимально жесткие условия развития и по возможности ликвидировать. Задача интеллигента — развивать активное непасилие внутри очагов шовинистических и религиозных истерик. Ближайший век должен стать веком расширяющегося ненасилия. Иначе он будет последним веком человечества.

1993

## Реабилитация черта

## Маленькие эссе

Художники придают ангелам сходство с женщинами и детьми; черта рисуют мужчиной. Тут есть какая-то правда. Черт — мужчина. На своем месте он так же хорош, как Гармодий, сразивший тирана. Если человечество не может состоять из одних женщин и детей, то идеалы человечества тоже нельзя свести к ангельским ликам.

Говорят, что черти безобразны. Это — условность иконы. Врубель разрушил ее, и мы знаем: Демон прекрасен, когда лицо его обращено к Властелину. Черт — ангел сопротивления. Но этот ангел становится безобразным, когда сопротивляться нечему. Когда нет ни деспота, ни раба, ни отдельного существа, ни Вселенной, когда падают все различия, все плавится, теряет материю, становится светом. Черт не хочет плавиться, он тугоплавок и в белом свете любви дымит багровым и черным.

Час демона начинается в сумерках. Мир остывает и снова распадается на части. Сама жизнь смотрит тогда на человека двумя разными лицами. И нельзя одинаково глядеть в ответ на машину и на Бога, одинаково отвечать на принуждение и любовь.

«Мудрый подобен зеркалу, — говорил Чжуанцзы. — Оно отражает тьму вещей, оставаясь ясным и незамутненным».

Ибо есть невидимая ось, вокруг которой все движется: память о белом накале. Невидимый позвоночный столб связывает организм, не сковывая его, не мешая отклоняться жизни, не мешая всплывать из глубины той маске, которой требует роль. Я помню человека, в душе которого рядом жили князь Мышкин Достоевского и франсовский Люцифер. Никакого внешнего порядка не было. Но Люцифер не пытался захватить первое место. Было стихийное чувство жизни, и оно подсказывало когда говорить князю Льву Николаевичу и когда — бесу гордыни...

Человек должен быть мужчиной по отношению к власти и женщиной по отношению к Богу. Мы, по большей части, наоборот: мужчины по отношению к Богу и женщины — по отношению к власти. Иногда — капризные женщины, склонные к гаремным шалостям, интригам и сплетням...

Декабрь 1963

## Довлеет Дневи

Успокоить ум и войти в красоту. В Коктебеле это так просто. Почему даже здесь это мало у кого выходит?

Бог создал человека созерцателем своей безмолвной красоты и собеседником в молитве. Но только после сорока лет я стал немного понимать, что к чему. Или после пятидесяти. А может быть, и сейчас не совсем понимаю. Не умом, а всем существом понять это удастся только редко, от случая к случаю.

Бог создал человека, чтобы он впустил Его в себя, приобщился к Его воле и поступал так, как Бог на душу положит. Но ум забит чем попало, и Богу некуда войти. У скал, у вод, у деревьев нет свободной воли, Бог входит в них, не спрашивая. Человека приходится спросить. А человек не слышит. Или слышит — и отвечает: потом. Вот сделаю свое дело, тогда откроюсь Тебе. Потом кончились дела, но ум продолжает крутиться и обдумывает завтрашние дела или крутится на холостом ходу, болтает о том, о сем...

К одному хасидскому цадику пришли раввины, искушать его (хасидизм — не совсем ортодоксальное течение, и раввины иногда искушали цадиков примерно так же, как фарисеи — Христа). Цадик опередил их и спросил: «Где находится Бог?» Раввины стали отвечать: «В каждой пылинке» — и т. п. «Нет, — сказал цадик. — Бог там, куда его пускают».

Казалось бы, так просто: успокоить ум, войти в красоту — и открыть на нее глаза. Красота сама поманит к себе. Тогда проси ангелов леса и моря и гор принять в свой хоровод... Пока красота вся не раскроется и не впустил тебя. И в этот миг, войдя в красоту, ты впусти в себя Бога. «Разве можно видеть дерево и не быть счастливым?»

С каждым ликом красоты, открывшимся тебе, эти отношения складываются по-разному, и каждый раз все заново. Красота горы, красота храма, красота человеческих глаз... Чайтанья увидел встречу с Богом в эротическом стихотворении Видьяпати, который, кажется, совсем не думал о Боге, когда писал. Но ум Чайтаньи был свободен от суеты, и он увидел крипицу Бога в обыкновенной близости мужчины и женщины. А мои современники, сидящие у моря, не видят Бога. Они внешне свободны, они не нагружены заботами, но ум их, привыкший крутиться, болтает о пустяках.

Есть повседневные дела, от которых не уйдешь. И в Господней молитве осталась просьба о хлебе насущном. Но очень много лишних забот о завтрашнем дне и совсем ненужных забот о том, что про нас думают, и даже не думают, а могут подумать, и никому не нужных объяснений и сожалений о прошлом, которое было и сплыло, и язвительной памяти об обихах. Вместо того, чтобы радоваться, — мучаешься. А надо радоваться. «Живите в радости», — учил ап. Павел.

Надо уметь быть счастливым. Счастливый человек незаметно, без усилия делится счастьем, издерганный — своими больными нервами. Нельзя избежать горя и боли, но в каждый миг, когда Бог дает ра-

дость, надо брать ее, не закрывать радости путь в сердце. Мы привыкли закрываться. Мы боимся боли. Открытость — это незащищенность. Но защита перекрывает дорогу радости. Быть совершенно открытым — значит быть готовым принять самую страшную, смертельную боль и потопить ее во всецелости; или погибнуть от боли. Кто не рискует — не выигрывает. Кто не открылся угрозе потерять любимую, никогда не испытает блаженства любви.

Все в жизни хрупко, все грозит болью, грозит смертью, унижением, пыткой, — но сегодня светит солнце. А завтра... О нем надо подумать, но не заполнять им весь сегодняшний день. Довлеет днєви злоба его. Светит солнце, качаются ветки, ветер срывает с них желтые листья, с берега доносится рокот волн...

Человек иногда считает себя верующим и широко откроет двери Богу, если Бог явится к нему с иконы или как неопалимая купина. А если обыкновенным кустом? Толпы проходят мимо куста, и никто не спросит:

Что нужно кусту от меня?

Перестали верить в дриад, и вместо искаженного образа Бога — никакого. Просто ствол, ветки, листья, без всякого обращения к тебе, без всякого божественного голоса.

Для них и солнца, знать, не дышат,  
И жизни нет в морских волнах...

Самаритяне молились на горе, иудеи — в храме, а Христу было все равно, где. Важно, чтобы в духе и в истине. Потом христиане построили своих храмов, и опять стало очень важно внешне: молиться по-латыни или по-гречески? Стоя или сидя? Глядя на иконы или на статуи — или только слушая музыку? А музыка ветра и волн — разве она не Божья?

Довлеет днєви злоба его. И если нет прямых неотложных забот — я в храме. Хотя этот храм — обыкновенная комната, прибранная для молитвы, или группа деревьев, линия моря и скал. И всюду можно молиться, чтобы ангелы Троицы приняли в свой хоровод. Хоровод — это начало религии и хоровод — ее вершина. «Игра идет в природе Отца, — сказал Мейстер Экхарт, «от которого Бог ничего не скрывал». — Зрелище и зрители суть одно». И почувствовав себя в хороводе, молиться за всех, кто не сумел успокоить свой ум, кого съели идеи, обиды, заботы, зависть, страхи... Возьмите горсточку счастья. Успокойтесь. Вглядитесь в Божью красоту. Дайте вырасти горчичному зерну, стать деревом, осенить вас своими листьями. И когда вы закружитесь в хороводе, не останется неразрешимых проблем. Тогда видишь, какая это нелепость: все местнические споры между принципами — кому сидеть ближе к царю, все споры между осколками истины — кому занять место царя. Ведь все равно всем сидеть за одним столом, около незримого трона всецелости. Только ярость мешает видеть, какая это глупость — попытки пожрать друг друга, искоренить, разрушить до основания... Воевали, искореняли — и победители живут хуже побежденных, гонители — хуже изгнанных. Те, кто нарекли себя последними, будут первыми в Царстве.



Остаток сумм благотворительного фонда «Русского богатства» на 1 марта 1994 года составлял . . . . 7.030 р.

Наши поступления:

<b>От Владимира Войновича</b> (часть гонорара)	. . . . .	60.000 р.
<b>Взнос АКБ «Авиабанк»</b>	. . . . .	600.000 р.
Всего поступило		667.030 р.

Попечителем благотворительного фонда «Русского богатства» утверждена Лариса Дмитриевна Горяева.

Наши цели остаются прежними: оказание помощи писателям, ветеранам Отечественной войны. На 9 мая 1994 года (День Победы) такая помощь оказана 12 ветеранам: каждый из них получил 50.000 рублей. Тут и герои войны и ее жертвы. Все они находятся в крайне тяжелом положении. У великой державы, каковой продолжает считать себя Россия, явно недостает материальных и нравственных ресурсов.

## ЗАЩИТИМ НАШИХ ЗАЩИТНИКОВ

*Я обращаюсь ко всем малым предприятиям, товариществам, акционерным обществам — если каждый из нас возьмет на себя заботы хотя бы о пяти ветеранах, это будет уже ощутимым вкладом в общее дело. Вы можете сделать это сами или через Благотворительный фонд «Русского богатства».*

*Желаем всем процветания в делах, а ветеранам — здоровья и бодрости. Мы будем продолжать публикацию имен дарителей.*

**Анатолий Злобин**

Наш расчетный счет 345005, АКБ «Авиабанк», корр. счет 261820, МФО 299112.

Адрес редакции: 129010, Москва, Астраханский пер., 5, кв. 86, Тел. 280-06-13.

---

ПРАВЛЕНИЕ  
редакции журнала «**РУССКОЕ БОГАТСТВО**»  
Председатель правления — **А. П. Злобин**

**В. Г. Ге** (коммерческий директор), **Л. Д. Горяева**,  
**С. Р. Карасев**, **Г. Г. Кошелев**, **С. С. Рябинький**,  
**Т. В. Сиротинская** (исполнительный директор),  
**М. И. Францкевич** (Авиабанк), **И. Р. Храброва**  
(главный бухгалтер)

Ответственный секретарь **С. Г. Горбатов**  
Художественный редактор **Г. А. Шальгина**  
Корректор **В. Л. Тищенко**

На последней странице обложки:  
**Рис. Н. Аверьяновой**

Сдано в набор 27.04.94. Подписано в печать 23.06.94. Формат 60×90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Объем 20 п. л. Тираж 5000 экз. Зак. 94.  
АО «Чертановская типография»  
113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а

# АВИАБАНК

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК



- **Принимает** вклады от населения. Сохранность вкладов и выдача их по первому требованию вкладчика гарантируется!
- **Предоставляет** индивидуальные сейфы для хранения ценностей и документов.
- **Открывает** валютные счета клиентам, по их поручению производит расчеты с любыми зарубежными фирмами и организациями, в любой части мира, путем перечисления сумм со счетов, производит покупку и продажу иностранной валюты гражданам, а также совершает другие валютные операции.

**Объявленный уставный капитал Авиабанка  
свыше 5 000 000 000 рублей**

Банк имеет филиалы в Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Жуковском, Махачкале и в других городах.

**АВИАБАНК—**

**ВЗЛЕТНАЯ ПОЛОСА ВАШИХ УСПЕХОВ,  
НАДЕЖНЫЕ КРЫЛЬЯ ВАШЕГО ПОЛЕТА!**

101849, Москва, Центр, Уланский пер., 16

Тел. 207-58-56, 207-68-24

Факс. 207-04-67, 207-58-97

Телекс. 412788 АВИН



